

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

1991

ДЕКАБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

НОВЫЕ ИМЕНА

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**
Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (зав. отд. поэзии), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **В. М. ЛИТВИНОВ** (зав. отд. критики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).
Коммерческий директор **Ю. В. ГРИНЬКО.**

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 28.10.91. Подписано к печати 22.11.91. Формат 70×108[1]/16.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 242 000 экз. Заказ № 1071. Цена 1 р. 90 к.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44. отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Сергей ДОВЛАТОВ

Зона

ПОВЕСТЬ

Имена, события, даты — все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны.

Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным.

АВТОР

ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЮ

4 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Дорогой Игорь Маркович!

Рискую обратиться к Вам с деликатным предложением. Суть его такова.

Вот уже три года я собираюсь издать мою лагерную книжку. И все три года — как можно быстрее.

Более того, именно «Зону» мне следовало напечатать ранее всего остального. Ведь с этого началось мое злополучное писательство.

Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно трудно. Мне, например, отказали двое. И я не хотел бы этого скрывать.

Мотивы отказа почти стандартны. Вот, если хотите, основные доводы:

Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта...

Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование?

Да и книги наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я — уголовные. Солженицын был заключенным. Я — надзирателем. По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами...

Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования. Солженицын — великий писатель и огромная личность. И хватит об этом.

Другое соображение гораздо убедительнее. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является.

Это — своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов.

Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. Декларируется в общем-то единственная банальная идея — что мир абсурден...

Издателей смущала такая беспорядочная фактура. Они требовали более стандартных форм.

Тогда я попытался навязать им «Зону» в качестве сборника рассказов. Издатели сказали, что это нерентабельно. Что публика жаждет романов и эпопей.

Дело осложнилось тем, что «Зона» приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микропленку. Куски ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным француженкам. Им удалось провезти мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе.

В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое.

Местами пленка испорчена. (Уж не знаю, где ее прятали мои благодетельницы.) Некоторые фрагменты утрачены полностью.

Восстановление рукописи с пленки на бумагу — дело кропотливое. Даже в Америке с ее технической мощью это нелегко. И кстати, недешево.

На сегодняшний день восстановлено процентов тридцать.

С этим письмом я высылаю некоторую часть готового текста. Следующий отрывок вышлю через несколько дней. Остальное получите в ближайшие недели. Завтра же возьму напрокат фотоувеличитель.

Может быть, нам удастся соорудить из всего этого законченное целое. Кое-что я попытаюсь восполнить своими безответственными рассуждениями.

Главное — будьте снисходительны. И, как говорил зека Хамраев, отправляясь на мокрое дело,— с Богом!..

Старый Калью Пахапиль ненавидел оккупантов. А любил он, когда пели хором, горькая брага нравилась ему да маленькие толстые ребятишки.

— В здешних краях должны жить одни эстонцы,— говорил Пахапиль,— и больше никто. Чужим здесь нечего делать...

Мужики слушали его, одобрительно кивая головами.

Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом. Старому Калью все это не понравилось. Он долго молчал, потом собрался и ушел в лес.

Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым. Там Пахапиль охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках. Короче — жил, пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пахапиль вернулся. Он появился в Раквере, где русский капитан наградил его медалью. Медаль была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком.

«Зачем эстонцу медаль?» — долго раздумывал Пахапиль.

И все-таки бережно укрепил ее на лацкане шевиотового пиджака. Этот пиджак Калью надевал только раз — в магазине Лансмана.

Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские объявили мобилизацию, Пахапиль снова исчез.

— Здесь должны жить эстонцы,— сказал он, уходя,— а ванькам, фрицам и различным гренланам тут не место!..

Пахапиль снова ушел в лес, только издали казавшийся непроходимым. И снова охотился, думал, молчал. И все шло хорошо.

Но русские предприняли облаву. Лес огласился криком. Он стал тесным, и Пахапиля арестовали. Его судили как дезертира, били, плевали в лицо. Особенно старался капитан, подаривший ему медаль.

А затем Пахапиля сослали на юг, где живут казахи. Там он вскоре и умер. Наверное, от голода и чужой земли...

Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллинне, на улице Луйзе, и получил диплом радиста.

По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным девушкам:

— Настоящий эстонец должен жить в Канаде! В Канаде и больше нигде...

Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен на станции Иоссер. Все делалось по команде: сон, обед, разговоры. Говорили про водку, про хлеб, про коней, про шахтерские заработки. Все это Густав ненавидел и разговаривал только по-своему. Только по-эстонски. Даже с караульными псами.

Кроме того, в одиночестве — пил, если мешали — дрался. А также допускал «инциденты женского порядка». (По выражению замполита Хуриева.)

— До чего вы эгоцентричный, Пахапиль! — осторожно корил его замполит.

Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил:

«Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток. После чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю. Рядовой Пахапиль».

После некоторого раздумья он всегда добавлял:

«Прошу не отказать».

Затем приходили деньги от тетушки Рээт. Пахапиль брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там, в зеленом полумраке, белели кресты. Дальше, на краю водоема, была запущенная могила и рядом — фанерный обелиск. Пахапиль грузно садился на холмик, выпивал и курил.

— Эстонцы должны жить в Канаде,— тихо бормотал он под мерное гудение насекомых.

Они его почему-то не кусали...

Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер. Судя по очкам — идеологический работник. Было объявлено собрание.

— Заходи в ленкомнату! — прокричал дневальный солдатам, курившим около гимнастических брусьев.

— Политику не хаваем! — ворчали солдаты.

Однако зашли и расселись.

— Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта войны,— начал подполковник Мар.

— Стихи,— разочарованно протянул латыш Балодис...

За окном каптенармус и писарь ловили свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала, от ее пронзительных воплей ныл затылок. Она падала на брюхо. Копыта ее скользили по испачканному навозом трапу. Мелкие глаза терялись в складках жира.

Через двор прошел старшина Евченко. Он пнул свинью ногой. Затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшийся на траве...

— В частях Советской Армии развивается благородная традиция,— говорил подполковник Мар.

И дальше:

— Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших воинов. Кропотливо воссоздают историю ратного подвига. Устанавливают контакты с родными и близкими героев. Всемерно развивать и укреплять подобную традицию — долг каждого. Пускай злопыхатели в мире чистогана трубят насчет конфликта отцов и детей. Пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними... Наша молодежь свято чтит захоронения отцов. Утверждая таким образом неразрывную связь поколений...

Свинью волокли по шершавой доске. Борта машины гулко вздрагивали. Они были выкрашены светло-зеленой краской. Шофер наблюдал за происходящим, высунувшись из кабины.

Рядом вертелся на турнике молдаванин Дастян, комиссованный по болезни. Он ждал приказа командира части и гулял без ремня, тихо напевая...

— Ваша рота дислоцирована напротив кладбища,— тянул подполковник,— и это глубоко символично. Нами установлено, что среди прочих могил тут имеются захоронения героев Отечественной войны. В том числе и орденоносцев. Таким образом, создаются все условия для шефства над павшими героями...

Свинью затащили в кузов. Она лежала неподвижно, только вздрагивали розовые уши. Вскоре ее привезут на бойню, где стоит жирный туман. Боец отработанным жестом вздернет ее за сухожилие к потолку. Потом ударит в сердце длинным белым ножом. Надрезав, он быстро снимет кожу, поросшую грязной шерстью. И тогда военнослужащим станет плохо от запаха крови...

— Кто здесь Пахапиль?

Густав вздрогнул. Он поднялся и вспомнил, что было минуту назад. Как ефрейтор Петров вытянул руку и сказал, тайно давясь от смеха:

— В нашем подразделении уже есть такой солдат. Он взял шефство над павшим героем и ухаживает за его могилой. Это инструктор Пахапиль!

— Кто здесь Пахапиль? — недоверчиво отозвался Мар.— Вы, что ли, Пахапиль?

— Так,— ответил Густав, краснея.

— Именем командира роты объявляю вам благодарность. Ваша инициатива будет популяризирована. В штабе намечено торжественное собрание отличников боевой подготовки. Поедете со мной. Расскажете о своих достижениях. В дороге набросаем план.

— Я вообще-то эстонец, — начал было Пахапиль.

— Это даже хорошо, — оборвал подполковник, — с точки зрения братского интернационализма...

В штабе было людно. Под графиками, художественно оформленными стендами, материалами наглядной агитации толпились военнослужащие. Сапоги и мокрые волосы блестели. Пахло табаком и дегтем.

Они взошли по лестнице. Мар обнимал Пахапиля. На площадке их окружили.

— Знакомьтесь, — гражданским тоном сказал подполковник, — это наши маяки. Сержант Тхапсаев, сержант Гафиатулин, сержант Чичиашвили, младший сержант Шахмаметьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кемоклидзе и Овсепян...

«Перкеле, — задумался Густав, — одни жиды...»

Но тут позвонили. Все потянулись к урнам. Кинули окурки и зашли в просторный зал...

И вот Пахапиль на трибуне. Внизу белеют лица, слева — президиум, графин, кумачовая штора. Сбоку — контрабас, из зала он не виден.

Пахапиль взглянул на людей, тронул металлическую бляху. Затем шагнул вперед.

— Я вообще-то эстонец, — начал он.

В зале было тихо. Под окнами, звякая, шел трамвай...

Вечером Густав Пахапиль трясся на заднем сиденье штабного автомобиля. Инструктор припоминал свое выступление. И то, как наливал он воду из графина. Как дребезжал стакан и улыбался генерал в президиуме. И то, как ему прикололи значок. (Три непонятных слова, фигура и глобус.) А затем говорил Мар, отметив ценную инициативу рядового Пахапиля... Что-то насчет — подхватить, развивать и стараться... И еще относительно патриотического воспитания... Что-то вроде преемственности и неразрывной связи... С целью шефства над могилами павших героев... Хотя Пахапиль эстонец, вследствие братской дружбы между народами...

Перед ним возвышалась спина шофера. Мимо летели деревья с бедными кронами, выгоревшие холмы, убогая таежная зелень.

Когда машину тряхнуло на переезде, Густав сказал шоферу:

— Здесь я сойду.

Тот, не оборачиваясь, помахал ему и развернулся.

Густав Пахапиль зашагал вдоль тусклых рельсов. Перебрался через железнодорожную насыпь. Лежневка привела его в кильдим.

Здесь его карманы тяжело наполнились.

Он пересек заброшенный стадион и шагнул на мостки кладбищенского рва.

Было сыро и тихо. Щебетали листья на ветру.

Густав расстегнул мундир. Сел на холмик. Положил ветчину на колени. Бутылку поставил в траву.

После чего закурил, облокотившись на красный фанерный монумент.

17 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Если не ошибаюсь, мы познакомились в шестьдесят четвертом году. То есть вскоре после моей демобилизации из лагерной охраны. А значит, я был уже сложившимся человеком, наделенным всякого рода тяжелыми комплексами.

Не зная меня до армии, вы едва ли представляете себе, как я изменился.

Я ведь рос полноценным молодым человеком. У меня был комплект любящих родителей. Правда, они вскоре разошлись. Но развод мало повредил их отношениям со мной. Более того, развод мало повредил их отношениям друг с другом. В том смысле, что отношения и до развода были неважными.

Сиротского комплекса у меня не возникало. Скорее — наоборот. Ведь отцы моих сверстников погибли на фронте.

Оставшись с матерью, я перестал выделяться. Живой отец мог произвести впечатление буржуазного излишества. Я же убивал двух зайцев. (Даже не знаю, можно ли считать такое выражение уместным.) То есть использовал все преимущества любящего сына. Избегая при этом репутации благополучного мальчика.

Мой отец был вроде тайного сокровища. Алименты он платил не совсем регулярно. Это естественно. Ведь только явные сбережения дают хороший процент.

У меня были нормальные рядовые способности. Заурядная внешность с чуточку фальшивым неаполитанским оттенком. Заурядные перспективы. Все предвещало обычную советскую биографию.

Я принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Был наделен прекрасным здоровьем. С детства не имел болезненных пристрастий.

Я не коллекционировал марок. Не оперировал дождевых червей. Не строил авиамоделей. Более того, я даже не очень любил читать. Мне нравилось кино и безделье.

Три года в университете слабо повлияли на мою личность. Это было продолжение средней школы. Разве что на более высоком уровне. Плюс барышни, спорт и какой-то жалкий минимум фрондерства.

Я не знал, что именно тогда достиг вершины благополучия. Дальше все пошло хуже. Несчастная любовь, долги, женитьба... И как завершение всего этого — лагерная охрана.

Любовные истории нередко оканчиваются тюрьмой. Просто я ошибся дверью. Попал не в барак, а в казарму.

То, что я увидел, совершенно меня потрясло.

Есть такой классический сюжет. Нищий малыш заглядывает в щелку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели — разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуться. Его существование отравлено причастностью к тайне.

В такую же щель заглянул и я. Только увидел не роскошь, а правду.

Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек. И как высоко он способен парить.

Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия. Насилие, обыденное, как сырость.

Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел.

Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая.

В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим.

Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей.

Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и радости — оставалось неизменным.

В этой жизни было что угодно. Труд, достоинство, любовь, разврат, патриотизм, богатство, нищета. В ней были люмпены и мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари, функционеры и диссиденты.

Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось. Иерархия ценностей была полностью нарушена. То, что казалось важным, отошло на задний план. Мелочи заслонили горизонт.

Возникла совершенно новая шкала предпочтительных жизненных благ. По этой шкале чрезвычайно ценились — еда, тепло, возможность избежать работы. Обыденное становилось драгоценным. Драгоценное — нереальным.

Открытка из дома вызывала потрясение. Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как интеллектуальный триумф.

На особом режиме я знал человека, мечтавшего стать хлеборезом. Эта должность сулила громадные преимущества. Получив ее, зек уподоблялся Ротшильду. Хлебные обрезки приравнивались к россыпям алмазов.

Чтобы сделать такую карьеру, необходимы были фантастические усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться по трупам. Нужно было идти на подкуп, шантаж, вымогательство. Всеми правдами и неправдами добиваться своего.

Такие же усилия на воле открывают дорогу к синекурам партийного, хозяйственного, бюрократического руководства. Подобными способами достигаются вершины государственного могущества.

Став хлеборезом, зек психически надломился. Борьба за власть исчерпала его душевные силы. Это был хмурый, подозрительный, одинокий человек. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами...

Я вспоминаю такой эпизод. Заключенные рыли траншею под Иоссером. Среди них был домушник по фамилии Енин.

Дело шло к обеду. Енин отбросил лопатой последний ком земли. Мелко раздробил его, затем склонился над горстью праха

Его окружили притихшие зеки.

Он поднял с земли микроскопическую вещь и долго тер ее рукавом. Это был осколок чашки величиной с трехкопеечную монету. Там сохранился фрагмент рисунка — девочка в голубом платьице. Уцелело только личико и голубой рукав.

На глазах у зека появились слезы. Он прижал стекло к губам и тихо выговорил:

— Сеанс!

Лагерное «сеанс» означает всякое переживание эротического характера. Даже

шире — всякого рода положительное чувственное ощущение. Женщина в зоне — сеанс. Порнографическая фотография — сеанс. Но и кусочек рыбы в баланде — это тоже сеанс.

— Сеанс! — повторил Енин.

И окружавшие его зеки дружно подтвердили:

— Сеанс!..

Мяр, в который я попал, был ужасен. И все-таки улыбался я не реже, чем сейчас. Грустил — не чаще.

Будет время, расскажу об этом подробнее...

Как вам мои первые страницы? Высылаю следующий отрывок.

P. S. В нашей русской колонии попадаются чудные объявления. Напротив моего дома висит объявление:

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЙ!

Чуть левее, на телефонной будке:

ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО И ОБРАТНО, СПРОСИТЬ АРИКА...

Когда-то Мищук работал в аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб. При том что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель.

Вот только зря он начал спекулировать рыбой, которую привозил из Африканды. Мищук выменивал ее у ненцев и отдавал дружку-халдею по шесть рублей за килограмм.

Мищуку долго везло, потому что он не был жадным. Как-то радист ОДС передал ему на борт:

— Тебя ждут «вилы»... Тебя ждут «вилы»...

— Вас понял, вас понял, — ответил Мищук.

Затем он без сожаления выбросил над Енисеем девять мешков розовой кумжи.

Но вот когда Мищук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду:

«Малыш испекся, намывается трояк...»

Мищука направили в ИТК-5. Он знал, что, если постараться, можно споловинить. Мищук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение». А главное, записался в СВП. (Секция внутреннего порядка.) И ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве.

— СВП, — шипели зеки, — сука выпрашивает половинку!

Мищук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мандолине. И дали ему в лагере кликуху — Пупс.

— Ну и прозвище у вас, — говорил ему зек Лейбович, — назвались бы королем. Или же — бонапартом.

Тут вмешивался начитанный «кукольник» Адам:

— По-вашему, бонапарт — это что? По-вашему, бонапарт — это должность?

— Вроде, — мирно соглашался Лейбович, — типа князя...

— Легко сказать — бонапарт, — возражал Мищук, — а если я не похож?..

В ста метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею.

Рано утром солнце появлялось из-за бараков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой.

Каждое утро подконвойные долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости.

Что-то было в его расскзах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек — сухое поле незадавшейся жизни...

— И что вы себе мыслите — делает прокурор? — говорил Адам.

— Прокурор-таки делает выводы, — откликался зека Лейбович.

Конвой дремал у забора. Так было каждый день.

Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу. Он летел в сторону аэропорта.

— Турбовинтовой МИ-6, — заметил Пупс, вставая. — Е-е! — лениво крикнул он.

Затем скрестил над головой руки. Затем растопырил их наподобие крыльев. Затем присел. И наконец повторил все это снова и снова.

— О-е-е! — крикнул Пупс.

И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый. И потомственный «скокарь» Мурашка. И расхититель государственной собственности Лейбович. И кукольник Адам. И даже фарцовщик Белуга. А этих людей трудно было чем-нибудь удивить...

Вертолет шел на посадку.

— Чудеса, — первым констатировал Адам.

— Чтоб я так жил! — воскликнул Лейбович.

— Зуб даю, — коротко поклялся Чалый.

— Сеанс, — одобрительно заметил Мурашка.

— Феноменально, — произнес Белуга, — итс вандерфул!

— Не положено, — забеспокоился конвоир, ефрейтор Дзавашвили.

— Зафлюгировал винт! — надсаживаясь, кричал Мищук, — скинул обороты! О-е-е... (Непечатное, непечатное, непечатное...)

Куры разбежались. Ромашки пригнулись к земле. Вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони — самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мищук бросился к нему.

— До чего ты худой, — сказал Маркони.

Затем они час хлопали друг друга по животу.

— Как там Вадя? — спрашивал Мищук. — Как там Жора?

— Вадя киряет, Жора переучивается на «Ту». Ему командировки опротивели.

— Ну, а ты, старый пес?

— Женился, — трагически произнес Маркони, опустив голову.

— Я ее знаю?

— Нет. Я сам ее почти не знаю. Ты не много потерял...

— А помнишь вальдшнепную тягу на Ладоге?

— Конечно, помню. А помнишь ту гулянку на Созьве, когда я утопил бортовое ружье?

— А мы напьемся, когда я вернусь? Через год, пять месяцев и шестнадцать дней?

— Ох и напьемся... Это будет посильнее, чем «Фауст» Гете...

— Явлюсь к самому Покрышеву, упаду ему в ноги...

— Я сам зайду к Покрышеву. Ты будешь летать. Но сначала поработаешь механиком.

— Естественно, — согласился Мищук.

Помолчав, он добавил:

— Зря я тогда пристегнул этот шелк.

— Есть разные мнения, — последовал корректный ответ.

— Мне-то что, — сказал ефрейтор Дзавашвили, — режим не предусматривает...

— Ясно, — сказал Маркони, — узнаю восточное гостеприимство... Денег оставить?

— Деньги иметь не положено, — сказал Мищук.

— Ясно, — сказал Маркони, — значит, вы уже построили коммунизм. Тогда возьми шарф, часы и зажигалку.

— Мерси, — ответил бывший пилот.

— Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине.

— Запрещено, — сказал Мищук, — у нас единая форма.

— У нас тоже, — сказал Маркони, — ясно... Ну, мне пора.

Он повернулся к Дзавашвили:

— Возьми три рубля, ефрейтор. Каждому по способностям...

— Запрещено, — сказал конвоир, — мы на довольствии.

— Прощайте, — сунул ему руку Маркони.

И взошел по трапу.

Мищук улыбался.

— Мы еще полетим, — крикнул он, — мы еще завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты!

— В элементе, — подтвердил Мурашка.

— Зуб даю, — однообразно высказался Чалый.
— Оковы тяжкие падут! — закричал фарцовщик Белуга.
— Жизнь продолжается, даже когда ее, в сущности, нет, — философски заметил Адам.
— Вы можете хохотать, — застенчиво произнес Лейбович, — но я скажу. Мне кажется, еще не все потеряно...
Вертолет поднялся над землей. Тень от него становилась все прозрачнее. И мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками...

Мищука освободили через три года, по звонку. Покрышев к этому времени умер. О его смерти писали газеты. В аэропорт Мищука не допустили. Помешала судимость.

Он работал механиком в НИИ, женился, забыл блатной язык. Играл на мандолине, пил, старел и редко думал о будущем...

А Дима Маркони разбился под Углегорском. Среди обломков его машины нашли пудовую канистру белужьей икры...

23 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Спасибо за письмо от 18-го. Я рад, что вам как будто по душе мои заметки. Я тут подготовил еще несколько страниц. Напишите, какое они произведут впечатление.

Отвечаю на вопросы.

«Кукольник» — по-лагерному аферист. «Кукла» — афера.

«Скокарь» означает — грабитель. «Скок» — грабеж. Ну, кажется, все. Я в тот раз остановился на ужасах лагерной жизни... Неважно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.

Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня иачалось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет.

Я хорошо помию, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем лице.

Когда меня избивали около Ропчинской лесобиржи, сознание действовало почти иевозмутимо:

«Человека избивают сапогами. Он прикрывает ребра и живот. Он пассивен и старается не возбуждать ярость масс... Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые пломбы...»

Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик — голодные, униженные, измученные страхом.

Мой плотский состав изнемогал. Сознание же обходилось без потрясений.

Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха.

Когда на моих глазах под Ропчей задушили лагериого вора, сознание безотказно фиксировало детали.

Конечно, в этом есть значительная доля аморализма. Таково любое действие, в основе которого лежит защитиая реакция.

Когда я замерзал, сознание регистрировало этот факт. Причем в художественной форме:

«Птицы замерзали на лету...»

Как я ни мучился, как ни проклинал эту жизнь, сознание функционировало безотказно.

Если мне предстояло жестокое испытание, сознание тихо радовалось. В его распоряжении оказывался новый материал.

Плоть и дух существовали раздельно. И чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух.

Даже когда я физически страдал, мне было хорошо. Голод, боль, тоска — все становилось материалом неутомимого сознания.

Фактически я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни. Дополнением, без которого жизнь оказывалась совершенно непотребной.

Оставалось перенести все это на бумагу. Я пытался найти слова...

Шестой лагпункт находился в стороне от железной дороги. Так что попасть в это унылое место было нелегко.

Нужно было долго ждать попутного лесовоза. Затем трястись на ухабах, сидя в железной кабине. Затем два часа шагать по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Короче, действовать так, будто вас ожидает на горизонте приятный сюрприз. Чтобы наконец оказаться перед лагерными воротами, увидеть серый трап, забор, фанерные будки и мрачную рожу дневального...

Алиханов был в этой колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зеки.

Это были своеобразные люди.

Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какие-то фантастические злодеяния. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами...

Должность Алиханова была поистине сучьей. Тем не менее Борис добросовестно выполнял свои обязанности. То, что он выжил, является показателем качественным.

Нельзя сказать, что он был мужественным или хладнокровным. Зато у него была драгоценная способность терять рассудок в минуту опасности. Видимо, это его и спасало.

В результате его считали хладнокровным и мужественным. Но при этом считали чужим.

Он был чужим для всех. Для зеков, солдат, офицеров и вольных лагерных работяг. Даже караульные псы считали его чужим.

На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге.

Это выражение сохранялось при любых обстоятельствах. Когда от мороза трещали заборы и падали на лету воробьи. Когда водка накануне очередной демобилизации переполняла солдатскую борщевую лохань. И даже когда заключенные около лесобиржи сломали ему ребро.

Алиханов родился в интеллигентном семействе, где недолюбливали плохо одетых людей. А теперь он имел дело с уголовниками в полосатых бушлатах. С военнослужащими, от которых пахло ядовитой мазью, напоминающей деготь. Или с вольными лагерными работягами, еще за Котласом прокутившими гражданское тряпье.

Алиханов был хорошим надзирателем. И это все же лучше, чем быть плохим надзирателем. Хуже плохого надзирателя только зеки в ШИЗО...

В ста метрах от изолятора темнело здание казармы. Над его чердачным окном висел бледно-розовый застиранный флаг. За казармой на питомнике глухо лаяли овчарки. Овчарок дрессировали Воликов и Пахапиль. Месяцами они учили собак ненавидеть людей в полосатых бушлатах. Однако голодные псы рычали и на солдат в зеленых телогрейках. И на сверхсрочников в офицерских шинелях. И на самих офицеров. И даже на Воликова с Пахапилем.

Ходить мимо отгороженных проволочными сетками вольеров было небезопасно.

Ночью Алиханов дежурил в изоляторе, а потом целые сутки отдыхал. Он мог курить, сидя на гимнастических брусьях. Играть в домино под хриплые звуки репродуктора. Или, наконец, осваивать ротную библиотеку, в которой преобладали сочинения украинских авторов. В казарме его уважали, хоть и считали чужим. А может, как раз поэтому и уважали. Может быть, сказывалось российское почтение к иностранцам? Почтение без особой любви...

Чтобы заслужить казарменный авторитет, достаточно было игнорировать начальство. Алиханов легко игнорировал ротное командование, потому что служил надзирателем. Ему было нечего терять...

Раз Алиханова вызвал капитан Прищепа. Это было в конце декабря.

Капитан протянул ему сигареты в знак того, что разговор будет неофициальный. Он сказал:

— Приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно. Значит, в казарме будет пьянка. А пьянка — это неминуемое чепе... Если бы ты постарался, употребил, как говорится, свое влияние... Поговори с Балодисом, Воликовым... Ну и, конечно, с Петровым. Главный тезис — пей, но знай меру. Вообще не пить — это слишком. Это, как говорится, антимарксистская утопия. Но свою меру знай... Зона рядом, личное оружие, сам понимаешь...

В тот же день Борис заметил около уборной ефрейтора Петрова, которого сослуживцы называли — Фидель. Эту кличку ефрейтор получил год назад. Лейтенант Хуриев вел политзанятия. Он велел назвать фамилии членов Политбюро. Петров сразу вытянул руку и уверенно назвал Фиделя Кастро...

Алиханов заговорил с ним, ловко копируя украинский выговор Прищепы:

— Скоро Новый год. Устранить или даже отсрочить это буржуазное явление партия не в силах. А значит, состоится пьянка. И произойдет неминуемое чепе. В общем, пей, Фидель, но знай меру...

— Я меру знаю, — сказал Фидель, подтягивая брюки, — кило на рыло, и все дела! Гужу, пока не отключусь... А твой Прищепа — гондовня и фраер. Он думает — праздник, так мы и киряем. А у нас, бляха-муха, свой календарь. Есть «капуста» — гудим. А без «капусты» что за праздник?!. И вообще тормознуться пора. Со Дня Конституции не просыхаем. Так ведь можно ненароком и дубаря секануть... Давай скорее, я тебя жду... Ну и погодка! Дерьмо замерзает, рукой приходится отламывать...

Алиханов направился к покосившейся будке. Снег около нее был покрыт золотистыми вензелями. Среди них выделялся каллиграфический росчерк Потапа Якимовича из Белоруссии.

Через минуту они шли рядом по ледяной тропинке.

— Наступит дембель, — мечтал Фидель, — приду я в родное Запорожье. Зайду в нормальный человеческий сортир. Постелю у ног газету с кроссвордом. Открою полбанки. И закейфую, как эмирский бухар...

Подошел Новый год. Утром солдаты пилили дрова возле казармы. Еще вчера снег блестел под ногами. Теперь его покрывали желтые опилки.

Около трех вернулась караульная смена из наряда. Разводящий Мелешко был пьян. Шапка его сидела задом наперед.

— Кругом! — закричал ему старшина Евченко, тоже хмельной. — Кругом! Сержант Мелешко — кру-у-гом! Головной убор — на место!..

Ружейный парк был закрыт. Дежурный запер его и уснул. Караульные бродили по двору с оружием.

На кухне уже пили водку. Ее черпали алюминиевыми кружками прямо из борцевой лохани. Ленька Матыцын затянул старый вохровский гимн:

Хотят ли цырики войны?..
Ответ готов у старшины.
Который пропил все, что мог,
От портупеи до сапог.

Ответ готов у тех солдат,
Что в доску пьяные лежат,
И сами вы понять должны,
Хотят ли цырики войны..

Замполит Хуриев был дежурным офицером. На всякий случай он захватил из дома пистолет. Правый карман его галифе был заметно оттянут.

Хмельные солдаты в расстегнутых гимнастерках без дела шатались по коридору. Глухая и темная энергия накапливалась в казарме.

Замполит Хуриев приказал собраться в ленинской комнате. Велел построиться у стены. Однако пьяные вохровцы не могли стоять. Тогда он разрешил сесть на пол. Некоторые сразу легли.

— До Нового года еще шесть часов, — отметил замполит, — а вы уже пьяные, как свиньи.

— Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту, — сказал Фидель.

У замполита было гордое красивое лицо и широкие плечи. В казарме его не любили...

— Товарищи, — сказал Хуриев, — нам выпала огромная честь. В эти дни мы охраняем покой советских граждан. Вот ты, например, Лопатин...

— А чего Лопатин? Чего Лопатин-то? Всегда — Лопатин, Лопатин... Ну, я Лопатин, — басом произнес Андрей Лопатин.

— Для чего ты, Лопатин, стоишь на посту? Чтобы мирно спали колхозники в твоей родной деревне Бежаны...

«Политработа должна быть конкретной». Так объясняли Хуриеву на курсах в Сыктывкаре.

— Ты понял, Лопатин?

Лопатин подумал и громко сказал:

— Поджечь бы эту родную деревню вместе с колхозом!..

Алиханов водку пить не стал. Он пошел в солдатский кубрик, где теснились двухъярусные нары. Потом стащил валенки и забрался наверх.

На соседней койке, укрывшись, лежал Фидель. Вдруг он сел на постели и заговорил:

— Знаешь, что я сейчас делал? Богу молился... Молитву сам придумал. Изложить?

— Ну, — произнес Алиханов.

Фидель поднял глаза и начал:

— Милый Бог! Надеюсь, ты видишь этот бардак?! Надеюсь, ты понял, что значит вохра?!. Так сделай, чтобы меня перевели в авиацию. Или, на худой конец, в стройбат. И еще: распорядись, чтобы я не спился окончательно. А то у бесконвойников самогона навалом, и все идет против морального кодекса... Милый Бог! За что ты меня ненавидишь? Хотя я и гопник, но перед законом чист. Ведь не крал же я, а только пью... И то не каждый день... Милый Бог! Совесть есть у тебя или нет? Если ты не фраер, сделай, чтобы капитан Прищепа вскорости лыжи отбросил. А главное, чтобы не было этой тоски... Как ты думаешь, Бог есть?

— Маловероятно, — сказал Алиханов.

— А я думаю, что пока все о'кей, то, может быть, и нет его. А как прижмет, то, может быть, и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить...

Фидель наклонился к Алиханову и тихо произнес:

— Мне в рай попасть охота. Я еще со Дня Конституции такую цель поставил.

— Попадешь, — заверил его Алиханов, — в охране у тебя не много конкурентов.

— Я и то думаю, — согласился Фидель, — публика у нас бесподобная. Ворюги да хулиганы... Какой уж там рай... Таких и в дисбат не примут... А я на этом фоне, может, и проскочу как беспартийный...

К десяти часам перепилась вся рота. Очередную смену набрали из числа тех, кто мог ходить. Старшина Евченко уверял, что мороз отрезвит их.

По казарме бродили чекисты, волоча за собой автоматы и гитары.

Двоих уже связали телефонным проводом. Их уложили в сушилке на груду тулупов.

В ленинской комнате охранники затеяли игру. Она называлась «Тигр идет». Все уселись за стол. Выпили по стакану зверобоя. Затем ефрейтор Кунин произнес:

— Тигр идет!

Участники игры залезли под стол.

— Отставить! — скомандовал Кунин.

Участники вылезли из-под стола. Снова выпили зверобоя. После чего ефрейтор Кунин сказал:

— Тигр идет!

И все опять залезли под стол.

— Отставить! — скомандовал Кунин...

На этот раз кто-то остался под столом. Затем — второй и третий. Затем надломился сам Кунин. Он уже не мог произнести: «Тигр идет!» Он дремал, положив голову на кумачовую скатерть...

Около двенадцати прибежал инструктор Воликов с криком:

— Охрана, в ружье!

Его окружили.

— На питомнике девка кирная лежит, — объяснил инструктор, — может, с высылки забрела...

В нескольких километрах от шестого лагпункта был расположен поселок Чир. В нем жили сосланные тунеядцы, главным образом проститутки и фарцовщики. На высылке они продолжали бездельничать. Многие из них были уверены, что являются политическими заключенными...

Парни толпились возле инструктора.

— У Дзавашвили есть гондон, — сказал Матыцын, — я видел.

— Один? — спросил Фидель.

— Тоже мне, доцент! — рассердился Воликов. — Личный гондон ему подавай! Будешь на очереди...

— Банальный гондон не поможет, — уверял Матыцын, — знаю я этих, с высылки... У них там гонококки, как псы... Вот если бы из нержавейки...

Алиханов лежал и думал: какие гнусные лица у его сослуживцев.

«Боже, куда я попал?!» — думал он.

— Урки, за мной! — крикнул Воликов.

— Люди вы или животные?! — произнес Алиханов. Он спрыгнул вниз. — Попретесь целым взводом к этой грязной бабе?!

— Политику не хаваем! — остановил его Фидель.

Он успел переодеться в диагоналевую гимнастерку.

— Ты же в рай собирался?

— Мне и в аду не худо, — сказал Фидель.

Алиханов стоял в дверном проеме:

— Всякую падаль охраняем!.. Сами хуже зеков!.. Что, не так?!.

— Не возникай, — сказал Фидель, — чего ты разорался?!. И помни, в народе меня зовут — отважным...

— Кончай базарить, — сказал верзила Герасимчук.

И вышел, задев Алиханова плечом. За ним потянулись остальные.

Алиханов выругался, залез под одеяло и раскрыл книгу Мирошниченко «Тучи над Брянском»...

Латыш Балодис разувался, сидя на питьевом котле. Балодис монотонно дергал себя за ногу. И при этом всякий раз бился головой об угол железной кровати.

Балодис служил поваром. Главной его заботой была продовольственная кладовая. Там хранились сало, джем и мука. Ключи Балодис целый день носил в руках. Засыпая, привязывал их шпагатом к своему детородному органу. Это не помогало. Ночная смена дважды отвязывала ключи и воровала продукты. Даже мука была съедена...

— А я не пошел, — гордо сказал Балодис.

— Почему? — Алиханов захлопнул книгу.

— У меня под Ригой дорогая есть. Не веришь? Анеле зовут. Любит меня — страшно.

— А ты?

— И я ее уважаю.

— За что же ты ее уважаешь? — спросил Алиханов.

— То есть как?

— Что тебя в ней привлекает? Я говорю: отчего ты полюбил именно ее, эту Анеле?

Балодис подумал и сказал:

— Не могу же я любить всех баб под Ригой...

Читать Алиханов не мог. Заснуть ему не удавалось. Борис думал о тех солдатах, которые ушли на питомник. Он рисовал себе гнусные подробности этой вакханалии и не мог уснуть.

Пробило двенадцать, в казарме уже спали. Так начался год.

Алиханов поднялся и выключил репродуктор.

Солдаты возвращались поодиночке. Алиханов был уверен, что они начнут делиться впечатлениями. Но они молча легли.

Глаза Алиханова привыкли к темноте. Окружающий мир был знаком и противен. Свисающие темные одеяла. Ряды обернутых портянками сапог. Лозунги и плакаты на стенах.

Неожиданно Алиханов понял, что думает о женщине с высылки. Вернее, старается не думать об этой женщине.

Не задавая себе вопросов, Борис оделся. Он натянул брюки и гимнастерку. Захватил в сушилке полушубок. Затем, прикурив у дневального, вышел на крыльцо.

Ночь тяжело опустилась до самой земли. В холодном мраке едва угадывались дорога и очертание суживающегося к горизонту леса.

Алиханов миновал заснеженный плац. Дальше начинался питомник. За оградой хрипло лаяли собаки на блок-постах.

Борис пересек заброшенную железнодорожную ветку и направился к магазину.

Магазин был закрыт. Но рядом жила продавщица Тонечка с мужем-электромонтером. Еще была дочь, приезжавшая только на каникулы.

Алиханов шел на свет в полузанесенном окне.

Затем постучал, и дверь отворилась. Из узкой, неразличимой от пьянства комнаты вырвались звуки старомодного танго. Алиханов, щурясь от света, вошел. Сбоку косо возвышалась елка, украшенная мандаринами и продуктовыми этикетками.

— Пей! — сказал электромонтер.

Он подвинул надзирателю фужер и тарелку с дрогнувшим холодцом.

— Пей, душегуб! Закусывай, сучья твоя порода!

Электромонтер положил голову на клеенку, видимо, совершенно обессилев.

— Премного благодарен, — сказал Алиханов.

Через пять минут Тонечка сунула ему бутылку вина, обернутую клубной афишей.

Он вышел. Грохнула дверь за спиной. Мгновенно исчезла с забора нелепая, длинная тень Алиханова. И вновь темнота упала под ноги.

Надзиратель положил бутылку в карман. Афишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается, шурша.

Когда Борис снова шел мимо вольеров, псы опять зарычали.

На питомнике было тесно. В одной комнате жили инструкторы. Там висели диаграммы, графики, учебные планы, мерцала шкала радиоприемника с изображением кремлевской башни. Рядом были приклеены фотографии кинозвезд из журнала «Советский экран». Кинозвезды улыбались, чуть разомкнув губы.

Борис остановился на пороге второй комнаты. Там на груде дрессировочных костюмов лежала женщина. Ее фиолетовое платье было глухо застегнуто. При этом оно задралось до бедер. А чулки были спущены до колен. Волосы ее, недавно обесцвеченные пергидролем, темнели у корней. Алиханов подошел ближе, нагнулся.

— Девушка, — сказал он.

Бутылка «Пино-гри» торчала у него из кармана.

— Ой, да ну иди ты! — Женщина беспокойно заворочалась в полусне.

— Сейчас, сейчас, все будет нормально, — шептал Алиханов, — все будет о'кей...

Борис прикрыл настольную лампу обрывком служебной инструкции. Припомнил, что обоих инструкторов нет. Один ночует в казарме. Второй ушел на лыжах к переезду, где работает знакомая телефонистка.

Дрожащими руками он сорвал красную пробку. Начал пить из горлышка. Затем резко обернулся — вино пролилось на гимнастерку. Женщина лежала с открытыми глазами. Ее лицо выражало чрезвычайную сосредоточенность. Несколько секунд молчали оба.

— Это что? — спросила женщина.

В голосе ее звучало кокетство, подавляемое нетрезвой дремотой.

— «Пино-гри», — сказал Алиханов.

— Чего? — удивилась женщина.

— «Пино-гри», розовое крепкое, — добросовестно ответил надзиратель, исследуя винную этикетку.

— Один говорил тут — пожрать захвачу...

— У меня нет, — растерялся Алиханов, — но я добуду... Как вас зовут?

— По-разному... Мамаша Лялей называла.

Женщина одернула платье.

— Чулок у меня все отстЯгивается. Я его застЯгиваю, а он все отстЯгивается да отстЯгивается... Ты чего?

Алиханов шагнул, наклонился, содрогаясь от запаха мокрых тряпок, водки и лосьона.

— Все нормально, — сказал он.

Огромная янтарная брошка царапала ему лицо.

— Ах ты, сволочь! — последнее, что услышал надзиратель...

Он сидел в канцелярии, не зажигая лампы. Потом выпрямился, уронив руки. Звякнули пуговицы на манжетах.

— Господи, куда я попал, — выговорил Алиханов, — куда я попал?! И чем все это кончится?!.

Невнятные ускользающие воспоминания коснулись Алиханова.

...Зимний сквер, высокие квадратные дома. Несколько школьников окружили ябеду Вову Машбица. У Вовы испуганное лицо, нелепая шапка, рейтузы...

Кока Дементьев вырывает у него из рук серый мешочек. Вытряхивает на снег галоши. Потом, изнемогая от смеха, мочится... Школьники хвата-

ют Вову, держат его за плечи... Суют его голову в потемневший мешок. Мальчик уже не вырывается. В сущности, это не больно...

Школьники хохочут. Среди других — Боря Алиханов, звеньевой и отличник...

Галоши еще лежат на снегу, такие черные и блестящие. Но уже видны разноцветные палатки спортивного лагеря за Коктебелем. На веревках сушатся голубые джинсы. В сумерках танцуют несколько пар. На песке стоит маленький черный и блестящий транзистор.

Борис прижимает к себе Галю Водяницкую. На девушке мокрый купальник. Кожа у нее горячая, чуть шершавая от загара. Галин муж, аспирант, сидит на краю волейбольной площадки. Там, где место для судей. В его руке белеет свернутая газета.

Галя — студентка индонезийского отделения. Она шепотом произносит непонятные Алиханову индонезийские слова. Он, тоже шепотом, повторяет за ней:

— Кером даш ахнан... Кером ланав...

Галя прижимается к нему еще теснее.

— Ты можешь не задавать вопросов? — говорит Алиханов. — Дай руку!

Они почти бегут с горы, исчезают в кустах. Наверху — бесформенный силуэт аспиранта Водяницкого. Потом — его растерянных окрик:

— Э, э?!.

Воспоминания Алиханова стали еще менее отчетливыми. Наконец замелькали какие-то пятна. Обозначились яркие светящиеся точки. Похищенные у отца серебряные монеты... Растоптанные очки после драки на углу Литейного и Кирочной... И брошка, ослепительная желтая брошка в грубом, анодированном корпусе.

Затем Алиханов снова увидел квадрат волейбольной площадки, белеющей на фоне травы. Но теперь он был собой, и женщиной в мокром купальнике, и любым посторонним. И даже хмурым аспирантом с газетой в руке...

Что-то неясное происходило с Алихановым. Он перестал узнавать действительность. Все близкое, существенное, казавшееся делом его рук, представлялось теперь отдаленным, невнятным и малозначительным. Мир сузился до размеров телеэкрана в чужом жилище.

Алиханов перестал негодовать и радоваться. Он был убежден, что перемена в мире, а не в его душе.

Ощущение тревоги прошло. Алиханов бездумно выдвинул ящик письменного стола. Обнаружил там хлебные корки, моток изоляционной ленты, пачку ванильных сухарей. Затем — мятые погоны с дырочками от эмблем. Две разбитые елочные игрушки. Гибкую коленкоровую тетрадь с наполовину вырванными листами. Наконец — карандаш.

И тут Алиханов неожиданно почувствовал запах морского ветра и рыбы. Услышал довоенное танго и шершавые звуки индонезийских междометий. Разглядел во мраке геометрические очертания палаток. Вспомнил ощущение горячей кожи, стянутой мокрыми, тугими лямками...

Алиханов закурил сигарету, подержал ее в отведенной руке. Затем крупным почерком вывел на листе из тетради:

«Летом так просто казаться влюбленным. Зеленые теплые сумерки бродят под ветками. Они превращают каждое слово в таинственный и смутный знак...»

За окном начиналась метель. Белые хлопья косо падали на стекло из темноты.

— Летом так просто казаться влюбленным, — шептал надзиратель. Полусонный ефрейтор брел коридором, с шуршанием задевая обои. «Летом так просто казаться влюбленным...»

Алиханов испытывал тихую радость. Он любовно перечеркнул два слова и написал:

«Летом... непросто казаться влюбленным...»

Жизнь стала податливой. Ее можно было изменить движением карандаша с холодными твердыми гранями и рельефной надписью — «Орион»..

— Летом непросто казаться влюбленным, — снова и снова повторял Алиханов...

В десять часов утра его разбудил сменщик. Он пришел с мороза, краснолицый и злой.

— Всю ночь по зоне бегал, как шестерка, — сказал он, — это чистый театр... Кир, поножовщина, изолятор набит бакланьем...

Алиханов тоже достал сигарету и пригладил волосы. Целый день он проведет в изоляторе. За стеной будет ходить из угла в угол рецидивист Анаги, позвякивая наручниками...

— Обстановка напряженная, — говорил сменщик, раздеваясь. — Мой тебе совет — возьми Гаруна. Он на третьем блок-посту. Спокойнее, когда пес рядом...

— Это еще зачем? — спросил Алиханов.

— То есть как? Может, ты Анаги не боишься?

— Боюсь, — сказал Алиханов, — очень даже боюсь... Но все равно Гарун страшнее...

Накинув телогрейку, Алиханов пошел в столовую.

Повар Балодис выдал ему тарелку голубоватой овсяной каши. На краю желтело пятнышко растаявшего масла.

Надзиратель огляделся.

Выцветшие обои, линолеум, мокрые столы...

Он захватил алюминиевую ложку с перекрученным стеблем. Сел лицом к окну. Вяло начал есть. Тут же вспомнил минувшую ночь. Подумал о том, что ждет его впереди... И спокойная торжествующая улыбка преобразила его лицо.

Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны.

И, казалось, чего-то ждал от него...

11 марта 1982 года Нью-Йорк

Простите, что задержал очередную главу. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Пишу я только рано утром, с шести и до восьми. Дальше — газета, радиостанция «Либерти»... Одна переписка чего стоит. Да еще — младенец... И так далее.

Развлечение у меня единственное — сигареты. Я научился курить под душем...

Однако вернемся к рукописи. Я говорил о том, как началась моя злосчастная литература.

В этой связи мне бы хотелось коснуться природы литературного творчества. (Я представляю себе вашу ироническую улыбку. Помните, вы говорили: «Сережу мысли не интересуют...» Вообще, слухи о моем интеллектуальном бессилии носят подозрительно упорный характер. Тем не менее — буквально два слова.)

Как известно, мир несовершенен. Устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Конфликт мечты с действительностью не утихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок.

Более того, нечто подобное мы обнаруживаем в собственной душе. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость.

Как в этой ситуации поступает деятель, революционер? Революционер делает попытки установить мировую гармонию. Он начинает преобразовывать жизнь, достигая иногда курьезных мичуринских результатов. Допустим, выводит морковь, совершенно не отличимую от картофеля. В общем, создает новую человеческую породу. Известно, чем это кончается...

Что в этой ситуации предпринимает моралист? Он тоже пытается достичь гармонии. Только не в жизни, а в собственной душе. Путем самоусовершенствования. Тут очень важно не перепутать гармонию с равнодушием...

Художник идет другим путем. Он создает искусственную жизнь, дополняя ею пошлую реальность. Он творит искусственный мир, в котором благородство, честность, сострадание — являются нормой.

Результаты этой деятельности заведомо трагичны. Чем плодотворнее усилия художника тем ощутимее разрыв мечты с действительностью. Известно, что женщины, злоупотребляющие косметикой, раньше стареют...

Я понимаю, что все мои рассуждения достаточно тривиальны. Недаром Вайль и Генис прозвали меня «Трубадуром отточенной банальности». Я не обижаюсь. Ведь прописные истины сейчас необычайно дефицитны.

Моя сознательная жизнь была дорогой к вершинам банальности. Ценой огромных жертв я понял то, что мне внушали с детства. Но теперь эти прописные истины стали частью моего личного опыта.

Тысячу раз я слышал: «Главное в браке — общность духовных интересов».

Тысячу раз отвечал: «Путь к добродетели лежит через уродство».

Понадобилось двадцать лет, чтобы усвоить внушаемую мне банальность. Чтобы сделать шаг от парадокса к трюизму.

В лагере я многое понял. Постиг несколько драгоценных в своей банальности истин

Я понял, что величие духа не обязательно сопутствует телесной мощи. Скорее — наоборот. Духовная сила часто бывает заключена в хрупкую, неуклюжую оболочку. А телесная доблесть нередко сопровождается внутренним бессилием.

Древние говорили:

«В здоровом теле — соответствующий дух!»

По-моему, это не так. Мне кажется, именно здоровые физически люди чаще бывают подвержены духовной слепоте. Именно в здоровом теле чаще царит нравственная апатия.

В охране я знал человека, который не испугался живого медведя. Зато любой начальственный окрик выводил его из равновесия.

Я сам был очень здоровым человеком. Мне ли не знать, что такое душевная слабость...

Вторая усвоенная мною истина еще банальнее. Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших. А также — на коммунистов и беспартийных. На злодеев и праведников. И даже — на мужчин и женщин.

Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств. И в лагере — особенно.

Крупные хозяйственные деятели без следа растворяются в лагерной шушере. Лекторы общества «Знание» пополняют ряды стукачей. Инструкторы физкультуры становятся завзятыми наркоманами. Расхитители государственного имущества пишут стихи. Боксеры-тяжеловесы превращаются в лагерных «дунек» и разгуливают с накрашенными губами.

В критических обстоятельствах люди меняются. Меняются к лучшему и к худшему. От лучшего к худшему и наоборот.

Со времен Аристотеля человеческий мозг не изменился. Тем более не изменилось человеческое сознание.

А значит, нет прогресса. Есть — движение, в основе которого лежит неустойчивость.

Все это напоминает идею переселения душ. Только время я бы заменил пространством. Пространством меняющихся обстоятельств.

Как это поется:

«Был Якир героем, стал врагом народа...»

И еще — лагерь представляет собой довольно точную модель государства. Причем именно советского государства. В лагере имеется диктатура пролетариата (то есть режим), народ (заключенные), милиция (охрана). Там есть партийный аппарат, культура, индустрия. Есть все, чему положено быть в государстве.

Советская власть давно уже не является формой правления, которую можно изменить. Советская власть есть образ жизни нашего государства.

То же происходит и в лагере. В этом плане лагерная охрана — типично советское учреждение...

Как видите, получается целый трактат. Может быть, зря я все это пишу? Может, если этого нет в рассказах, то все остальное — бесполезно?..

Посылаю вам очередные страницы. Будет минута, сообщите, что вы о них думаете.

У нас все по-прежнему. Мать в супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык. Дочка презирает меня за то, что я не умею водить автомашину.

Только что звонил Моргулис, просил напомнить ему инициалы Лермонтова.

Лена вам кланяется...

Наша рота дислоцировалась между двумя большими кладбищами. Одно было русским, другое — еврейским. Происхождение еврейского кладбища было загадкой. Поскольку живых евреев в Коми — нет.

В полдень с еврейского кладбища доносились звуки траурных маршей. Иногда к воротам шли бедно одетые люди с детьми. Но чаще всего там было пустынно и сыро.

Кладбище служило поводом для шуток и рождало мрачные ассоциации. Выпивать солдаты предпочитали на русских могилах...

Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви.

Медсестра Раиса была единственной девушкой в нашей казарме. Она многим нравилась, как нравилась бы любая другая в подобной ситуации. Из ста человек в нашей казарме девяносто шесть томились похотью. Остальные лежали в госпитале на Койне.

При всем желании Раю трудно было назвать хорошенькой. У нее были толстые щиколотки, потемневшие мелкие зубы и влажная кожа.

Но она была добрая и приветливая. Она была все же лучше хмурых девиц с торфоразработок. Эти девицы брели по утрам вдоль ограды, игнорируя наши солдатские шутки. Причем глаза их, казалось, были обращены внутрь...

Летом в казарму явился новый инструктор — Пахапиль. Он разыскал своего земляка Ханнисте, напоил его шартрезом и говорит:

— Ну, а барышни тут есть?

— И даже много, — заверил его Ханнисте, подрезая ногти штыком от автомата.

— Как это? — спросил инструктор.

— Солоха, Рая и восемь Дунек...

— Сууре пярасельт! — воскликнул Густав. — Тут можно жить!

Солохой звали лошадь, на которой мы возили продукты. Дуньками называют лагерных педерастов. Рая была медсестрой...

В санчасти было прохладно даже летом. На окнах покачивались белые марлевые занавески. Еще там стоял запах лекарств, неприятный для больных.

Инструктор был абсолютно здоров, но его часто видели те, кто ходил под окнами санчасти. Солдаты заглядывали в окна, надеясь, что Рая будет переодеваться. Они видели затылок Пахапиля и ругались матом.

Пахапиль трогал холодные щипчики и говорил об Эстонии. Вернее, о Таллинне, об игрушечном городе, о Мюнди-баре. Он рассказывал, что таллиннские голуби нехотя уступают дорогу автомобилям.

Иногда Пахапиль добавлял:

«Настоящий эстонец должен жить в Канаде...»

Как-то раз его лицо вдруг стало хмурым и даже осунулось. Он сказал: «Замолчать!» и повалил Раю на койку.

В санчасти пахло больницей, и это многое упрощало. Пахапиль лежал на койке, обитой холодным дерматином. Он замерз и подтянул брюки.

Инструктор думал о своей подруге Хильде. Он видел, как Хильда идет мимо Ратуши...

Рядом лежала медсестра, плоская, как слово на заборе. Пахапиль сказал:

— Ты разбила мне сердце...

Ночью он снова пришел. Когда он постучал, за дверью стало чересчур тихо. Тогда Густав сорвал крючок.

На койке сидел безобразно расстегнутый ефрейтор Петров. Раю инструктор заметил не сразу.

— Вольно! — сказал Фидель, придерживая брюки. — Вольно, говорю...

— Курат! — воскликнул Густав, — падаль!

— Мамочки! — сказала Рая и добавила: — Выражаться не обязательно.

— Ах ты, нерусский, — сказал Фидель.

— Сука! — произнес инструктор, заметив Раю.

— А что, если мне вас обоих жалко? — сказала Рая, — что тогда?

— Чтобы все дохли! — сказал инструктор.

В коридоре громко запел дневальный:

...Сорок метров крепдешина,
Пудра, тушь, одеколон...

— Ваша жена может приезжать, — сказала Рая, — она такая интересная дама. Я видела фотку...

— Надо сейчас давать по морде! — крикнул инструктор.

Фидель носил баки. На плече его видна была татуировка: голая женщина и рядом слова: «Милэди, я завтра буду с вами!»

— Хромай отсюда, — сказал Фидель.

Пахапиль умел драться. С любой позиции он мог достать Фиделя. Его учил боксу сам Вольдемар Хансович Ней.

Фидель достал из эмалированной ванночки скальпель. Его глаза побелели.

— Пришел, — возмутилась Раиса, — и стоит, как неродной. Скромнее надо быть. Ваша нация почище евреев. Те хоть не пьют...

— Кругом! — сказал Фидель.

— Подождал бы до завтра, — сказала Рая.

Пахапиль засмеялся и ушел досматривать телепередачу.

— Живет недалеко, — сказала Рая, — взяла бы да приехала. Тоже уж мне, генеральша...

— Одно слово — немцы, — покачал головой Фидель.

19 марта 1982 года. Нью-Йорк

Наш телефонный разговор был коротким и поспешным. И я не договорил. Так что вернемся к перу и бумаге.

Недавно я прочитал книгу — «Азеф». В ней рассказывается о головокружительной двойной игре Азефа. О его деятельности революционера и провокатора.

Как революционер он подготовил несколько успешных террористических актов. Как агент полиции выдал на расправу многих своих друзей.

Все это Азеф проделывал десятилетиями.

Ситуация кажется неправдоподобной. Как мог он избежать разоблачения? Одурачить Гершуни и Савинкова? Обвести вокруг пальца Рачковского и Лопухина? Так долго пользоваться маской?

Я знаю, почему это стало возможным. Разгадка в том, что маски не было. Оба его лица были подлинными. Азеф был революционером и провокатором — одновременно.

Полицейские и революционеры действовали одинаковыми методами. Во имя единой цели — народного блага.

Они были похожи, хоть и ненавидели друг друга.

Поэтому-то Азеф и не выделялся среди революционеров. Как, впрочем, и среди полицейских.

Полицейские и революционеры говорили на одном языке.

И вот я перехожу к основному. К тому, что выражает сущность лагерной жизни. К тому, что составляет главное ощущение бывшего лагерного надзирателя. К чертам подозрительного сходства между охранниками и заключенными. А если говорить шире — между «лагерем» и «волей».

Мне кажется, это главное.

Жаль, что литература бесцельна. Иначе я бы сказал, что моя книга написана ради этого...

«Каторжная» литература существует несколько веков. Даже в молодой российской словесности эта тема представлена грандиозными образцами. Начиная с «Мертвого дома» и кончая «ГУЛАГом». Плюс — Чехов, Шаламов, Синявский.

Наряду с «каторжной» имеется «полицейская» литература. Которая также богата значительными фигурами. От Честертона до Агаты Кристи.

Это — разные литературы. Вернее — противоположные. С противоположными нравственными ориентирами.

Таким образом, есть два нравственных прейскуранта. Две шкалы идейных представлений.

По одной — каторжник является фигурой страдающей, трагической, заслуживающей жалости и восхищения. Охранник — соответственно — монстр, злодей, воплощение жестокости и насилия.

По второй — каторжник является чудовищем, исчадием ада. А полицейский, следовательно,— героем, моралистом, яркой творческой личностью.

Став надзирателем, я был готов увидеть в заключенном — жертву. А в себе — карателя и душегуба.

То есть я склонялся к первой, более гуманной шкале. Более характерной для воспитавшей меня русской литературы. И, разумеется, более убедительной. (Все же Сименон — не Достоевский.)

Через неделю с этими фантазиями было покончено. Первая шкала оказалась совершенно фальшивой. Вторая — тем более.

Я вслед за Гербертом Маркузе (которого, естественно, не читал) обнаружил третий путь.

Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей. Между заключенными и надзирателями. Между домушниками-рецидивистами и контролерами производственной зоны. Между зеками-нарядчиками и чинами лагерной администрации.

По обе стороны запретки расстилался единый и бездушный мир.

Мы говорили на одном приблатненном языке. Распевали одинаковые сентиментальные песни. Претерпевали одни и те же лишения.

Мы даже выглядели одинаково. Нас стригли под машинку. Наши обветренные физиономии были расцвечены багровыми пятнами. Наши сапоги распространяли запах конюшни. А лагерные робы издали казались неотличимыми от заношенных солдатских бушлатов.

Мы были очень похожи и даже — взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы.

Повторяю — это главное в лагерной жизни. Остальное — менее существенно.

Все мои истории написаны об этом...

Кстати, недавно пришла бандероль из Дартмута. Два куска фотопленки и четыре страницы текста на папиросной бумаге.

Кое-что, я слышал, попало в Голубую Лагуну...

Жаль, если пропадет что-нибудь стоящее. Ладно.

Буду лететь из Миннеаполиса — сойду в Детройте. Встретите на машине — хорошо. Нет — доберусь сам.

Крышу ремонтировать не обязательно...

Прежде чем выйти к лесоповалу, нужно миновать знаменитое осокинское болото. Затем пересечь железнодорожную насыпь. Затем спуститься под гору, обогнув мрачноватые корпуса электростанции. И лишь тогда оказаться в поселке Чебью.

Половина его населения — сезонники из бывших зеков. Люди, у которых дружба и ссора неразличимы по виду.

Годами они тянули срок. Затем надели гражданское тряпье, двадцать лет пролежавшее в каптерках. Уходили за ворота, оставляя позади холодный стук штыря. И тогда становилось ясно, что желанная воля есть знакомый песенный рефрен, не больше.

Мечтали о свободе, пели и клялись... А вышли — и тайга до горизонта...

Видимо, их разрушало бесконечное однообразие лагерных дней. Они не хотели менять привычки и восстанавливать утраченные связи. Они селились между лагерями в поле зрения часовых. Храня, если можно так выразиться, идейный баланс нашего государства, раскинувшегося по обе стороны лагерных заборов.

Они женились бог знает на ком. Калечили детей, внушая им тюремные премудрости:

«Только мелкая рыба попадается в сети»...

В результате поселок жил лагерным кодексом. Население его щеголяло блатными повадками. И даже третье поколение любой семьи кололось морфином. А заодно тянуло «дурь» и ненавидело конвойные войска.

И не стоило появляться здесь выпившему чекисту. Над головой его, увенчанной красным околышем, быстро собирались тучи. За спиной его хлопали двери. И хорошо, если парень был не один...

Год назад три пильщика вывели из шалмана бледного чекиста. На плечах его топорщились байковые крылышки. Он просил, упирался и даже командовал. Но его ударили так, что фуражка закатилась под крыльцо. А потом сделали — «качели». Положили ему доску на грудь и шагнули коваными сапогами.

Наутро кладовщики обнаружили труп. Сначала думали — пьяный. Но вдруг заметили узкую кровь, стекавшую изо рта под голову.

Затем приезжал сюда военный дознаватель. Говорил о вреде алкоголя перед картиной «Неуловимые мстители». А на вопросы: «Как же ефрейтор Дымза? Испекся, что ли?! И все, с концами?!» — отвечал:

— Следствие, товарищи, на единственно верном пути!..

Пильщики же так и соскочили. Хотя на Чебью их знала каждая собака...

Чтобы выйти к лесоповалу, нужно миновать железнодорожное полотно. Еще раньше — шаткие мостки над белой от солнца водой. А до этого — поселок Чебью, наполненный одурью и страхом.

Вот его портрет, точнее — фотоснимок. Алебастровые лиры над заколоченной дверью местного клуба. Лавчонка, набитая пряниками и хомутами. Художественно оформленные диаграммы, сулящие нам мясо-яйца, шерсть, а также прочие интимные блага. Афиша Леонида Кострицы. Мертвец или пьяный у обочины.

И над всем этим — лай собак, заглушающий рев пилорамы...

Впереди шел инструктор Пахапиль с Гаруном. В руке он держал брезентовый поводок. Закуривая и ломая спички, он что-то говорил по-эстонски.

Всех собак на питомнике Густав учил эстонскому языку. Вожатые были этим недовольны. Они жаловались старшине Евченко:

— Ты ей приказываешь — к ноге! А сучара тебе в ответ — нихт ферштейн!

Инструктор вообще говорил мало. Если говорил, то по-эстонски. И, в основном, не с земляками, а с Гаруном. Пес всегда сопровождал его.

Пахапиль был замкнутым человеком. Осенью на его имя пришла телеграмма. Она была подписана командиром части и секретарем горисполкома Нарвы:

«Срочно вылетайте регистрации гражданкой Хильдой Кокс находящейся девятом месяце беременности».

Вот так эстонец, думал я. Приехал из своей Курляндии. Полгода молчал, как тургеневский Герасим. Научил всех собак лаять по-басурмански. А теперь улетает, чтобы зарегистрироваться с гражданкой, откликающейся на потрясающее имя — Хильда Кокс.

В тот же день Густав уехал на попутном лесовозе. Месяц скулил на питомнике верный Гарун. Наконец Пахапиль вернулся.

Он угостил дневального таллиннской «Примой». Сшибая одуванчики новеньким чемоданом, подошел к гимнастическим брусьям. Сунул руку каждому из нас.

— Женился? — спросил его Фидель.

— Та, — ответил Густав, краснея.

— Папочкой стал?

— Та.

— Как назвали? — спросил я.

Мне в самом деле было интересно, как назвали ребенка. Ведь матушка его отзывалась на имя Хильда Кокс.

Вот так эстонец, думал я. Год прожил на краю земли. Перепортил всех конвойных собак. Затем садится на попутный лесовоз и уезжает. Уезжает, чтобы под крики «горько» целовать невообразимую Хильду Браун. Вернее — Кокс.

— Как назвали младенца? — спрашиваю.

Густав взглянул на меня и потушил сигарету о каблук.

— Терт ефо снает...

И ушел на питомник болтать с четвероногим адъютантом.

Теперь они снова появлялись вместе. Пес казался более разговорчивым.

Однажды я увидел Пахапиля за книгой. Он читал в натопленной сушилке. За столом, пожелтевшим от ружейного масла. Под железными крючьями для тулупов. Гарун спал у его ног.

Я подошел на цыпочках. Заглянул через плечо. Это была русская книга. Я прочитал заглавие:

«Фокусы на клубной сцене»...

Впереди идет Пахапиль с Гаруном. В руке у него брезентовый поводок. То и дело он щелкает себя по голенищу.

На ремне его болтается пустая кобура. ТТ лежит в кармане.

С леса дорогу блокирует ефрейтор Петров. Маленький и неуклюжий Фидель, спотыкаясь, бредет по обочине. Он часто снимает без нужды предохранитель. Вид у Фиделя такой, словно его насильно привязали к автомату.

Зеки его презирают. И в случае чего — не пощадят.

Год назад возле Синдора Фидель за какую-то провинность остановил этап. Сняв предохранитель, загнал колонну в ледяную речку. Зеки стояли молча, понимая, как опасен тридцатизарядный АКМ в руках неврастеника и труса.

Фидель минут сорок держал их под автоматом, распаляясь все больше и больше. Затем кто-то из дальних рядов неуверенно пустил его матерком. Колонна дрогнула. Передние запели. Над рекой пронеслось:

А дело было в старину,
Эх, под Ростовом-на-Дону,
Со шмарой, со шмарой...
Какой я был тогда чудак,
Надел ворованный пиджак
И шкары, и шкары...

Фидель стал пятиться. Он был маленький, неуклюжий, в твердом полушубке. Крикнул с побелевшими от ужаса глазами:

— Стой, курва, приморю!

И вот тогда появился рецидивист Купцов. (Он же — Коваль, Анагизаде, Гек, Шаликов, Рожин.) Вышел из первой шеренги. И в наступившей тишине произнес, легко отводя рукой дуло автомата:

— Ты загорелся? Я тебя потушу...

Пальцы его белели на темном стволе.

Фидель рванул на себя АКМ. Дал слепую очередь над головами. И все пятился, пятился...

Тогда я увидел Купцова впервые. Его рука казалась изящной. Телогрейка в морозный день была распахнута. Рядом вместо замершей песни громоздились слова:

— Я тебя потушу...

Он напоминал человека, идущего против ветра. Как будто ветер навсегда избрал его своим противником. Куда бы ни шел он. Что бы ни делал...

Потом я видел Купцова часто. В темной, сырой камере изолятора. У костра на лесоповале. Бледного от потери крови. И ощущение ветра уже не покидало меня.

Впереди шагает Пахапиль с Гаруном. Щелкая брезентовым ремешком, он что-то говорит ему по-эстонски. На родном языке инструктор обращается только к собакам.

Слева колонну охраняет распятый на берданке ефрейтор Петров. За этот фланг можно быть спокойным. Людям известно, что значит модернизированный АК в руках такого воина, как Фидель.

Мы переходим холодную узкую речку. Следим, чтобы заключенные не спрятались под мостками. Выводим бригаду к переезду. Ощущая запах вокзальной гари, пересекаем железнодорожную насыпь. И направляемся к лесоповалу.

Так называется участок леса, окруженный символической непрочной изгородью. На уровне древесных крон торчат фанерные сторожевые вышки.

Охрану несет караульная группа. Возглавляет ее сержант Шумейко, который целыми днями томится, ожидая ЧП.

Мы заводим бригаду в сектор охраны. После этого наши обязанности меняются.

Пахапиль становится радистом. Он достает из сейфа Р-109. Выводит гибкую, как бамбуковое удилище, антенну. Затем роняет в просторный эфир таинственные нежные слова:

— Алло, Роза! Алло, Роза! Я — Пион! Я — Пион! Вас не слышу! Вас не слышу!..

Фидель с гнусным шумом двигает ржавые штыри в проходном коридоре. Он считает карточки. Берет ключи от пирамиды. Осматривает сигнальные «Янтари» и «Хлопушки». Трогает, хорошо ли растоплена печь. Превращается в контролера хозяйственной зоны.

Зеки разводят костры. Шоферы лесовозов выстраиваются за соляркой. Перекликаются на вышках часовые. Сержант Шумейко, чью личность мы впервые оценили после драки на Койне, тихо засыпает. Хотя наш единственный топчан предназначен для бойца, свободного от караула.

Двенадцать сторожевых постов утвердились над лесом. Начинается рабочий день.

Вокруг — дым костров, гул моторов, запах свежих опилок, перекличка часовых. Эта жизнь медленно растворяется в бледном сентябрьском небе.

Гулко падают сосны. Тягачи волокут их, подминая кустарник. Солнце ослепительными бликами ложится на фары машин. А над лесоповалом в просторном эфире беззвучно мечутся слова:

— Алло, Роза! Алло, Роза! Я — Пион! Я — Пион! Часовые на вышках! Сигнализация в порядке! Запретная полоса распахана! Воры приступили к работе! Прием! Вас не слышу! Вас не слышу!..

Контролер пропустил меня в зону. Сзади неприятно звякнул штырь. У костра расконвоированный повар Галимулин заряжал чифирбак. Я прошел мимо, хотя употребление чифира было строго запрещено. Режимная инструкция приравнивала чифиристов к наркоманам. Однако все бакланье чифирило, и мы это знали. Чифир заменял им женщин.

Галимулин подмигнул мне. Я убедился, что мой либерализм зашел слишком далеко. Мне оставалось только пригрозить ему кондеем. На что Галимулин вновь одарил меня своей басурманской улыбкой. Передние зубы у него отсутствовали.

Я прошел мимо балана, любуясь желтым срезом. Уступил дорогу тягачу, с шумом ломавшему ветки. Защищая физиономию от паутины, вышел через лес к инструментальной мастерской.

Зеки раскатывали бревна, обрубали сучья. Широкоплечий татуированный стропаль ловко орудовал багром.

— Поживей, уркаганы! — крикнул он, заслонив ладонью глаза. — Отстающих в коммунизм не берем. Так и будут доходить при нынешнем строе...

Сучкорубы опустили топоры, кинули бушлаты на груду веток. И опять железо блеснуло на солнце.

Я шел и думал: «Энтузиазм? Порыв? Да ничего подобного. Обычная гимнастика. Кураж... Сила, которая легко перешла бы в насилие. Дай только волю...»

Переговариваясь с часовым, я обогнул лесоповал вдоль запретки. Прыгая с кочки на кочку, миновал ржавое болото. И вышел на поляну, тронутую бледным утренним солнцем.

У низкого костра спиной ко мне расположился человек. Рядом лежала толстая книга без переплета. В левой руке он держал бутерброд с томатной пастой.

— А, Купцов, — сказал я, — опять волынишь?! В крытку захотел?

В отголосках трудового шума, у костра — зек был похож на морского разбойника. Казалось, перед ним штурвал, и судно движется навстречу ветру...

Зима. Штрафной изолятор. Длинные тени под соснами. Окна, забитые снегом.

За стеной, позвякивая наручниками, бродит Купцов. В книге нарядов записано: «Отказ».

Я достаю из сейфа матрикул Бориса Купцова. Тридцать слов, похожих на взрыв. БОМЖ (без определенного места жительства). БОЗ (без определенных занятий). Гриф ОР (опасный рецидивист). Тридцать два года в лагерях. Старейший «законник» усть-вымского лагпункта. Четыре судимости. Девять побегов. Принципиально не работает...

Я спрашиваю:

— Почему не работаешь?

Купцов звякает наручниками:

— Сними браслет, начальник! Это золото без пробы.

— Почему не работаешь, волк?

— Закон не позволяет.

— А жрать твой закон позволяет?

— Нет такого закона, чтобы я голодал.

— Ваш закон отжил свое. Все законники давно раскололись. Антипов стучит. Мамай у кума — первый человек. Седой завис на морфине. Топчилу в Ропче повязали...

— Топчила был мужик и фраер, зеленый, как гусиное дерьмо. Разве он вор? Двинуть бабкин «угол» — вот его фортуна. Так и откороновался...

— Ну, а ты?

— А я — потомственный российский вор. Я воровал и буду...

Передо мной у низкого костра сидит человек. Рядом на траве белеет книга. В левой руке он держит бутерброд...

— Привет, — сказал Купцов, — вот рассуди, начальник. Тут написано — убил человек старуху из-за денег. Мучился так, что сам на каторгу пошел. А я, представь себе, знал одного клиента в Туркестане. У этого клиента — штук тридцать мокрых дел и ни одной судимости. Лет до семидесяти прожил. Дети, внуки, музыку преподавал на старости лет... Более того, история показывает, что можно еще сильнее раскрутиться. Например, десять миллионов угробить или там сколько, а потом закурить «Герцоговину Флор»...

— Слушай, — говорю я, — ты будешь работать, клянусь. Рано или поздно ты будешь шофером, стропалем, возчиком. На худой конец — сучкорубом. Ты будешь работать либо околеешь в ШИЗО. Ты будешь работать, даю слово. Иначе ты сдохнешь...

Зек оглядывает меня как вещь. Как заграничный автомобиль напротив Эрмитажа. Проследил от радиатора до выхлопной трубы. Затем он внятно произнес:

— Я люблю себя тешить...

И сразу — капитанский мостик над волнами. Изорванные в клочья паруса. Ветер, соленые брызги... Мираж...

Я спрашиваю:

— Будешь работать?

— Нет. Я родился, чтобы воровать.

— Иди в ШИЗО!

Купцов встает. Он почти вежлив со мной. На лице его застыла гримаса веселого удивления.

Где-то падают сосны, задевая небо. Грохочет лесовоз.

Неделю Купцов доходит в изоляторе. Без сигарет, без воздуха, на полухлебе.

— Ты даешь, начальник, — говорит он, когда я прохожу мимо амбразуры.

Наконец контролер отпускает его в зону.

В тот же день у него появляются консервы, масло, белый хлеб. Загадочная организация, тюремный горсобес, снабжает его всем необходимым.

Февраль. Узкие тени лежат между сосен. На питомнике лают собаки. Покинув казарму, мы с Хедояном оказываемся в зоне.

— Давай, — говорит Рудольф, — иди вдоль простреливаемого коридора, а я к тебе навстречу.

Он идет через свалку к изолятору. По уставу мы должны идти вместе. Надзиратели ходят только вдвоем. Недаром капитан Прищепа говорит: «Двое — это больше, чем ТЫ и Я. Двое — это МЫ»...

Мы расстаемся под баскетбольными щитами. Зимней полночью они напоминают виселицы. Как только я исчезну за баками свалки, Рудольф Хедоян вернется. Он закурит и направится к вахте, где тикают ходики. Я тоже мог бы вернуться. Мы бы все поняли и рассмеялись. Но для этого я слишком осторожен. Если это случится, я буду отсиживаться на вахте каждый раз.

Я надвигаю воркутинский капюшон и распахиваю дверь соседнего барака. Нестерпимо грохочет привязанный к скобе эмалированный чайник. Значит, в бараке не спят. Нары пусты. Стол завален деньгами и картами. Кругом — человек двадцать в нижнем белье. Взглянув на меня, продолжают игру.

— Не торопись, ахуна, — говорит карманник Чалый, — всех пощекочу!

— Жадность фраера губит, — замечает валютчик Белуга.

— С довеском, — показывает карты Адам.

— Задвигаю и вывожу, — тихо роняет Купцов...

Я мог бы уйти. Водворить на место чайник и захлопнуть дверь. Клубы пара вырвались бы из натопленного жилья. Я бы шел через зону, ориентируясь на прожекторы возле КПП, где тикают ходики. Я мог остановиться, выкурить сигарету под баскетбольной корзиной. Три минуты постоять, наблюдая, как алеет в снегу окурок. А потом на вахте я бы слушал, как Фидель говорит о любви. Я бы даже крикнул под общий смех:

«Эй, Фидель, ты лучше расскажи, как по ошибке на старшину Евченко забрался...»

Для всего этого я недостаточно смел. Если это случится, мне уже не зайти в барак...

Я говорю с порога:

— Когда заходит начальник, положено вставать.

Зеки прикрывают карты.

— Без понта, — говорит Купцов, — сейчас нельзя...

— Это вилы, начальник, — произносит Адам.

Остальные молчат. Я протягиваю руку. Огребаю податливые мятые бумажки. Сую в карманы и за пазуху. Чалый хватает меня за локоть.

— Руки! — приказывает ему Купцов.

И потом, обращаясь ко мне:

— Начальник, остынь!

Хлопает дверь за спиной, гремит эмалированный чайник.

Я иду к воротам. Бережно, как щенка, несу за пазухой деньги. Ощущаю на своих плечах тяжесть всех рук, касавшихся этих мятых бумажек. Горечь всех слез. Злую волю...

Я не заметил, как подбежали сзади. Вокруг стало тесно. Чужие тени кинулись под ноги. Мигнула лампочка в проволочной сетке. И я упал, не расслышав собственного крика...

В госпитале я лежал недели полторы. Над моей головой висел репродуктор. В гладкой фанерной коробке жили мирные новости. На тумбочке стояли шахматные фигуры вперемешку с пузырьками для лекарств. За окнами расстилался морозный день. Пейзаж в оконной раме...

Сухое чистое белье... Мягкие шлепанцы, застиранный теплый халат... Веселая музыка из репродуктора... Клиническая прямота и откровенность быта. Все это заслоняло изолятор, желтые огни над лесобиржей, примерзших к автоматам часовых. И тем не менее я вспоминал Купцова очень часто. Я не удивился бы, пожалуй, зайди он ко мне в своей лагерной робе. Да еще и с книгой в руках.

Я не знал, кто ударил меня возле пожарного стенда. И все же чувствовал: неподалеку от белого лезвия мелькнула улыбка Купцова. Упала, как тень, на его лицо...

В шлепанцах и халате я пересек заснеженный двор. Оказавшись в темном флигеле, натянул сапоги. Затем приехал в штаб на лесовозе. Явился к подполковнику Гречневу. На его столе размахивал копьем чугунный витязь. Тон был начальственно-фамильярный:

— Говорят, на тебя покушение было?
— Просто сунули шабер в задницу.
— Ну и что хорошего? — спросил подполковник.
— Да так, — говорю, — ничего.
— Как это произошло?
— Играли в буру. Я отнял деньги.
— Когда тебя обнаружили, денег не было.
— Естественно.
— Зачем же ты приключений ищешь?
— Затем, что подобные вещи кончаются резней.
— Товарищ подполковник...
— Резней, товарищ подполковник.
— Это в наших интересах.
— Я думаю, надо по закону.
— Ладно, считай, что я этого не говорил. Ты питерский?
— С Охты.
— В штабе рассказывают такой анекдот. Приехал майор Бережной на Ропчу. Дневальный его не пускает. Бережной кричит: «Я из штаба части!» Дневальный в ответ: «А я — с Лиговки!» Ты приемами самбо владеешь?
— Более или менее.
— Говорят — от топора и лома нет приема... Можно перевести тебя в другую команду.
— Я не боюсь.
— Это глупо. Отошлем тебя в Синдор...
— А в Синдоре — не зеки? Такое же сучье и беспредельщина.
— Права думаешь качать?
— Не собираюсь.
— Товарищ подполковник.
— Не собираюсь, товарищ подполковник.
— Вот и замечательно, — сказал он, — а то прижмуриться недолго. Габариты у тебя солидные, не промахнешься...

Штабной грузовик отвез меня к переезду.

Я шел по укатанной гладкой дороге. Затем — по испачканной конским навозом лежневке. Сокращая дорогу, пересек замерзший ручей. И дальше — мимо воробьиного гвалта. Вдоль голубоватых сугробов и колючей проволоки.

Сопровождаемый лаем караульных псов, я вышел к зоне. Увидел застиранный розовый флаг над чердачным окошком казармы. Покосившийся фанерный гриб и дневального с кинжалом на ремне. Незнакомого солдата у колодца. Чистые дрова, сложенные штабелем под навесом. И вдруг ощутил, как стосковался по этой мужской тяжелой жизни. По этой жизни с куревом и бранью. С гармошками, тулупами, автоматами, фотографиями, заржавленными бритвенными лезвиями и дешевым одеколоном...

Я зашел к старшине. Отдал ему продовольственный аттестат. Затем направился в сушилку.

Там, вокруг помоста, заваленного ржавыми дисками от штанги, сидели бойцы и чистили картофель.

Вопросов мне не задавали. Только писарь Богословский усмехнулся и говорит:

— А мы тебя навечно в списки части занесли...

Как я затем узнал, из штаба части присылали военного дознавателя. Он прочитал лекцию: «Вырождение буржуазного искусства».

Потом ему задали вопрос: «Как там наш амбал?»

Лектор ответил:

— Следствие на единственно верном пути, товарищи...

Купцова я увидел в зоне. Это случилось перед разводом конвойных бригад. Он подошел и, не улыбаясь, спросил:

— Как здоровье, начальник?
— Ничего, — говорю, — а ты по-прежнему в отказе?
— Пока закон кормит.
— Значит, не работаешь?
— Воздерживаюсь.
— И не будешь?

Мимо нас под грохот сигнального рельса шли заключенные. Они шли группами и поодиночке — к воротам. Бугры ловили по зоне отказчиков. Купцов же стоял на виду...

— Не будешь работать?
— Нихт, — сказал он, — зеленый прокурор идет — весна! Под каждым деревом — хаза.
— Думаешь бежать?
— Ага, трусцой. Говорят, полезно.
— Учти, в лесу я исполню тебя без предупреждения.
— Заметано, — ответил Купцов и подмигнул.

Я схватил его за борт телогрейки.

— Послушай, ты — один! Воровского закона не существует. Ты один...
— Точно, — усмехнулся Купцов, — солист. Выступаю без хора.
— Ну и сдохнешь. Ты один против всех. А значит, не прав...

Купцов произнес медленно, внятно и строго:

— Один всегда прав...

И вдруг я понял, что рад этому зеку, который хотел меня убить. Что я постоянно думал о нем. Что жить не могу без Купцова.

Это было так неожиданно, глупо, противно... Я решил все обдумать, чтобы не кривить душой.

Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал о чем-то догадываться. Вернее — ощущать, что этот последний законник усть-вымского лагпункта — мой двойник. Что рецидивист Купцов (он же — Шаликов, Рожин, Алямов) мне дорог и необходим. Что он — дороже солдатского товарищества, поглотившего жалкие крохи моего идеализма. Что мы — одно. Потому что так ненавидеть можно одного себя.

И еще я почувствовал, как он устал...

Я помню ту зиму, февраль, вертикальный дым над бараками. Когда лагерь засыпает, становится очень тихо. Лишь иногда волкодав на блокпосту поднимает голову, звякнув цепью.

Мы втроем на КПП.

Фидель греет руки около печной заслонки. Козырек его фуражки сломан. Он напоминает птичий клюв. Рядом сидит женщина в темных от растаявшего снега бурках.

— Фамилия наша Купцовы, — говорит она, развязывая платок.
— Свидание не положено.
— Так я же издалека.
— Не положено, — твердит Фидель.
— Мальчики...

Фидель молчит, затем наклоняется к женщине и что-то шепчет. Он что-то говорит ей, наглея и стыдясь.

Вводят Купцова. Он идет по-блатному, как в миру. Сутулится и прячет кулаки в рукава. И снова у меня ощущение бури над его головой. Снова я вижу капитанский мостик...

Зек останавливается в проходном коридоре. Заглядывает на вахту, узнает и смотрит, смотрит... Не устает смотреть. Только пальцы его белеют на стальной решетке.

— Боря, — шепчет женщина, — совсем зеленый.

— Как огурчик, — усмехается тот.

— Свидание не положено, — говорит Фидель.

— Они предложили, — женщина с тоской глядит на мужа, — они предложили... Мне срамно повторить...

— Найду, — тихо, одному себе говорит Купцов, — найду я вас, ребята... А уж получать буду — не скощу...

— Баклань, — угрожающе произносит Фидель, — в изоляторе клеток навалом. — И потом, обращаясь к дежурному надзирателю: — Увести!

Женщина вскрикивает, плачет. Купцов стоит, прижавшись к решетке щекой.

— Соглашайся, Тамара, — неожиданно и внятно говорит он, — соглашайся. Соглашайся, чего предложили начальники...

Надзиратель берет его за локоть.

— Соглашайся, Томка, — говорит он.

Надзиратель тащит его, почти срывая робу. Видны худые мощные ключицы и синий орел на груди.

— Соглашайся, — все еще просит и умоляет Купцов...

Я распахиваю дверь. Выхожу на дорогу. Меня ослепляет фарами громыхающий лесовоз. В наступившей сразу же кромешной тьме дорога едва различима. Я оступаюсь, падаю в снег. Вижу небо, белое от звезд. Вижу дрожащие огни над лесобиржей...

Все расплывается, ускользает. Я вспоминаю море, дюны, обесцвеченный песок. И девушку, которая всегда была права. И то, как мы сидели рядом на днище перевернутой лодки. И то, как я поймал окунька, бросил его в море. А потом уверял девушку, что рыбка крикнула «мерси!»...

Потом я уже не чувствовал холода и догадался, что замерзаю. Тогда я встал и пошел. Хотя знал, что буду еще не раз оступаться и падать.

Через несколько минут я ощутил запах сырых березовых дров. Увидел белый дым над вахтой.

Стекла КПП роняли дрожащие желтые блики на отполированную тягачами лежневку...

Когда я зашел, Фидель, морщась от пламени, выгребал угли. Инструктор, вернувшись с обхода, пил чай. Женщины не было...

— Такая бикса эта Нюрка, — говорил Фидель, — придешь — водяра, холодец. Сплошное мамбо итальяно. Кирнешь, закусишь — и понеслась душа в рай. А главное — душевно, типа: «Ваня, не желаешь ли рассолу?».

— Нельзя ли договориться, — хмуро спросил инструктор, — чтобы она мне выстирала портянки?

И опять наступила весна. Последний черный снег унес особенное зимнее тепло. По размытым лежневкам медленно тянулись дни...

Этот месяц Купцов просидел в изоляторе. Он дошел. Под распахнутой телогрейкой выделялись ключицы. Зек вел себя тихо, лишь однажды бросился на Фиделя. Мы их с трудом растащили.

Я не удивился. Волк ненавидит собак и людей. Но все-таки больше — собак.

Трижды я отпускал его в зону. Трижды у нарядчика появлялась короткая запись:

«Отказ»...

Начальник конвоя в зеленом плаще осветил фонариком список.

— Лесоповал — на выход! — скомандовал он.

Мы приняли бригаду у ворот жилой зоны. Пахапиль, сдерживая Гаруна, ушел вперед. Я, выдержав дистанцию, оказался сзади.

Поселок Чебью встретил нас лаем собак, запахом мокрых бревен, хмурым равнодушием обитателей.

Вдоль захламленных двориков мы направились к больнице. Повернули к реке, свободной от льда, неожиданно чистой и блестящей. Прошли грубо сколоченными мостками. Пересекли железнодорожную линию с бесцветной травой между шпал. Миновали огромные цистерны, водокачку и помпезное здание железнодорожного сортира. И уж затем вышли на грязную от дождей лежневку.

— В детстве я любил по грязи шлепать, — сказал мне Фидель, — а ты? Сколько я галош в дерьме оставил — это страшно подумать!..

Около лесоповала мы встретили караульную группу. Часовые были в полушубках. В руках они несли телефонные аппараты и подсумки с магазинами.

Пахапиль остановил зеков, тронул козырек и начал докладывать.

— Отставить! — прервал его начальник караула Шумейко.

Громадный и рябой, он выглядит сонным, даже когда бегает за пивом. Яркую индивидуальность сержанта Шумейко можно оценить лишь в ходе чрезвычайных происшествий. Все, за исключением ЧП, ему давно наскучило... Шумейко пересчитал заключенных. Тасуя их личные карточки, направил в предзонник одну шеренгу за другой. И наконец махнул часовым.

Мы зашли на КПП. Фидель кинул оружие в пирамидку и лег на топчан. Я осмотрел сигнализацию и начал растапливать печь.

Пахапиль достал из сейфа рацию. Вытащил гибкую, как удилище, металлическую антенну. И потом огласил небесные сферы таинственными заклинаниями:

— Алло, Роза! Алло, Роза! Я — Пион! Я — Пион! Сигнализация в порядке. Запретка распахана. Урки работают. Вас не слышу, вас не слышу...

Я зашел в производственный сектор, направился к инструменталке. Возле бочки с горючим темнела унылая длинная очередь. Кто-то закурил, но сразу бросил папиросу. Карманник Чалый, увидев меня, нарочито громко запел:

> На бану, на бану,
> Эх, да на баночке
> Чемоданчик грабану,
> И спасибо ночке...

Со мной заговаривали, я отвечал. Затем, нагибаясь, вышел через лес к поляне. Там возле огня сидел на корточках человек.

— Не работаешь, бес?

— Воздерживаюсь. Привет, начальник.

— Значит, в отказе?

— Без изменений.

— Будешь работать?

— Закон не позволяет.

— Две недели ШИЗО!

— Начальник...

— Будешь работать?

— Начальник...

— Шофером, возчиком, сучкорубом...

Я подошел и разбросал костер.

— Будешь работать?

— Да, — сказал он, — пойдем.

— Сучкорубом или возчиком?

— Да. Пойдем.

— Иди вперед...

Он шел и придерживал ветки. Ступая в болото, не глядя.

Под вышкой около сваленного дерева курили заключенные. Я сказал нарядчику:

— Топор.

Нарядчик усмехнулся.

— Топор! — крикнул я.

Нарядчик подал Купцову топор.

— К Летяге в бригаду пойдешь?

— Да.

Пальцы его неумело сжимали конец топорища. Кисть выглядела изящно на темном залоснившемся древке.

Как я хотел, чтобы он замахнулся! Я бы скинул клифт. Я бы скинул двадцать веков цивилизации. Я бы припомнил все, чему меня учили на Ропче. Я бы вырвал топор и, не давая ему опомниться...

— Ну, — приказал я, стоя в двух шагах. Ощущая каждую травинку под сапогами. — Ну! — говорю.

Купцов шагнул в сторону. Затем медленно встал на колени около пня. Положил левую руку на желтый, шершавый, мерцающий срез. Затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука.

— Наконец, — сказал он, истекая кровью, — вот теперь — хорошо..

— Чего стоишь, гондон? — обратился ко мне подбежавший нарядчик. — Ты в дамках — зови лепилу!..

4 апреля 1982 года. Миннеаполис

Буду краток, поскольку через три дня вас увижу.

Миннеаполис — огромиый тихий город. Людей почти ие видно. Автомобилей тоже мало.

Самое интересное здесь — река Миссисипи. Та самая. Ширина ее в этих краях — метров двести. Короче, на виду у толпы американских славистов я эту реку переплыл.

Переплыл Миссисипи. Так и напишу в Ленинград. По-моему, ради одного этого стоило ехать...

Зиаете в марте я давал интервью Рою Стиллману. И он спросил:

— Чем тебя больше всего поразила Америка?

Я ответил:

— Тем, что она существует. Тем, что это — реальность...

Америка для нас была подобна Карфагену или Трое. И вдруг оказалось, что Бродвей — это реальность. Тиффани — реальность. Небоскреб Утюг — реальность. И Миссисипи — реальность...

Как-то иду я по Нижнему Манхаттену. Останавливаюсь возле бара. Называется бар — «У Джонни». Захожу. Беру свой айриш-кофе и располагаюсь у окна.

Чувствую, под столом кто-то есть. Наклоняюсь — пьяный босяк. Совершенно пьяный негр в красной рубашке. (Кстати, я такую же рубаху видел на Евтушенко.)

И вдруг я чуть не заплакал от счастья. Неужели это я?! Пью айриш-кофе в баре «У Джонни». А под столом валяется черноксжий босяк...

Конечно, счастья нет. Покоя тоже нет. К тому же я слабовольный. И так далее.

Конечно, все это мишура, серпантин. И бар, и пьяный негр, и айриш-кофе. Но что-то, значит, есть и в серпантиие. Сколько раз за последнее десятилетие менялся фасон женских шляп? А серпантин тысячу лет остается серпантином...

Допустим, счастья нет. Покоя — нет. И воли — тоже нет.

Но есть какие-то приступы бессмысленного восторга. Неужели это я?

Живу в отеле «Куртис» с множеством разнообразных увеселений. Есть бар. Есть бассейн. Есть какая-то подозрительная «Гавана-рум». Есть лавка сувениров, где я приобрел купальные трусики для Миссисипи. (На передней части изображена сосиска и два крутых яйца...)

Есть чистые простыни, горячая водв, телевизор, бумага. Есть потрясающий сосед — Эрнст Неизвестный. (Только что он убедительно доказывал Гаррисону Солсбери: «Вертикаль — это Бог. Горизонталь — это Жизнь. В точке пересечения — я, Микеланджело, Шекспир и Кафка»...)

Есть — вы, которому я шлю это дурацкое письмо.

Живу в отеле. Участвую в каком-то непонятном симпозиуме. Денег — около сотни.

Рано утром выйду из гостиницы. Будет прохладно и сыро. Меня остановит какой-нибудь голодранец и спросит:

— Нет ли спичек?

Я отвечу:

— Держи.

И протяну ему зажигалку. И человеку будет трудно прикурить на ветру. И тогда я добавлю:

— В себя, в себя...

И вряд ли он будет глазеть мне вслед. Потому что эти несколько слов я могу выговорить без акцента.

Он скажет:

— Прохладный день сегодня.

И я отвечу:

— Sure.

И мы пойдем — каждый своей дорогой. Два абсолютно свободных человека. Участник непонятного симпозиума и голодраиец в джемпере, которому позавидовал бы Евтушенко...

Ночью мы играли в бинго. И Неизвестный проиграл четыре раза. Значит, он победит в какой-то другой, неведомой игре...

Всех обнимаю. Скоро увидимся. Везу небольшой отрывок и конец тюремной повести. Мне его передали через Левина из Техаса. Начало отсутствует. Начиналась она, я помню, так:

«На Севере вообще темнеет рано. А в зоне — особенно...»

Я эту фразу куда-нибудь вставлю.

Ну, до встречи...

Как только оборвался рев мотора, высоко над головами зашумели сосны. Заключенные бросили работу, вытащили ложки из-за голенищ, пошли к сараю.

Баландер погрузил черпак в густую и темную жижу.

Ели молча, затем достали кисеты и прикурили от головни.

Дым костра уходил, становился бледным октябрьским небом. Было тихо. Сосны шумели в опустевшем без гула моторов пространстве над лесоповалом.

— Поговорим о чудесах? — сказал бугор Агешин, надвинув рваный зековский треух.

— Кончай, — отозвался Белуга, — после твоих разговоров не спится.

— Не спится? А ты возьми ЕГО — да об колено! На воле свежий заведешь, куда богаче...

Зеки нехотя рассмеялись. Осенний воздух был пропитан запахом солярки. Покачивались деревья в бледном небе. Солнце припадало к шершавым желтоватым баланам.

В стороне курили двое. Коротконогий парень в застиранной телогрейке — Ерохин. И бывший прораб, уроженец Черниговской области, тощий мужик — Замараев.

— Пустой ты человек, Ероха, — говорил Замараев, — пустой и несерьезный. Таким в гробу и в зоосаде место...

— Уймись, — сказал Ероха, — попер, как на буфет!.. А то ведь у меня не заржавеет. Могу пощекотить...

— Испугался... Все треплешь языком, а жизнь проходит...

Ерохин рассердился:

— Брось мансы раскидывать, чернуха здесь не пролазит... Да и что с тобой говорить? Ты же серый! Ты же позавчера на радиоприемник с вилами кидался... Одно слово — мужик...

— У нас в каждой избе — радиоточка, — сказал Замараев.

Он мечтательно возвысил глаза и продолжал:

— У меня пятистенка была... Сарай под шифером... Коровник рубленый... За окнами — жасмин... Я жил по совести. Придет, бывало, кум на разговенье...

— Кум? — забеспокоился Ероха. — Опер, что ли?

— Опер... Сам ты опер. Кум, говорю... Родня... Придет, бывало. Портвейного вина несет бутылку... Кум у меня серьезный человек был, инвалид...

— Партийный, что ли? — снова вмешался Ероха.

— Беспартийный коммунист, — отчеканил Замараев, — ногу потерял в ежовщину...

— Значит, враг народа?

— Не враг, а лейтенант ОГПУ. Таких, как мы, шакалов охранял. Ноги лишился. На боевом посту отморозил... Из рядов его выгнали, но пенсию дали...

— Зря, — сказал Ероха.

Замараев не расслышал. По лицу его бродила счастливая улыбка. Он продолжал:

— А кум мой пошутить любил. Бывало, говорит с порога: «Иди за маленькой!» Я только галоши надену, а кум смеется: «Отставить, у меня есть». И достает бутылку красного. У нас вино продавалось за рубль четыре. А на вкус, как за рубль семьдесят две... Разольем, бывало... Благодать, порядок в доме... Я жил по совести...

— По совести... А сел за что?

Замараев молча стукнул веточкой по голенищу.

— За что, говорю, сел? — не унимался Ероха.

— Да за олифу.

— Крал, что ли?
— Олифу-то?
— Ну.
— Олифу-то да.
— По совести... А потом ее куда? На базар?
— Нет, пил заместо лимонада.
— Так, — усмехнулся Ероха, — сколько ж ты олифы двинул?
— Эх, было время, — сказал Замараев, — было время... Олифы-то? Тонны две.
— Сколько ж это денег? Полкуска?
— По иску — сорок тыщ. На старые, конечно...
— Ого! А если взять на кир перевести?
— Пустой ты человек, — рассердился Замараев, — одно у тебя в голове. Ты шел бы в цирк заместо кенгуру. Слыхал про кенгуру? Такая, с гаманцом на брюхе...
— Да не прихватывай ты, — сказал Ероха, — не прихватывай. А то как дам по чавке!
— Ладно, — остановил его Замараев, — проехали... А сел я то, что завидно людям с чужих миллионов. С деньгами я кругом начальник. Деньги — сила...
— Вот наступит коммунизм, — злобно произнес Ероха, — и останешься ты без денег, хуже грязи. При коммунизме деньги-то отменят...
— Навряд ли, — сказал Замараев, — без денег все растащат. Так что не отменят. А будут деньги — мне и коммунизм не страшен.
— На что тебе, серому, деньги? Керогаз разжигать? Ты полботинки хоть когда-либо носил? Импортные полботинки? Хотя бы китайские, — шумел Ероха, изумленно глядя на свои разбитые лагерные прохоря.
— Сапоги у меня были яловые, — откликнулся Замараев, — деверем пошиты.
— Как это — деревом? — не понял Ероха.
— Дикий ты парень. Русского языка не понимаешь...
Но Ероху уже понесло дальше:
— Вот мне бы эти сорок тыщ! Так я бы раскрутился. По-твоему, жизнь — что? Она — калейдоскоп! Уж я давал гастроль на поле. Придешь, бывало, в коктейль-холл. Швырнешь три червонца. Тебе — коньяк, бефстроганов, филе... Опять же музыка играет, всюду девы. Разрешите, как говорится, на тур вальса? В смысле, танго... Она танцует, разодета, блестит, как щука... После везешь ее на хату... В дороге — чего-нибудь из газет, Сергей Есенин, летающие тарелки... Ну, я давал гастроль!.. А если вдруг отказ, то я знал метод, как любую уговорить по-хорошему. Метод простой: «Ложись, — говорю, — сука, а то убью!» Да, я умел рогами шевелить. Аж девы подо мной кричали!..
— Что без толку кричать? — сказал Замараев.
— Эх ты, деревня! А секс?
— Чего? — не понял Замараев.
— Секс, говорю...
— Ты по-людски скажи.
— Да любовь же, любовь... По-твоему, любовь — это что? Любовь — это... Любовь — это... калейдоскоп. Типа — сегодня одна, завтра другая...
— Любовь, — сказал Замараев, — это чтобы порядок в доме. Чтобы уважение... А с твоими и по деревне не ходи. От людей срамотища.
— Да ты всю жизнь на одной кобыле ездил. А у меня в каждом СМУ — законная жена... Конечно, я не говорю... Бывает... Поймаешь чтолибо на кончик...
— А? — не понял Замараев.
— На кончик, говорю... Ну, это... гонорея...
— Чего?
— Во мужик, гонореи не знает! Да трипак же, трипак!
— А-а, — Замараев чуть отодвинулся, — ты вообще как сюда попал? Не за это ли случайно?
— На танцах взяли. Намекнул одному шабером под ребра.
— С концами, что ли?
— Где с концами?! Выжил гад. Он, падла, на суде кричит: «Ерохина прощаю!»

А прокурор — в отказ: «Вы-то — да, а общество простить не может...» Сначала я в глухую несознанку шел. Кричу: «Напился, все забыл!..» Ну, а в конце менты подраскололи. Сознался. Кричу: «Стреляй! Чего не стреляешь, козел? Видел бы Ленин твою штрафную чавку!..»
Это я — прокурору. Вот он и дал мне три года ни за что. Про меня в газете статья была. Не веришь? Ей-богу! Называлась — «Плесень».
— Оно и видно, — сказал Замараев.
— А хочешь, я тайну скажу? — неожиданно выговорил Ерохин. — Хочешь, скажу тайну, от которой позеленеешь? Только — чтобы никому...
— Знаю я ваши тайны. Кабур роете под хлеборезку.
— Кабур — это что... Ну хочешь, скажу? Тебе одному, как другу. Вот слушай: я по матери — Эпштейн...
— Эпштейн, — недоверчиво прищурился Замараев, — видали мы таких Эпштейнов... Да ты — фоняк, как и не мы... А если ты Эпштейн, зачем сидишь по хулиганке? Зачем не по торговой части шел?
— В отца, — коротко пояснил Ероха.
— Эпштейн, — повторял Замараев.
— Деревня, — слышалось в ответ...

Гул сигнального рельса медленно канул в просторном октябрьском небе. Донесся стук пилорамы. За деревьями, громыхая, прошел лесовоз.
— Пойду молотить, — сказал Ероха.
Он поднялся, стряхнул табачные крошки. Затем, не оглядываясь, двинулся через лес к инструменталке.
— Вот так мужик, гонореи не знает, — усмехнулся Ероха.
— Пустой человек , несерьезный, — бормотал ему вслед Замараев.
«Кого только не прихватывают», — думал Ероха.
«Откуда такие берутся?» — вторил ему прораб...
Лес наполнился туманом. Залаяла собака на блокпосту. Появился опер Борташевич в узких хромовых сапогах.
Заключенные нехотя встали, потушили костер и разошлись.
На вышках сменились часовые. Кто-то от скуки включил прожектор.

17 апреля 1982 года. Нью-Йорк

Я все думаю о нашем разговоре. Может быть, дело в том, что зло произвольно. Что его определяют — место и время. А если говорить шире — общие тенденции исторического момента.

Зло определяется конъюнктурой, спросом, функцией его носителя. Кроме того, фактором случайности. Неудачным стечением обстоятельств. И даже — плохим эстетическим вкусом.

Мы без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? (Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах). Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?

Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента.

Разумеется, существует врожденное предрасположение к добру и злу. Более того, есть на свете ангелы и монстры. Святые и злоден. Но это — редкость. Шекспировский Яго как воплощение зла и Мышкин, олицетворяющий добро, — уникальны. Иначе Шекспир не создал бы «Отелло».

В нормальных же случаях, как я убедился, добро и зло — произвольны.

Так что упаси нас Бог от пространственно-временной ситуации, располагающей ко злу...

Одни и те же люди выказывают равную способность к злодеянию и добродетели. Какого-нибудь рецидивиста я легко мог представить себе героем войны, диссидентом, защитником угнетенных. И, наоборот, герои войны с удивительной легкостью растворялись в лагерной массе.

Разумеется, зло не может осуществляться в качестве идейного принципа. Природа добра более тяготеет к широковещательной огласке. Тем не менее в обоих случаях действуют произвольные факторы.

Поэтому меня смешит любая категорическая нравственная установка. Человек добр!.. Человек подл!.. Человек человеку — друг, товарищ и брат... Человек человеку — волк... И так далее.

Человек человеку... как бы это получше выразиться — табула раса. Иначе говоря — все, что угодно. В зависимости от стечения обстоятельств.

Человек способен на все — дурное и хорошее. Мне грустно, что это так.

Поэтому дай нам Бог стойкости и мужества. А еще лучше — обстоятельств времени и места, располагающих к добру...

За двенадцать лет службы у Егорова накопилось шесть пар именных часов «Ракета». Они лежали в банке из-под чая. А в ящике стола у него хранилась кипа похвальных грамот.

Незаметно прошел еще один год.

Этот год был темным от растаявшего снега. Шумным от лая караульных псов. Горьким от кофе и старых пластинок.

Егоров собирался в отпуск. Укладывая вещи, капитан говорил своему другу оперу Борташевичу:

— Приеду в Сочи. Куплю рубаху с попугаями. Найду курортницу без предрассудков...

— Презервативы купи, — деловито советовал опер.

— Ты не романтик, Женя, — отвечал Егоров, доставая из ящика несколько маленьких пакетов, — с шестидесятого года валяются...

— И что — ни разу?! — выкрикнул Борташевич.

— По-человечески — ни разу. А то, что было, можно не считать...

— Понадобятся деньги — телеграфируй.

— Деньги — не проблема, — отвечал капитан...

Он прилетел в Адлер. Купил в аэропорту малиновые шорты. И поехал автобусом в Сочи.

Там он познакомился с аспиранткой Катюшей Лугиной. Она — коротко стриглась, читала прозу Цветаевой и недолюбливала грузин.

Вечером капитан и девушка сидели на остывающем песке. Море пахло рыбой и водопроводом. Из-за кустов с танцплощадки доносились прерывистые вопли репродуктора.

Егоров огляделся и притянул девушку к себе. Та вырвалась, оскорбленно чувствуя, какими жесткими могут быть его руки.

— Бросьте, — сказал Егоров, — все равно этим кончится. Незачем разыгрывать мадам Баттерфляй...

Катя, не замахиваясь, ударила его по лицу.

— Стоп! — выговорил капитан. — Удар нанесен открытой перчаткой. Судья на ринге делает вам замечание...

Катя не улыбнулась.

— Потрудитесь сдерживать ваши животные инстинкты!

— Не обещаю, — сказал капитан.

Девушка взглянула на Егорова миролюбиво.

— Давайте поговорим, — сказала она.

— Например, о чем? — вяло спросил капитан.

— Вы любите Гейне?

— Более или менее.

— А Шиллера?

— Еще бы...

Днем они катались на лодке. Девушка сидела на корме. Егоров широко греб, ловко орудуя веслами.

— Поймите же, — говорила Катя, — цинизм Есенина — это только маска. Бравада... свойственна тем, кто легко раним...

Или:

— Прошлым летом за мной ухаживал Штоколов. Как-то Борис запел в гостях, и два фужера лопнули от резонанса.

— Мне тоже случалось бить посуду в гостях, — реагировал капитан, — это нормально. Для этого вовсе не обязательно иметь сильный голос...

Или:

— Мне кажется, разум есть осмысленная форма проявления чувств. Вы не согласны?

— Согласен, — говорил капитан, — просто я отвык...

Как-то раз им повстречалась в море лодка. Под рулем было выведено ее название — «Эсмеральда».

— Эй, на полубаке! — закричал Егоров, всем опытом и кожей чувствуя беду. Ощутив неприятный сквознячок в желудке.

Правил «Эсмеральдой» мужчина в зеленой бобочке. На корме лежал аккуратно свернутый голубой пиджак.

Капитан сразу же узнал этого человека.

Фу, как неудобно, подумал он. Чертовски неудобно перед барышней. Получается какой-то фраерский детектив...

Егоров развернулся и, не оглядываясь, поплыл к берегу...

Они сидели в чебуречной на горе. Блестели лица, мигали светильники, жирный туман наполнял помещение.

Егоров снисходительно пил рислинг, а Катя говорила:

— Нужно вырваться из этого ада... Из этой проклятой тайги... Вы энергичны, честолюбивы... Вы могли бы добиться успеха...

— У каждого свое дело, — терпеливо объяснял Егоров, — свое занятие... И некоторым достается работа вроде моей. Кто-то должен выполнять эти обязанности?

— Но почему именно вы?

— У меня есть к этому способности. Нервы в порядке, мало родственников.

— Но у вас же диплом юриста?

— В какой-то мере сие облегчает работу.

— Если бы вы знали, Павел Романович, — сказала Катя, — если бы вы только знали... Ах, насколько вы лучше моих одесских приятелей! Всех этих Мариков, Шуриков, Толиков... Разных там Стасов в оранжевых носках...

— У меня тоже есть оранжевые носки, — воскликнул капитан, — подумаешь... Я их у спекулянта приобрел...

К столику приблизился красноносый дядька.

— Я угадал рецепт вашего нового коктейля, — сказал Егоров, — забористая штука! Рислинг пополам с водой!..

Они пошли к выходу. У окна сидел мужчина в зеленой бобочке и чистил апельсин. Егоров хотел пройти мимо, но тот заговорил:

— Узнаете, гражданин начальник?

Боевик, подумал Егоров, ковбойский фильм...

— Нет, — сказал он.

— А штрафной изолятор вы помните?

— Нет, я же сказал.

— А пересылку на Витью?

— Никаких пересылок. Я в отпуске...

— Может, лесоповал под Синдором? — не унимался бывший зек.

— Там было слишком много комаров, — припомнил Егоров.

Мужчина встал. Из кулака его выскользнуло узкое белое лезвие. Тотчас же капитан почувствовал себя большим и мягким. Пропали разом запахи и краски. Погасли все огни. Ощущения жизни, смерти, конца, распада сузились до предела. Они разместились на груди под тонкой сорочкой. Слились в ослепительно белую полоску ножа.

Мужчина уселся, продолжая чистить апельсин.

— Что ему нужно, — спросила девушка, — кто это?

— Пережиток капитализма, — ответил Егоров, — но вообще-то изрядная сволочь. Простите меня...

Говоря это, капитан подумал о многом. Ему хотелось выхватить из кармана ПМ. Затем — вскинуть руку. Затем опустить ее до этих ненавидящих глаз... Затем грубо выругаться и нажать спусковой крючок...

Всего этого не случилось. Мужчина сидел неподвижно. Это была неподвижность противотанковой мины.

— Молись, чтоб я тебя не встретил, — произнес Егоров, — а то застрелю, как собаку...

Капитан и девушка гуляли по аллее. Ее пересекали тени кипарисов.

— Чудесный вечер, — осторожно сказала Катя.

— Восемнадцать градусов, — уточнил капитан.

Низко пролетел самолет. Иллюминаторы его были освещены.

Катя сказала:

— Через минуту он скроется из виду. А что мы знаем о людях, которые там? Исчезнет самолет. Унесет невидимые крошечные миры. И станет грустно, не знаю почему...

— Екатерина Сергеевна, — торжественно произнес капитан и остановился, — выслушайте меня... Я одинокий человек... Я люблю вас... Это

глупо... У меня нет времени, отпуск заканчивается... Я постараюсь... Освежу в памяти классиков... Ну и так далее... Я прошу вас...

Катя засмеялась.

— Всех благ, — произнес капитан, — не сердитесь. Прощайте...

— Вас интересует, что я думаю? Хотите меня выслушать?

— Интересует, — сказал капитан, — хочу.

— Я вам очень благодарна, Павел Романович. Я посоветуюсь... и уеду с вами...

Он шагнул к ней. Губы у девушки были теплые и шершавые, как листок, нагретый солнцем.

— Неужели я вам понравился? — спросил Егоров.

— Я впервые почувствовала себя маленькой и беспомощной. А значит, вы сильный.

— Тренируемся понемногу, — сказал капитан.

— До чего же вы простой и славный!

— У меня есть более ценное достоинство, — объявил капитан. — я неплохо зарабатываю. Всякие там надбавки и прочее. Зря вы смеетесь. При социализме это важно. А коммунизм все еще проблематичен... Короче, вам, если что, солидная пенсия будет.

— Как это — если что?

— Ну, там, пришьют меня зеки. Или вохра пьяная что-нибудь замочит... Мало ли... Офицеров все ненавидят, и солдаты, и зеки...

— За что?

— Работа такая. Случается и поприжать человека...

— А этот? В зеленой кофте? Который вам ножик показывал?

— Не помню... Вроде бы я его приморил на лесоповале...

— Ужас!

Они стояли в зеленой тьме под ветками. Катя сказала, глядя на яркие окна пансионата:

— Мне пора. Тетка, если все узнает, лопнет от злости.

— Я думаю, — сказал капитан, — что это будет зрелище не из приятных...

Через несколько минут он шел по той же аллее — один. Он шел мимо неясно белеющих стен. Мимо дрожащих огней. Под шорохом темных веток.

— Который час? — спросил у него запоздалый прохожий.

— Довольно поздно, — ответил капитан.

Он зашагал дальше, фальшиво насвистывая старый мотив, румбу или что-то в этом плане...

3 мая 1982 года. Бостон

Недавно я перечитывал куски из вашей «Метаполитики». Там хорошо написано об издержках свободы. О том, какой ценой свобода достается. О свободе как постоянной цели, но и тяжком бремени...

Посмотрите, что делается в эмиграции. Брайтонский нэп — в разгаре. Полно хулиганья. (Раньше я был убежден, что средний тип еврея — профессор Эйхенбаум.)

Недавно там открыли публичный дом. Четыре барышни — русские и одна филиппинка..

Налоговое ведомство обманываем. В конкурентов постреливаем. В газетах печатаем Бог знает что...

Бывшие кинооператоры торгуют оружием. Бывшие диссиденты становятся чуть ли не прокурорами. Бывшие прокуроры — диссидентами...

Хозяева ресторанов сидят на вэлфейре и даже получают фудстемпы. Автомобильные права можно купить за сотню. Ученую степень — за двести пятьдесят...

Обидно думать, что вся эта мерзость — порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...

В этой связи я припоминаю одну невероятную лагерную историю. Заключенный Чичеванов, грабитель и убийца, досиживал на особом режиме последние сутки. Назавтра его должны были освободить. За плечами оставалось двадцать лет срока.

Я сопровождал его в головной поселок. Мы ехали в автозаке с железным кузовом. Чичеванов согласно инструкции помещался в тесной металлической камере. В дверях ее было проделано отверстие. Заключенные называют это приспособление: «Я его вижу, а он меня — нет».

Я согласно той же инструкции расположился в кузове у борта: в дороге мне показалось нелепым так бдительно охранять Чичеванова. Ведь ему оставалось сидеть несколько часов.

Я выпустил его из камеры. Мало того — затеял с ним приятельскую беседу.

Внезапно коварный зек оглушил меня рукояткой пистолета. (Как вы догадываетесь — моего собственного пистолета.) Затем он выпрыгнул на ходу и бежал.

Шесть часов спустя его задержали в поселке Иоссер. Чичеванов успел взломать продуктовый ларь и дико напиться. За побег и кражу ему добавили четыре года..

Эта история буквально потрясла меня. Случившееся казалось невероятным, противоестественным и даже трансцендентным явлением. Но капитан Прищепа, старый лагерный офицер, мне все разъяснил. Он сказал:

— Чичеванов отсидел двадцать лет. Он привык. Тюрьма перестроила его кровообращение, его дыхательный и вестибулярный аппарат. За воротами тюрьмы ему было нечего делать. Он дико боялся свободы и задохнулся, как рыба...

Нечто подобное испытываем мы, российские эмигранты.

Десятилетиями мы жили в условиях тотальной несвободы. Мы были сплющены наподобие камбалы тягчайшим грузом всяческих запретов. И вдруг нас подхватил разрывающий легкие ураган свободы.

И мы отправились взламывать продуктовый ларь...

Кажется, я отвлекся.

Следующие два фрагмента имеют отношение к предыдущему эпизоду. В них фигурирует капитан Егоров — тупое и злобное животное. В моих рассказах он получился довольно симпатичным. Налицо метаморфозы творческого процесса...

Раньше это было что-то вроде повести. Но Дрейцер переслал мне лишь разрозненные страницы. Я попытался их укомплектовать. Создал киномонтаж в традициях господина Дос-Пассоса. Кстати, в одной старой рецензии меня назвали его эпигоном..

Катя повернула выключатель, окна стали темными.

Было очень рано. В прихожей гулко тикали ходики.

Катя сунула ноги в остывшие домашние чуни. Вышла на кухню. Вернулась. Постояла немного, кутаясь в синий байковый халатик. Затем оторвала листок календаря, стала читать внимательно и медленно. Так, словно от этого зависело многое:

«Двадцать восьмое февраля. Четверг. Пятьсот шестьдесят лет назад родился Абдуррахман Джами. Имя этого выдающегося деятеля персидской культуры...»

— Егоров, проснись, — сказала Катя, — вода замерзла.

Капитан беспокойно заворочался во сне.

— Павел, в умывальнике — лед...

— Нормально, — сказал капитан, — вполне нормально... При нагревании образуется лед... А при охлаждении... Не так... При охлаждении — лед. А при нагревании — дым... Третий закон Ньютона. В чем я отнюдь не уверен...

— Снегу намело до форточки. Павел, не спи...

— Осадки, — реагировал Егоров. — Ты лучше послушай, какой я сон видел. Как будто Ворошилов подарил мне саблю. И этой саблей я щекочу майора Ковбу...

— Павел, не кривляйся.

Капитан быстро поднялся, выкатил из угла холодные черные гантели. При этом он сказал:

— Век тренируйся, а кита не переньешь... И все равно не будешь таким сильным, как горилла...

— Павел!

— Что такое?! Что случилось?

Егоров подошел к ней и хотел обнять.

Катя вырвалась и громко заплакала. Она вздрагивала и кривила рот.

— А плакать зачем? — тихо спросил Егоров. — Плакать необязательно. Тем более — рыдать...

Тогда Катя закрыла лицо руками и сказала медленно-медленно. Так, чтобы не помешали слезы:

— Я больше не могу.

Помрачнев, капитан достал сигарету. Молча закурил.

За окнами бродило серое морозное утро. Голубоватые длинные тени лежали на снегу.

Егоров медленно оделся, накинул ватник, захватил топор. Снег взвизгивал под его лыжными ботинками.

«Ведь где-то есть иная жизнь, — думала Катя, — совсем иная жизнь... Там земляника, костры и песни... И лабиринт тропинок, пересеченных корнями сосен... И реки, и люди, ожидающие переправы... Где-то есть серьезные белые книги... Вечно ускользающая музыка Баха... Шорох автомо-

бильных колес... А здесь — лай собак. Пилорама гудит с утра до вечера. А теперь еще и лед в умывальнике...»

Катя подышала на стекло. Егоров ставил чурбан. Некоторое время приглядывался к сучкам. Потом коротко замахивался и резко опускал топор, слегка наклонив его...

По радио звучал «Турецкий марш». Катя представила себе турецкое войско. Как они бредут по глубокому снегу в тяжелых чалмах. Пробираются от АХЧ к инструменталке. Их ятаганы примерзли к ножнам, чалмы обледенели...

«Боже, — подумала Катя, — я теряю рассудок!»

Егоров вернулся с охапкою дров. Обрушил их возле печки. Затем вынул из кармана тюремный месырь с фиксатором, отнятый при шмоне. Стал щепать лучину...

«Раньше я любила зиму, — думала Катя, — а теперь ненавижу. Ненавижу мороз по утрам и темные вечера. Ненавижу лай собак, заборы, колючую проволоку. Ненавижу сапоги, телогрейки... и лед в умывальнике...»

— Молчи, — сказала она, — я ненавижу твою правоту!

— Как это? — не понял Егоров, затем сказал:

— Ну, хочешь, привезу из Вожаеля яблок, шампанского, позовем Женьку Борташевича с Ларисой...

— Твой Борташевич стрижет за обедом ногти.

— Тогда Вахтанга Кекелидзе. У него папаша — князь.

— Кекелидзе — пошляк!

— То есть?

— Ты не знаешь.

— Почему не знаю, — сказал капитан, — я знаю. Я знаю, что он к тебе цеплялся. У грузин такой порядок. Парень холостой... Неприятно, конечно... Можно и в рыло заехать...

— Женщине это необходимо.

— Что именно?

— Чтобы за ней ухаживали.

— Родить тебе надо, — сказал капитан...

Хриплый, вибрирующий лай на питомнике усилился. Среди других голосов выделялся один нарастающий тембр.

— Почему меня не раздражали чайки, — сказала Катя, — или дикие утки? Я не могу, не могу, не могу переносить этот лай...

— Это Гарун, — сказал Егоров.

— Ужас...

— Ты еще волков не слышала. Страшное дело...

В печке, разгораясь, шипели дрова. И вот уже запахло мокрым снегом.

— Павел, не сердись.

— Чего сердиться?..

— Привези из Вожаеля яблок.

— Между прочим, лед в умывальнике тает.

Катя подошла сзади, обняла его.

— Ты большой, — сказала она, — как дерево в грозу. Мне за тебя страшно.

— Ладно, — сказал он, — все будет хорошо. Все будет просто замечательно.

— Неужели все будет хорошо?

— Все будет замечательно. Если сами мы будем хорошими...

— А правда, что лед в умывальнике тает?

— Правда, — сказал он, — это нормально. Закон природы...

На питомнике снова залаял Гарун.

— Погоди, — отстранил Катю Егоров, — я сейчас вернусь. Дело минуты...

Катя опустила руки. Вышла на кухню. Приподняла тяжелую крышку умывальника. Там оплывала небольшая глыба льда.

— Действительно — тает, — вслух произнесла Катя.

Она вернулась, присела. Егорова не было.

Катя завела охрипший патефон. Она вспомнила стихи, которые посвятил ей Леня Мак, штангист и непризнанный гений:

...Видно, я тут не совсем кстати...
Патефон давно затих, шепчет...

Лучше вальса подождем, Катя,
Мне его не танцевать легче...

На питомнике раздался выстрел. Хриплый собачий лай перешел на визг и затих.

Через несколько минут вернулся капитан. Прошел мимо окон. Он что-то нес завернутое в брезент.

Катя боялась поднять глаза.

— Ну что, — усмехнулся Егоров, — потише стало?

Катя попыталась спросить:

— Что же?.. Куда же теперь?..

— Это не проблема, — успокоил ее капитан, — вызову шныря с лопатой...

17 мая 1982 года. Принстон

Как вы знаете, Шаламов считает лагерный опыт — полностью негативным...

Я немного знал Варлама Тихоновича через Гену Айги. Это был поразительный человек. И все-таки я не согласен.

Шаламов ненавидел тюрьму. Я думаю, этого мало. Такое чувство еще не означает любви к свободе. И даже — ненависти к тирании.

Советская тюрьма — одна из бесчисленных разновидностей тирании. Одна из форм тотального всеобъемлющего насилия.

Но есть красота и в лагерной жизни. И черной краской здесь не обойтись.

По-моему, одно из ее восхитительных украшений — язык.

Законы языкознания к лагерной действительности — неприменимы. Поскольку лагерная речь не является средством общения. Она — не функциональна.

Лагерный язык менее всего рассчитан на практическое использование. И вообще он является целью, а не средством.

На человеческое общение тратится самый минимум лагерной речи:

«...Тебя нарядчик вызывает...» «...Сам его ищу...» Такое ощущение, что зеки экономят на бытовом словесном материале. В основном же лагерная речь — явление творческое, сугубо эстетическое, художественно-бесцельное.

Тошнотворная лагерная жизнь дает языку преференцию особой выразительности.

Лагерный язык — затейлив, картинно живописен, орнаментален и щеголеват. Он близок к звукописи ремизовской школы.

Лагерный монолог — увлекательное словесное приключение. Это — некая драма с интригующей завязкой, увлекательной кульминацией и бурным финалом. Либо оратория — с многозначительными паузами, внезапными нарастаниями темпа, богатой звуковой нюансировкой и душераздирающими голосовыми фиоритурами.

Лагерный монолог — это законченный театральный спектакль. Это — балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая акция.

Речь бывалого лагерника заменяет ему все привычные гражданские украшения. А именно — прическу, заграничный костюм, ботинки, галстук и очки. Более того — деньги, положение в обществе, награды и регалии.

Хорошо поставленная речь часто бывает единственным оружием лагерного старожила. Единственным для него рычагом общественного влияния. Незыблемым и устойчивым фундаментом его репутации.

Добротная лагерная речь вызывает уважение к мастеру. Трудовые заслуги в лагере не котируются. Скорее — наоборот. Вольные достижения забыты. Остается — слово.

Изысканная речь является в лагере преимуществом такого же масштаба, как физическая сила.

Хороший рассказчик на лесоповале значит гораздо больше, чем хороший писатель в Москве.

Можно копировать Бабеля, Платонова и Зощенко. Этим не без успеха занимаются десятки молодых писателей. Лагерную речь подделать невозможно. Поскольку главное ее условие — органичность.

Фраер, притворяющийся вором, — смешное и неприличное зрелище. О таких говорят: «Дешевка под законника канает».

Искусство лагерной речи опирается на давно сложившиеся традиции. Здесь существуют нерушимые каноны, железные штампы и бесчисленные регламенты. Плюс — необходимый творческий изыск. Это как в литературе. Подлинный художник, опираясь на традицию, развивает черты личного своеобразия...

Как это ни удивительно, в лагерной речи очень мало бранных слов. Настоящий уголовник редко опускается до матерщины. Он пренебрегает нечистоплотной материей скороговоркой. Он дорожит своей речью и знает ей цену.

Подлинный уголовник ценит качество, а не децибелы. Предпочитает точность — изобилию.

Брезгливое: «Твое место у параши» — стоит десятка отборных ругательств. Гневное: «Что же ты, сука, дешевишь?!» — убивает наповал. Снисходительное: «Вот так фраер — ни украсть, ни покараулить» — дезавуирует человека абсолютно...

В лагере еще жива форма словесного поединка, блистательной разговорной ду-

ли. Я часто наблюдал такие бои — с разминкой, притворной апатией и внезапными фейерверками убийственного красноречия. С отточенными формулировками на уровне Крылова и Лафонтена:

«Волк и меченых берет...»

В лагере не клянутся родными и близкими. Тут не услышишь божбы и многословных восточных заверений. Тут говорят:

— Клянусь свободой!..

Следующий отрывок — про того же капитана Егорова. Куски из середины пропали. Там была история с лошадью — когда-нибудь расскажу. И еще — про бунт на Весляне, когда Егорова оглушили лопатой...

В общем, потеряно страниц двенадцать. Все оттого, что наша литература приравнивается к динамиту. По-моему, это большая честь для нас...

В уборной было чисто и прохладно. Егоров курил, сидя на подоконнике. За окном пожарные играли в городки. Проехал хлебный фургон и, качнувшись, затормозил возле булочной.

Егоров потушил сигарету и вышел. Больничный коридор пересекали солнечные лучи. Тут было много окон — легкие занавески вздрагивали и покачивались.

По коридору шла медсестра. Она была похожа на монашку и казалась хорошенькой.

Все больничные медсестры казались хорошенькими. Да они и были хорошенькими. Поскольку они были юными и здоровыми. А кругом — так много прозрачных белых занавесок, холодного света и ничего лишнего...

— Ну как? — спросил Егоров.

— Состояние удовлетворительное, — холодно ответила медсестра.

У нее были раскосые глаза, аккуратная челка и голубоватый халат, стянутый на талии.

Медсестры в палатах и регистратуре казались бесчувственными. Ведь они говорили то, что не каждому приятно слышать...

— Ясно, — сказал капитан, — удовлетворительное — значит плохое?

— Мешаете работать, — выговорила она тоном измученной почтовой служащей.

— Сунуть бы тебя головой в мясорубку, — негромко произнес капитан.

По коридору торопливо шел хирург с четырьмя ассистентами. Они были выше его ростом. Хирург что-то говорил им, не оборачиваясь.

Егоров стал на дороге.

— Потом, потом, — отстранил хирург, — мы, врачи, суеверны...

Он почти шутил.

— Если моя жена, — произнес капитан, — если что-то случится... Все, что будет потом, уже не имеет значения...

— Перестаньте кощунствовать, — сказал хирург, — идите обедать. Выпейте портвейна. Столовая за углом...

— Какой ты здоровый, — сказал капитан.

— Как это? — удивился хирург. — Зачем? Я же просил...

Выйдя из больницы, Егоров заплакал, отвернувшись к стене. Он вспомнил Катино лицо, детское и злое. Вспомнил пальцы с обкусанными ногтями. Припомнил все, что было...

Потом закурил и отправился в столовую. Там было несколько посетителей. Часть дюралевых табуреток стояла штабелем в углу.

Капитан сел у окна, заказал вино и шницель. Официантки в столовой казались хорошенькими и похожими на медсестер. На официантках были яркие шелковые блузки и кружевные передники. Кассирша недовольно поглядывала в зал. Перед ней лежала толстая рваная книга.

Обедая, Егоров наблюдал, как два солдата моют грузовик.

Он вышел из столовой, купил газету. Повертел и сунул ее в карман. Навстречу шла женщина с метлой. Женщина царапала мостовую с расплющенными окурками.

Проехал на велосипеде железнодорожник. Спицы образовывали легкий мерцающий круг.

Час спустя Егоров зашел в клинику. Он стоял в коридоре под люстрой. На окне качалось растение с твердыми зелеными побегами. Цветы в больнице казались искусственными.

По коридору шел хирург. Мокрые руки он нес перед собой, как вещь. Медсестра подала ему салфетку. Затем направилась к Егорову.

Вдруг она показалась ему некрасивой. Она была похожа на умного серьезного мальчика. На медсестре был халат с чернильным пятнышком у ворота и заношенные домашние туфли.

— Вашей жене получше, — расслышал капитан. — Маневич сделал чудо.

Егоров оглянулся — хирурга не было. Он сделал чудо и затем ушел.

— Как фамилия? — переспросил Егоров, но медсестра тоже ушла.

Он спустился вниз по лестнице. Гардеробщик подал ему шинель. Капитан протянул ему рубль. Старик уважительно приподнял брови.

Медсестра в регистратуре напевала:

...Подари мне лунный камень,
Талисман моей любви...

Она показалась Егорову некрасивой.

— Вроде бы моей жене получше, — сказал капитан, — она заснула.

Помолчал и добавил:

— Все же знающие люди — евреи. Может, зря их давили веками?.. Году в шестидесятом к нам прислали одного. Все говорили — еврей, еврей... Оказался пьющим человеком...

Медсестра оборвала пение и недовольно уткнулась в бумаги.

Капитан вышел на улицу. Навстречу шли люди — в сандалиях, кепках, беретах, пестрых рубашках и темных очках. Они несли хозяйственные сумки и портфели. Женщины в разноцветных блузках казались хорошенькими и похожими на медсестер.

Но главным было то, что спит жена. Что Катя в безопасности. И что она, наверное, хмурится во сне...

24 мая 1982 года. Нью-Йорк

Я уже говорил, что зона представляет собой модель государства. Здесь есть спорт, культура, идеология. Есть нечто вроде коммунистической партии. (Секция внутреннего порядка.) В зоне есть командиры и рядовые, академики и невежды, миллионеры и бедняки.

В зоне есть школа. Есть понятия — карьеры, успеха.

Здесь сохраняются все пропорции человеческих отношений.

Огромное место в лагерной жизни занимает переписка с родными. Хотя родственники есть далеко не у всех. А на особом режиме — тем более. Сказываются годы лагерей и тюрем. Жены нашли себе других поклонников. Дети настроены против своих отцов. Друзья и знакомые либо тянут срок, либо потерялись в огромном мире.

Те же, у кого есть родные и близкие, дорожат перепиской с ними — чрезвычайно. Письмо из дома — лагерная святыня. Упаси вас Бог смеяться над этими письмами.

Их читают вслух. Незначительные детали преподносятся как форменные сенсации.

Например, жена сообщает:

«...Ленька такой настойчивый. Кол по химии схватил...»

Счастливый отец прерывает чтение:

— Ишь ты, кол по химии...

Его физиономия растягивается в довольной улыбке.

И весь барак уважительно повторяет:

— Кол по химии... Это тебе не хрен собачий...

Иное дело — переписка с «заочницами». В ней много цинизма, притворства, рисовки.

Такие письма составляются коллективно. В них заключенные изображают себя жертвами трагических обстоятельств. Изъявляют горячее желание вернуться к созидательному труду. Сетуют на одиночество и людскую злобу.

В зоне есть корифеи эпистолярного жанра. Мастера по составлению душераздирающих текстов. Вот характерное начало лагерного письма к заочнице:

«Здравствуй, незнакомая женщина (а может быть — девушка) Люда! Пишет тебе бывший упорный домушник, а ныне квалифицированный водитель лесовоза — Григорий. Карандаш держу левой рукой, ибо правая моя рука гниется от непосильного труда...»

Переписка с заочницами — фальшива и вычурна. Но и в этих письмах содержится довольно глубокое чувство.

Очевидно, заключенному необходимо что-то, лежащее вне его паскудной жизни. Вне зоны и срока. Вне его самого. Нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе. Хотя бы на время отключить тормоза себялюбия. Нечто безнадежно далекое, почти мифическое. Может быть, дополнительный источник света. Какой-то предмет бескорыстной любви. Не слишком искренней, глупой, притворной. Но именно — любви.

Притом чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции.

Отсюда — то безграничное внимание, которым пользуются лагерные женщины. Их, как правило, несколько в зоне. Работают они в административно-хозяйственном секторе, бухгалтерии и медицинской части. Помимо этого, есть жены офицеров и сверхсрочников, то и дело наведывающиеся в лагерь.

Здесь каждую, самую невзрачную, женщину провожают десятки восторженных глаз.

Это внимание по-своему целомудренно и бескорыстно. Женщина уподобляется зрелищу, театру, чистому кино. Сама недосягаемость ее (а положение вольной женщины делает ее практически недосягаемой) определяет чистоту мыслей.

— Ты посмотри,— говорят зеки,— какая женщина!.. Уж я бы подписался на эту марцифаль!..

Тут — упор на существительное. Тут поражает женщина вообще, а не ее конкретные достоинства. Тут властвует умами женщина как факт. Женщина как таковая является чудом.

Она — марцифаль. То есть нечто загадочное, возвышенное, экзотическое. Кефаль с марципаном...

Зеки крайне редко посягают на вольных служащих — женщин. Во-первых, это безнадежно. Чересчур велика социальная пропасть. Кроме того, это не главное. Гораздо важнее — культ, мечта, наличие идеала.

При этом воображаемые амуры с женой начальника лагеря — одна из распространенных коллизий местного фольклора. Один из бродячих сюжетов тюремного мифотворчества.

В этом почти фантастическом сюжете есть несомненная художественная логика. Именно так реализуется мечта о социальном возмездии.

Что-то подобное случается и на воле. В Таллинне у меня был приятель Эйно Рипп. Ему удалось соблазнить жену эстонского министра культуры. Она была косоглазой настолько, что посторонние люди в ресторане спрашивали:

— Что вы на меня так смотрите?..

Тем не менее Рипп ее обожал. Рипп самоутверждался, обладая женой партийного функционера. Истязуя эту женщину, Рипп переживал мгновения социального торжества.

Рипп говорил мне:

— В ее лице я уделал проклятый советский режим...

Вернемся к нашей рукописи. Осталось четыре разрозненных куска. Пересказывать утраченные страницы — глупо. Восстановить их — невозможно. Поскольку забыто главное — каким был я сам.

В общем — смотрите...

Попробуйте зайти к доктору Явшицу с оторванной головой в руке. Он посмотрит на вас унылыми близорукими глазами и равнодушно спросит:

— На что жалуетесь, сержант?

Чтобы добиться у Явшица освобождения, нужно пережить авиационную катастрофу. И все-таки за год я научился симулировать болезни — от радикулита до катара. Я разработал собственный метод. Метод заключался в следующем. Я просто называл какой угодно фантастический симптом. И затем отстаивал его с диким упорством. Целый месяц, например, я дурачил Явшица, повторяя:

— Такое ощущение, доктор, что из меня выкачивают кислород. Кроме того, у меня болят ногти и чешется позвоночник...

Однако в этот раз мне не повезло. Мой радикулит бесславно провалился. Явшиц сказал мне:

— Можете идти, сержант.

И демонстративно раскрыл Сименона.

— Интересно,— сказал я, давая понять, что на врача ложится ответственность за губительный ход болезни.

— Не задерживаю вас,— промолвил доктор.

Я напился из цинкового бачка, заглянул в ленинскую комнату.

Там в одиночестве сидел Фидель. Перед ним был опрокинутый стул. Уподобляясь древним мастерам, Фидель покрывал изысканной резьбой нижнюю часть сиденья. При этом он что-то напевал.

— Здоро́во,— говорю.

Фидель отодвинул стул. Затем гордо поглядел на свою работу. Я прочел короткое всеобъемлющее ругательство.

— Вот,— сказал он,— крик души!

Потом спросил:

— Тебе Эдита Пьеха нравится? Только откровенно...

— Еще бы,— сказал я.

— На лицо и на фигуру?

— Ну.

— А ведь ее кто-нибудь это самое,— размечтался Фидель.

— Не исключено,— говорю.

— В женщине главное не это,— сказал Фидель,— а главное — характер. В смысле — положительные качества... У меня была одна чувиха в Сыктывкаре, так я ей цветы дарил. Незабудки, розы, хризантемы всяческие...

— Врешь,— сказал я.

— Вру,— согласился Фидель,— только дело же не в этом. Дело в принципе... Ты в ночь заступаешь?

— Ну.

— В шестом бараке зеки что-то химичат. Сам опер предупреждал.

— А что конкретно?

— Не знаю, ты его спроси. Какую-то поганку заворачивают. Или просто волынят...

— Хорошо бы выяснить.

— Опера спроси...

Мы прошли через казарменный двор. Новобранцы занимались строевой подготовкой. Командовал ими сержант Мелешко. Завидев нас, он живо переменил тон.

— Что, Парамонов,— заорал сержант,— яйца мешают?!

Отец Парамонова был литературоведом. Маршировать его сын не умел. Гимнастерку называл сорочкой. Автомат — ружьем. Кроме того — писал стихи. С каждым днем они звучали все похабнее...

Мы прошли вдоль уборной с распахнутой дверью. Оказались на питомнике. Просторные вольеры были ограждены железными сетками. Там бесновались злобные караульные собаки. Лохматая Альма от ярости грызла собственный хвост. Ее шерсть была в крови.

Пахапиля не было. Инструктор Воликов что-то мастерил за столом. Перед ним стоял репродуктор. Задняя стенка была отвинчена. Я почувствовал острый запах канифоли.

Завидев нас, инструктор выключил паяльник.

— Хорошо у тебя,— сказал Фидель,— начальство редко заглядывает.

Мы оглядели бревенчатые стены. Небрежно убранную постель. Цветные фотоснимки над столом. Таблицу футбольного чемпионата, гитару, инструкцию по дрессировке собак...

— Попрут меня отсюдова,— заметил Воликов,— собаки буквально рехнулись. Выставляю Альму на блокпост. Зек идет вдоль забора — она хвостом машет. А на солдат — бросается. Совсем одичала. Даже меня не признает. Кормлю ее, падлу, через специальную амбразуру.

— Вот бы оказаться на ее месте,— сказал Фидель,— да капитану Токарю горло перегрызть. А что, ей ведь трибунал не страшен...

— Если желаете, я щенков покажу,— сказал Воликов, натягивая брюки.

Мы, нагнувшись, прошли в специальный чулан. Там лежала на боку рыжеватая сука Мамуля. Она встревоженно подняла голову. Рядом, уткнувшись ей в брюхо, копошились щенята.

— Не трогай,— сказал Воликов Фиделю.

Он стал брать щенков и передавать нам. У них были розовые животы. Тонкие лапы дрожали.

Фидель поднес одного из них к лицу. Щенок лизнул его. Фидель засмеялся и покраснел.

Мамуля беспокойно оглядывала нас и пошевеливала хвостом.

Несколько секунд все стояли молча. Затем Фидель воздел руки, как джазовый певец Челентано на обложке грампластинки «Супрафон». Затем он покрыл матом всех семерых щенков. Суку Мамулю. Родное начальство. Лично капитана Токаря. Местный климат. Инструкцию надзорсостава. И предстоящий традиционный лыжный кросс.

— Надо за бутылкой идти,— сказал Воликов. Как будто увидел где-то соответствующий знак.

— Нельзя,— сказал я,— мне вечером заступать.

— В шестом поганка начинается, слыхал?

— А что конкретно?
— Не знаю. Опер инструктировал.
— Пойди ты к Явшицу, — сказал Фидель, — инфаркт, мол... Кашляю... В желудке рези...
— Я был. Он меня выставил.
— Явшиц совсем одичал, — заметил Воликов, поглаживая Мамулю, — абсолютно... Прихожу как-то раз. Глотать, мол, больно. А он и отвечает: «Вы бы поменьше глотали, ефрейтор!..» Намекает, козел, что я пью. Небось, сам дует шнапс в одиночку.
— Не похоже, — сказал я, — дед в исключительной форме. Кирным его не видели.
— Поддает, поддает, — вмешался Фидель, — у докторов навалом спирта. Почему бы и не выпить?..
— Вообще-то да, — говорю.
— Я слыхал, он Максима Горького загубил, еще когда был врагом народа. А в шестидесятом ему помиловка вышла... Леа... реали... реалибитировали его. А доктор обиделся: «Куда же вы глядели, пока я срок тянул?!» Так и остался на севере.
— Их послушать, — рассердился Воликов, — каждый сидит ни за что. А шпионов я вообще не обожаю. И врагов народа тоже.
— Ты их видел? — спрашиваю.
— Тут попался мне один еврей, забавный. Сидит за развращение малолетних.
— Какой же это враг народа?
— А что, по-твоему, — друг?..
Воликов ушел помочиться. Через минуту вернулся и говорит:
— Альма совсем одичала, начисто. Лает на меня, как будто я чужой. Я раз не выдержал, подошел и тоже — как залаю. Напугал ее до смерти...
— На ее месте, — сказал Фидель, — я бы всем, и цирикам и зекам, горло перегрыз...
— Нам-то за что? — поинтересовался Воликов.
— А за все, — ответил Фидель.
Мы помолчали. Было слышно, как в чулане пищат щенки.
— Ладно, — сказал Воликов, — так уж и быть.
Он достал из-под матраса бутылку вермута с зеленой этикеткой.
— Вот. От себя же и запрятал... И сразу нашел.
Вермут был запечатан сургучом. Фидель не захотел возиться, ударил горлышком о край плиты.
Мы выпили из одной кружки. Воликов достал болгарские сигареты.
— Ого, — сказал Фидель, — вот что значит жить без начальства. Все у тебя есть — шнапс и курево. А один инструктор на Весляне, говорят, даже триппер подхватил...
За окном сержант Мелешко подвел взвод к уборной. Последовала команда:
— Оправиться!
Все остались снаружи. Расположились вокруг дощатой будки. Через минуту снег покрылся вензелями. Тут же возникло импровизированное соревнование на дальность. Насколько можно было видеть, победил Якимович из Гомеля...
Белый дым вертикально поднимался над крышей гарнизона. Застиранный флаг уныло повис. Дощатые стены казались особенно неподвижными. Так может быть неподвижна лодочная пристань возле стремительной горной реки. Или полустанок, на котором экспресс лишь слегка тормозит, а затем мчится дальше.
Дневальные в телогрейках расчищали снег около крыльца широкими фанерными лопатами. Деревянные ручки лопат блестели на солнце. Зеленый грузовик с брезентовым фургоном остановился у дверей армейской кухни...
— Боб, ты к зекам хорошо относишься? — спросил Фидель, допивая вино.
— По-разному, — сказал я.
— А я, — сказал Воликов, — прямо кончаю, глядя на зеков.
— А я, — говорит Фидель, — запутался совсем...
— Ладно, — говорю, — мне на дежурство пора...

Я зашел в казарму, надел полушубок и разыскал лейтенанта Хуриева. Он должен был меня проинструктировать.
— Иди, — сказал Хуриев, — будь осторожен!
Лагерные ворота были распахнуты. К ним подъезжали автозаки с лесоповала. Заключенные сидели в кузове на полу. Солдаты разместились за барьерами возле кабин. Когда машина тормозила, они спрыгивали первыми, затем быстро отходили, держа автоматы наперевес. После этого спрыгивали заключенные и шли к воротам.
— Первая шеренга — марш! — командовал Тваури.
В правой руке он держал брезентовый мешочек с карточками. Там были указаны фамилии заключенных, особые приметы и сроки.
— Вторая шеренга — марш!
Урки шли, распахнув ватные бушлаты, не замечая хрипящих собак...
Грузовики развернулись и осветили фарами ворота.
Когда бригады прошли, я отворил двери вахты. Контролер Белота в расстегнутой гимнастерке сидел за пультом. Он выдвинул штырь. Я оказался за решеткой в узком проходном коридоре.
— Курить есть? — спросил Белота. Я бросил в желоб для ксив несколько помятых сигарет. Штырь вернулся на прежнее место. Контролер пропустил меня в зону...

На севере вообще темнеет рано. А в зоне — особенно.
Я прошел вдоль стен барака. Достиг ворот, под которыми тускло блестели рельсы узкоколейки. Заглянул на КПП, где сверхсрочники играли в буру.
Я поздоровался — мне не ответили. Только ленинградец Игнатьев возбужденно крикнул:
— Боб! Я сегодня торчу!..
Измятые карты беззвучно падали на отполированный локтями стол.
Я докурил сигарету, положил окурок в консервную банку. Затем, распахнув дверь, убедился, что окончательно стемнело. Нужно было идти.
Шестой барак находился справа от главной аллеи, под вышкой. Там по оперативным сведениям готовилась поганка.
Я мог бы и не заходить в шестой барак. И все-таки — пошел. Мне хотелось покончить со всем этим до наступления абсолютной тишины.
В углах шестого барака прятались тени. Тусклая лампочка освещала грубый стол и двухъярусные нары.
Я оглядел барак. Все это было мне знакомо. Жизнь с откинутыми покровами. Простой и однозначный смысл вещей... Параша у входа, картинки из «Огонька» на закопченных балках... Все это не пугало меня. Лишь внушало жалость и отвращение...
Бугор Агешин сидел, расставив локти. Лицо его выражало злое нетерпение. Остальные разошлись по углам.
Все смотрели на меня. Я почувствовал себя неловко и говорю Агешину:
— Ну-ка выйдем.
Тот встал, огляделся, как бы давая последние распоряжения. Затем направился к двери. Мы остановились на крыльце.
— Зека Агешин слушает, — произнес бугор.
В его манерах была смесь почтения и хамства, которая типична для заключенных особого режима. Где под лицемерным «начальник» явственно слышится — «кирпич»...
— Слушаю вас, гражданин начальник!
— Что вы там затеваете, бугор? — спросил я.
Мне не стоило задавать этот вопрос. Я нарушал, таким образом, правила игры. По условиям этой игры надзиратель обо всем догадывается сам. И принимает меры, если он на это способен...
— Обижаешь, начальник, — сказал бугор.
— Что я, не вижу?..
Тут я вспомнил краснорожего официанта из модернизированной пивной на Лиговке. Однажды я решил уличить его в жульничестве и достал авторучку. Пока я считал, официант невозмутимо глядел мне в лицо. Да еще повторял фамильярным тоном: «Считай, считай... Все равно я тебя обсчитаю...»
— Если что-нибудь случится, ты из бригадиров полетишь!

— За что, начальник? — выговорил Агешин с притворным испугом.

Мне захотелось дать ему в рожу...

— Ладно, — сказал я и ушел.

Засыпанные снегом красноватые окошки шестого барака остались позади.

Я решил зайти к оперу Борташевичу. Это был единственный офицер, говоривший мне — ты. Я разыскал его в штрафном изоляторе.

— Гуд ивнинг, — сказал Борташевич, — хорошо, что ты появился. Я тут философский вопрос решаю — отчего люди пьют? Допустим, раньше говорили — пережиток капитализма в сознании людей... Тень прошлого... А главное — влияние Запада. Хотя поддаем мы исключительно на Востоке. Но это еще ладно. Ты мне вот что объясни. Когда-то я жил в деревне. У моего соседа был козел. Такого алкаша я в жизни не припомню. Хоть красное, хоть белое — только наливай. И Запад тут не влияет. И прошлого вроде бы нет у козла. Он же не старый большевик... Я и подумал, не заключена ли в алкоголе таинственная сила. Наподобие той, что образуется при распаде атомного ядра. Так нельзя ли эту силу использовать в мирных целях? Например, чтобы я из армии раньше срока демобилизовался?..

В изоляторе — решетки на окнах. В углу плита. На плите — кипящий чайник, обложенный сухарями. За стеной две одиночные камеры. Их называют — «стаканы». Сейчас они пустуют...

— Женя, — сказал я, — в шестом бараке, кажется, поганка назревает. Это правда?

— Да, я как раз хотел тебя предупредить.

— Чего же не предупредил?

— Философские мысли нахлынули. Отвлекся. Пардон...

— А в чем там дело?

— Хотят одному стукачу темную устроить. Онучину Ивану.

— Это же твой любимый кадр.

— Уже не мой. Я этого типа использовать не в состоянии. Форменный псих. На политике тронулся. Что его ни спроси, он все за политику. Этот, говорит, принизил великий образ. У этого — нездоровые тенденции. Будто единственный, кто за советскую власть, — гражданин Онучин. Тьфу, создает же природа...

— А по делу он кто?

— Баклан, естественно. Я тебе вот что скажу. Сиди-ка ты на вахте. Или у меня. А в шестой барак не суйся.

— Так они же его замочат! Каждый сунет по разу, чтобы все молчали..

— Тебе что, Онучина жалко? Учти, он и на тебя капал. В смысле, что ты контингенту потакаешь.

— Не в Онучине дело. Надо по закону.

— Ты вообще излишне с зеками церемонишься.

— Просто мне кажется, что я такой же. Да и ты, Женя...

— Во дает, — сказал Борташевич, нагибаясь к осколку зеркала, — во дает! Будка у меня действительно штрафная, но перед законом я относительно чист.

— Про тебя не знаю. А я до ВОХРы пил, хулиганил, с фарцовщиками был знаком. Один раз девушку ударил на Перинной линии. У нее очки разбились...

— Ну хорошо, а я-то при чем?

— Разве у тебя внутри не сидит грабитель и аферист? Разве ты мысленно не убил, не ограбил? Или, как минимум, не изнасиловал?

— Еще бы, сотни раз. А может — тысячи. Мысленно — да. Так я же воли не даю моим страстям.

— А почему? Боишься?

Борташевич вскочил:

— Боюсь? Вот уж нет! И ты прекрасно это знаешь!

— Ты себя боишься.

— Я не волк. Я живу среди людей...

— Ладно, — сказал я, — успокойся.

Опер шагнул к плите.

— Гляди-ка, — вдруг сказал он, — у тебя это бывает? Когда чайник закипит, страшно хочется пальцем заткнуть это дело. Я как-то раз не выдержал. Чуть без пальца не остался...

— Ладно, — говорю, — пойду.

— Не торопись. Хочешь пива? У меня пиво есть. И банка консервов.

— Нет. Пойду.

— Ты даешь, — поразился Борташевич, — совсем народ одичал. Пива не желает.

Он стоял на пороге и кричал мне вслед:

— Алиханов, не ищи приключений!..

Из ШИЗО я направился в самый опасный угол лагерной зоны. Туда, где между стеной барака и забором пролегала освещенная колея. Так называемый простреливаемый коридор.

Инструктируя служебный наряд, разводящий требовал к этому участку особого внимания. Именно поэтому тут всегда было спокойно.

Я прошел вдоль барака, издали крикнул часовому:

— Здорово, Рудольф!

Мне хотелось предотвратить стандартный окрик: «Кто идет?!» От этого у меня всегда портилось настроение.

— Стой! Кто идет?! — выкрикнул часовой, щелкая затвором.

Я молча шел прямо на часового.

— Вай, Борис?! — сказал Рудольф Хедоян. — Чуть-чуть тебя стрелял!..

— Ладно, — говорю, — тут все нормально?

— Как нормально, — закричал Рудольф, — почему нормально?! Людей нэ хватаэт. Надзиратэл вишка стоит! Говоришь, нормально? Нэт нормально! Холод — нормально?! Э!..

Южане ВОХРы страшно мучились от холода. Иные разводили прямо на вышках маленькие костры. И когда-то офицеры глядели на это сквозь пальцы. Затем Резо Цховребашвили сжег до основания четвертый караульный пост. После этого было специальное указание из штаба части, запрещающее даже курить на вышке. Самого Резо таскали к полковнику Гречневу. Тот начал было орать. Но Цховребашвили жестом остановил его и миролюбиво произнес:

«Ставлю коньяк!»

После чего Гречнев расхохотался и выгнал солдата без наказания...

— Вот так климат, — сказал Рудольф, — похуже, чем на Луне.

— Ты на Луне был? — спрашиваю.

— Я и в отпуске-то не был, — сказал Рудольф.

— Ладно, — говорю, — потерпи еще минут сорок...

Я стоял под вышкой несколько минут. Затем направился к шестому бараку. Я шел мимо косых скамеек. Мимо покоробившихся щитов с фотографиями ударников труда. Мимо водокачки, черный снег у дверей которой был истоптан.

Затем свернул к пожарной доске, чтобы убедиться, все ли инструменты на месте.

Начнись пожар, и заключенные вряд ли будут тушить его. Ведь любой инцидент, даже стихийное бедствие, приятно разнообразит жизнь. Но аварийный стенд был в режиме, и зеки этим пользовались. Когда в бараке начиналась резня, дерущиеся мчались к пожарному стенду. Здесь они могли схватить лопату, чугунные щипцы или топор...

Из шестого барака донеслись приглушенные крики. На секунду я ощутил тошнотворный холодок под ложечкой. Я вспомнил, какие огромные пространства у меня за спиной. А впереди — один шестой барак, где мечутся крики. Я подумал, что надо уйти. Уйти и через минуту оказаться на вахте с картежниками. Но в эту секунду я уже распахивал дверь барака.

Онучина я увидел сразу. Он стоял в углу, прикрывшись табуреткой. Ножки ее зловеще торчали вперед.

Онучин был известным стукачом. А также — единственным человеком в зоне, который носил бороду. Так он снялся, будучи подследственным. Затем снимок перекочевал в дело. В дальнейшем борода стала его особой приметой, как и размашистая татуировка:

«Не забуду мать родную и погибшему отцу!»

Онучин был избит. Борода его стала красной, а пятна на телогрейке — черными. Он размахивал табуреткой и все повторял:

— За что вы меня убиваете? Ни за что вы меня убиваете! Гадом быть, ни за что!..

Когда я вошел... Когда я вбежал, заключенные повернулись и тотчас же снова окружили его. Кто-то из задних рядов, может быть, Чалый, с ножом пробивался вперед. Узкое белое лезвие я увидел сразу. На эту крошечную железку падал весь свет барака...

— Назад! — крикнул я, хватая Чалого за рукав.

— От греха, начальник, — сдавленно выговорил зек.

Я ухватил Чалого за телогрейку и сдернул ее до локтей. Потом ударил его сапогом в живот. Через секунду я был возле Онучина. Помню, расстегнул манжеты гимнастерки.

Заключенные, окружив нас, ждали сигнала или хотя бы резкого движения. Что-то безликое и страшное двигалось на меня.

С грохотом распахнулась дверь. На порог шагнул Борташевич в ослепительных яловых сапогах. Меня он заметил сразу и, понижая голос, выговорил:

— Через одного... Слово коммуниста... Без суда...

Угрожавшее мне чудовище распалось на десяток темных фигур. Я взял Онучина за плечо. Мы втроем ушли из барака.

За спиной раздался голос бугра:

— Эх, бакланье вы помойное! Разве с вами дело замочишь?!.

Мы шли вдоль забора под охраной часовых. Когда достигли вахты, Борташевич сказал Онучину:

— Иди в ШИЗО. Жди, когда переведут в другой лагерь.

Онучин тронул меня за рукав. Его рот был горестно искривлен.

— Нет в жизни правды, — сказал он.

— Иди, — говорю...

Рано утром я постучал к доктору. В его кабинете было просторно и чисто.

— На что жалуетесь? — выговорил он, поднимая близорукие глаза.

Затем быстро встал и подошел ко мне:

— Ну что же вы плачете? Позвольте, я хоть дверь запру...

30 мая 1982 года. Нью-Йорк

Я вспоминаю случай под Иоссером.

В двух километрах от лагеря была расположена сельская школа. В школе работала учительница, тощая женщина с металлическими зубами и бельмом на глазу.

Из зоны было видно школьное крыльцо.

В этой же зоне содержался «беспредел» Макеев. Это был истаскавшийся по этапам шестидесятилетний мужчина.

В результате зек полюбил школьную учительницу. Разглядеть черты ее лица он не мог. Более того, он и возраста ее не знал. Было ясно, что это — женщина, — и все. Некто в старомодном платье.

Звали ее Изольда Щукина. Хотя Макеев и этого не знал.

Собственно, он ее даже не видел. Он знал, что это — женщина и различал цвета ее платьев. Платьев было два — зеленое и коричневое.

Рано утром Макеев залезал на крышу барака. Через некоторое время громогласно объявлял:

— Коричневое!..

Это значило, что Изольда прошла в уборную...

Я не помню, чтобы заключенные смеялись над Макеевым. Напротив, его чувство вызывало глубокий интерес.

Макеев изобразил на стене барака — ромашку. Она была величиной с паровозное колесо. Каждый вечер Макеев стирал тряпкой один из лепестков...

Догадывалась ли обо всем это Изольда Щукина — неизвестно. Скорее всего — догадывалась. Она подолгу стояла на крыльце и часто ходила в уборную.

Их встреча произошла лишь однажды. Макеев работал в производственной зоне. Раз его вывели на отдельную точку. Изольда шла через поселок. Их маршруты пересеклись около водонапорной башни.

Вся колонна замедлила шаг. Конвоиры было забеспокоились, но зеки объяснили им, в чем дело.

Изольда шла вдоль замершей колонны. Ее металлические зубы сверкали. Фетровые боты утопали в грязи.

Макеев кинул ей из рядов небольшой бумажный пакет. Изольда подняла его, развернула. Там лежал самодельный пластмассовый мундштук.

Женщина решительно шагнула в сторону начальника конвоя. Она сняла короткий вязаный шарф и протянула ефрейтору Бойко. Тот передал его одному из зеков. Огненный лоскут следовал по рядам, такой яркий на фоне изношенной лагерной дряни. Пока Макеев не обмотал им свою тощую шею.

Заключенные пошли. Кто-то из рядов затянул:

...Где ж ты, падла, любовь свою крутишь,
С кем дымишь папироской одной?..

Но его оборвали. Момент побуждал к тишине.

Макеев оборачивался и размахивал шарфом до самой зоны. Сидеть ему оставалось четырнадцать лет...

Выступающие из мрака жилые корпуса окружены трехметровым забором. Вдоль следового коридора разбросаны ловушки из тончайшей железной проволоки. Чуть дальше установлены сигнальные приборы типа «Янтарь».

По углам возвышаются четыре караульные будки. Они формируют воображаемый замкнутый прямоугольник.

Четыре прожектора освещают тропу наряда. Часовым видны гнилые доски и простреливаемый коридор между жилой и хозяйственной зоной.

К шести вечера подъезжает автозак с решетками на окнах. Начальник конвоя снимает замки. Заключенные молча идут по трапу, в серых робах и громыхающих башмаках.

Появляется офицер в зеленом дождевике с капюшоном. Его голос звучит, как сигнальный прибор:

— Бригада поступает в распоряжение конвоя. Шаг в сторону — побег. Конвой применяет оружие — незамедлительно!..

Холод и пыль. Кое-где побелела земля от мороза. Сухая порыжевшая травка жмется к бугру.

Зеки, негромко переговариваясь, строятся в колонны. Инструкторы придерживают рвущихся собак.

— Первая колонна — марш!

Офицеру за пятьдесят. Двадцать лет проработал в охране. На погонах — четыре маленьких звездочки.

Есть у него гражданский импортный пиджак. Все остальное — казенная зелень.

Солдаты в неуклюжих тулупах идут на посты. Волокут за собой американские телефоны.

Подменный остается на вахте. Скоро ему приснится дом. Бронюта Гробатавичуте в зеленой кофте... Он увидит блестящую под солнцем реку. Свой грузовик на пыльной дороге. Орла над рощей. Лодку, беззвучно раздвигающую камыши.

Затем в уютный, теплый мир его сновидений проникнет окрик, нарочито грубый и резкий, как жесть:.

— Смена, подъем!

И снова — шесть часов на ветру. Если бы вы знали, друзья, что это такое!..

За эти часы ты припомнишь всю свою жизнь. Простишь все обиды. Объездишь весь мир.

Ты будешь иметь сотни женщин. Пить шампанское из хрустальных бокалов. Драться и ездить в такси...

И снова — шесть часов на ветру...

Ночью передали из зоны:

«В обрубке прижмурился зек».

Дело было так. Стропаль неверно повел рычаги. Над головами косо рванулся блок. Скользнула чугунная цепь. И вот — корпусом двухосного парогенератора АГ-430... Нет, куском железа в полторы тонны... В общем, зеку Бутырину, который, нагнувшись, притирал швы — раскроило череп.

Теперь он лежал под намокшим брезентом. Его ступни были неестественно вывернуты. Тело занимало небольшое пространство от станины до мусорного бака.

Он сделался как будто меньше ростом. Его лицо было таким же не-

живым, как мятая, валявшаяся поодаль рукавица. Или — отполированный до блеска черенок лопаты. Или — жестянка с тавотом...

Эта смерть была лишена таинственности. Она наводила тоску. Над пропитанным кровью брезентом вибрировали мухи.

Бутырин часто видел смерть, избегал ее десятки раз.

Это был потомственный скокарь, наркоман, волынщик и гомосек. Да еще — истерик, опрокидывавший залпом в кабинете следователя банку чернил.

С ног до головы его покрывала татуировка. Зубы потемнели от чифира. Исколотое морфином тело отказывалось реагировать на боль.

Он мог подохнуть давно. Например, в Сормове, где канавинские ребята избили его велосипедными цепями. Они кинули его под электричку, но Бутырин чудом уполз. Зек часто вспоминал ревущий огненный треугольник. И то, как песок скрипел на зубах...

Он мог подохнуть в Гори, когда изматерил на рынке толпу южан...

Он мог подохнуть в Синдоре. Конвоиры загнали тогда этап в ледяную речку. Но урки запели, пошли. И рябой ефрейтор Петров начал стрелять...

Он мог подохнуть в Ухте, идя на рынок с лесобиржи...

Он мог подохнуть в койненском изоляторе, где лагерные масти резались сапожными ножами...

И вот теперь он лежит под случайным брезентом. Опер пытается выйти на связь. Он выкрикивает, прижимая ко рту мембрану:

— Я — Лютик! Я — Лютик! Прием! Вас не слышу! Пришлите дополнительный конвой и врача...

И офицер закурит, а потом снова, надсаживаясь, будет кричать:

— Я — Лютик! Прием! Заключенные возбуждены! Ситуация критическая! Пришлите дополнительный конвой и врача...

Скоро придет воронок. Труп погрузят в машину. Один из нас доставит его под автоматом в тюремную больницу. Ведь мертвых зеков тоже положено охранять.

А через месяц замполит Хуриев напишет Инессе Владимировне Бутыриной, единственной родственнице, двоюродной тетке,— письмо. И в нем будет сказано:

«Ваш сын, Бутырин Григорий Тихонович, уверенно шел к исправлению. Он скончался на трудовом посту...»

7 июня 1982 года. Нью-Йорк

Напомню вам, что лагерь является тнпично советским учреждением. И не только по своему административно-хозяйственному устройству. Не только по внедряемой сверху идеологии. Не только в силу привычных формальностей.

Лагерь — учреждение советское — по духу. По внутренней сути.

Рядовой уголовник, как правило, вполне лояльный советский гражданин. То есть он, конечно, недоволен. Спиртное подорожало и так далее. Но основы — священны, и Ленин — вне критики.

В этом смысле чрезвычайно показательно лагерное творчество. В лагере без нажима и принуждения торжествует метод социалистического реализма.

Задумывались ли вы о том, что социалистическое искусство приближается к магии? Что оно напоминает ритуальную и культурную живопись древних?

Рисуешь на скале бизона — получаешь вечером жаркое.

Так же рассуждают чиновники от социалистического искусства. Если изобразить нечто положительное, то всем будет хорошо. А если отрицательное, то наоборот. Если живописать стахановский подвиг, то все будут хорошо работать. И так далее.

Вспомните подземные столичные мозаики. Овощи, фрукты, домашняя птица... Грузины, литовцы, армяне... Крупный и мелкий рогатый скот... Ведь это те же бизоны!..

В лагере — такая же история.

Возьмите лагерную живопись. Если это пейзаж, то немыслимо знойный, андалузской расцветки. Если иатюрморт, то преисполненный калорий.

Лагерные портреты необычайно комплиментарны.

На воле так изображают крупных партийных деятелей.

И никакого модернизма. Чем ближе к фотографии, тем лучше. Вряд ли тут преуспели бы Модильяни с Гогеном...

Возьмите лагерные песни. Вот один нз наиболее распространенных песенных сюжетов. Мать-одиночка с ребенком. Папаша в бегах. Ребеиок становится вором. (А если дочь, то проституткой.) Дальше — суд. Прокурор, опуская глаза, требует высшей меры наказания. Подсудимый кончает жизнь самоубийством. У могильной ограды часами рыдает прокурор. Это, как вы уже догадались,— незадачливый отец покойного.

Разумеется, все это чушь, лишенная минимального жизненного правдоподобия. Прокурор вообще не может осудить собственную родню. Такого не позволяют советские законы. И лагерники прекрасно это зиают. Но продолжают вовсю эксплуатировать лживый, дурацкий сюжет...

Возьмите лагерные мифы. Наиболее распространенным сюжетом является успешный массовый побег. Как правило, через Белое море — в Соединенные Штаты.

Вы услышите десятки версий с мельчайшими бытовыми подробностями. С детальным описанием маршрута. С клятвенными заверениями, что все так и было.

И организатором побега непременно будет доблестный чекист. Бывший полковник ГПУ или НКВД. Осужденный Хрущевым сподвижник Берии или Ягоды.

Ну чего их, спрашивается, тянет к этим мерзавцам?! А тянет их оттого, что это — знакомые, привычные, советские герои. Персоиажи Юлиана Семеиова и братьев Ваинеров...

Емельян Пугачев, говорят, опирался на беглых каторжников. Теперешние каторжники бунтовать не собираются. Случись какая-нибудь заваруха, и пойдут они до ближайшего винного магазина...

Ну, хорошо. Теперь — о деле. Пряшлите мне, если не трудно, образцы ваших шрифтов и два каталога.

Будете в Нью-Йорке — увидимся. Привет жене, матушке и дочкам. Наша Катя ужасно сердитая — переходный возраст...

Завтра возле моего дома открывается новое русское кафе. Рано утром, будучи местной знаменитостью, иду поздравлять владельцев...

В октябре меня дисквалифицировали за грубость, и я был лишен всех привилегий спортсмена. Соответственно, оказался в караульном батальоне на правах рядового. Ночью запах портянок, обернутых вокруг голенищ, лишал меня сна. В заключение ефрейтор Блиндяк крикнул мне перед строем:

— Я СГНИЮ тебя, падла, увидишь — СГНИЮ!..

В этой ситуации должность ротного писаря была неслыханной удачей. По-видимому, сказалось мое незаконченное высшее образование. У меня было два курса ЛГУ. Думаю, я был самым образованным человеком в республике Коми...

Рано утром я подмел штабное крыльцо. Заснеженный плац был исполосован мощными гвардейскими струями. Я выходил на дорогу и там поджидал капитана.

Завидев его, я ускорял шаги, резко подносил ладонь к фуражке и бездумным, механическим голосом восклицал:

— Здравия желаю!

Затем, роняя ладонь, как будто вконец обессилев, почтительно-фамильярным тоном спрашивал:

— Как спали, дядя Леня?

И немедленно замолкал, как будто стесняясь охватившей меня душевной теплоты...

Жизнь капитана Токаря состояла из мужества и пьянства. Капитан, спотыкаясь, брел узкой полоской земли между этими двумя океанами.

Короче, жизнь его — не задалась. Жена в Москве и под другой фамилией танцует на эстраде. А сын — жокей. Недавно прислал свою фотографию: лошадь, ведро и какие-то доски...

Воплощением мужества для капитана стали: опрятность, резкий голос и умение пить, не закусывая...

Токарь снимает шинель. На шее его, как дурное предзнаменование, белеет узкая линия воротничка.

— Где Барковец? — спрашивает он.— Зовите!

Ефрейтор Барковец появляется в дверях. Он шалит ногой, плечом, закатывает глаза. То есть просто, грубо и совершенно неубедительно разыгрывает чувство вины.

Токарь согнутым пальцем расправляет диагоналевую офицерскую гимнастерку.

— Ефрейтор Барковец,— говорит он,— стыдитесь! Кто послал вчера на три буквы лейтенанта Хуриева?

— Товарищ капитан...

— Молчать!

— Если бы вы там присутствовали...

— Приказываю — молчать!

— Вы бы убедились...

— Я вас арестую, Барковец!

— Что я его справедливо... одернул...

— Трое суток ареста, — говорит капитан, — выходит — по числу букв...

Когда ефрейтор удаляется, Токарь говорит мне:

— А ведь москвичи — люди с юмором.

— Это верно.

— Ты бывал в Москве?

— Дважды, на сборах.

— А на скачках бывал?

— Никогда.

— Интересно, что за люди — жокеи?

— Вот не знаю.

— Физкультурники?

— Что-то вроде...

Токарь приходит домой. К его ногам, приседая от восторга, бросается черный спаниель.

— Брошка, Брошенька, — шепчет Токарь, роняя в снег ломти докторской колбасы.

Дома — теплая водка, последние известия. В ящике стола — пистолет...

— Брошка, Брошенька, единственный друг... Аникин демобилизовался... Райзман — доцент, квартиру получил... Райзман и в Майданеке получил бы отдельную квартиру... Брошка, что же это мы с тобой?.. Валентина, сука, не пишет... Митя лошадь прислал...

Холод и тьма за окном. Избу обступили сугробы. Ни звука, ни шороха, выпил — и жди. А сколько ждать — неизвестно. Если бы собаки залаяли или лампа погасла... Тогда можно снова налить...

Так он и засыпает — портупея, диагоналевая гимнастерка, сапоги... И лампочка горит до самого утра...

А утром я снова иду мимо оскверненного плаца к воротам. Резко вскидываю ладонь к фуражке. Потом вяло роняю ее и голосом, дрогнувшим от нежного чувства, спрашиваю:

— Как ночь, дядя Леня?..

Когда-то я был перспективным армейским тяжеловесом. Одновременно — спортивным инструктором при штабе части. До штаба — надзирателем производственной зоны. А всему этому предшествовала давняя беседа с чиновником райвоенкомата.

— Ты парень образованный, — сказал комиссар, — мог бы на сержанта выучиться. В ракетные части попасть... А в охрану идут, кому уж терять нечего...

— Мне как раз нечего терять.

Комиссар взглянул на меня с подозрением.

— В каком это смысле?

— Из университета выгнали, с женой развелся...

Мне хотелось быть откровенным и простым. Доводы не убедили комиссара.

— Может, ты чего-нибудь это самое... Чего-нибудь слямзил? И смыться норовишь?

— Да, говорю, — у нищего — жестянку с медяками.

— Не понял, — вздрогнул комиссар.

— Это так, вроде шутки.

— Что в ней смешного?

— Ничего, — говорю, — извините.

— Слушай, парень! Я тебе по-дружески скажу. ВОХРА — это ад!

Тогда я ответил, что ад — это мы сами. Просто этого не замечаем.

— А по-моему, — сказал комиссар, — ты чересчур умничаешь.

Отчаявшись разобраться, комиссар начал заполнять мои документы.

Через месяц я оказался в школе надзирателей под Ропчей. А еще через месяц инспектор рукопашного боя Торопцев, прощаясь, говорил:

— Запомни, можно спастись от ножа. Можно блокировать топор. Можно отобрать пистолет. Можно все! Но если можно убежать — беги! Беги, сынок, и не оглядывайся...

В моем кармане лежала инструкция. Четвертый пункт гласил:

«Если надзиратель в безвыходном положении, он дает команду часовому — «СТРЕЛЯЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ МЕНЯ...»

Штрафной изолятор, ночь. За стеной, позвякивая наручниками, бродит Анаги. Опер Борташевич говорит мне:

— Конечно, всякое бывает. Люди нервные, эгоцентричны до предела... Например? Раз мне голову на лесоповале хотели отпилить бензопилой «Дружба».

— И что? — спросил я.

— Ну что... Бензопилу отобрал и морду набил.

— Ясно.

— С топором была история на пересылке.

— И что? Чем кончилось?

— Отнял топор, дал по роже...

— Понятно.

— Один чифирной меня с ножом прихватывал.

— Нож отобрали и в морду?

Борташевич внимательно посмотрел на меня, затем расстегнул гимнастерку. Я увидел маленький, белый, леденящий душу шрам...

Ночью я спешу из штаба в казарму. И самый короткий путь — через зону. Я шагаю мимо одинаковых бараков, мимо желтых лампочек в проволочных сетках. Я спешу, ощущая родство тишины и мороза.

Иногда распахиваются двери бараков. Из натопленного жилья с облаком белого пара выскакивает зек. Он мочится, закуривает, кричит часовому на вышке:

— Але, начальник! Кто из нас в тюрьме? Ты или я?!

Часовой лениво матерится, кутаясь в тулуп...

Из южного барака раздается крик. Я бегу, на ходу расстегивая манжеты. На досках лежит в сапогах рецидивист Купцов, орет и указывает пальцем. По стене движется таракан, черный и блестящий, как гоночная автомашина.

— В чем дело? — спрашиваю я.

— Ой, боюсь, начальник! Кто его знает, что у таракана на уме!..

— А вы шутник, — говорю я, — как зовут?

— Зимой — Кузьмой, а летом — Филаретом.

— За что сидите?

— Улицу неверно перешел... С чужим баулом.

— Прости, начальник, — миролюбиво высказывается бугор Агешин, — это юмор такой. Как говорится, дружеский шарж. Давай лучше ужинать...

«Поем, — думаю я, — они ведь такие же люди... А человек от природы...» И так далее...

Ели мясо, зажаренное в бараке на плите. Потом курили. Кто-то взял гитару, сентиментальным голосом напевая:

...Выше голову, милый, я ждать не устану.
Моя совесть чиста, хоть одежды в пыли.
Надо мной раскаленный шатер Казахстана.
Бесконечная степь золотится вдали...

«Милые, в общем-то, люди, — думал я, — хоть и бандиты, разумеется... Но ведь жизнь искалечила, среда заела...»

— Эй, начальник, — сказал бугор Агешин, — знаешь, кого ты ел?

Все засмеялись. Я встал.

— Знаешь, из чего эти самые котлеты?

Я почувствовал, как в моем желудке разрывается бомба.

— Из капитановой жучки... Шустрый такой был песик...

...Надо мной раскаленный шатер Казахстана.
Бесконечная степь золотится вдали.
И, куда ни пойду,
я тебя не застану.
О тебе рассказать не хотят ковыли...

— Вот ты и скажи ему, — говорит Фидель.

— Капитан этого не переживет. У старика, кроме пса, и друзей-то нет. Не могу, ей-Богу...

— Ты же боксер. У тебя нервы крепкие.
— Ей-Богу, не могу.
— Сказать-то надо все равно.
— Тебе полегче. У тебя с капитаном и дел никаких.
— При чем тут я? Кто съел, тот пусть и говорит.
— Зачем ты напоминаешь?! Меня и так выворачивает каждую секунду.
— Он пистолет в кармане носит. Как бы он не это самое... Узнав про такое дело...
— Что и говорить, старик на пределе. Жена не пишет, сын — какой-то гопник... Брошка у него — единственный друг.
— А если телеграмму послать?
— Это не пойдет.
— Все равно сказать придется. А ты человек образованный, умеешь с людьми разговаривать.
— То есть?
— Не зря тебя при штабе держат. Со всеми находишь общий язык.
— Что ты хочешь этим сказать?
— С тобой половина офицеров — на «вы».
— Ну и что?
— Вот и говорят, что ты — композитор.
— Чего?
— Ничего. Композитор. Оперу пишешь. В смысле — оперуполномоченному. Куму...

Перегнувшись через стол, я ударил Фиделя железной линейкой.

— Ах ты, штабная сука! Шестерка офицерская!..

Тут я почувствовал, как накатывает волна спасающего от раздумий бешенства. Фидель двигался медленно, как пловец. Я ударил слева, потом еще. Увидел на расстоянии шага — круглый, четко оформленный подбородок. Я вбил туда свои обиды, горечь, боль... Из-под ног Фиделя вылетела табуретка. Дальше — кровь на листах продовольственного отчета. И хриплый голос капитана Токаря, появившегося в дверях:

— Отставить! Я кому говорю — отставить!..

Опустив глаза, я сказал капитану Токареву все. Он выслушал меня, расправил гимнастерку и неожиданно заговорил быстрым старческим шепотом:

— Я с них вычту. Непременно вычту. Я за Брошку в Котласе тридцать рэ уплатил...

Вечером капитан Токарь напился. Он буйствовал в поселковом шалмане. Порвал фотографию лошади. Ругал последними словами жену. Такими словами, которые давно уже значение потеряли. А ночью шел куда-то мимо электростанции. И пытался, роняя спички, закурить на ветру...

Рано утром я вновь подметаю крыльцо. Потом мимо грязных сугробов — к воротам.

Я иду под луной, откровенной и резкой, как заборная надпись. Жду капитана — стройного, тщательно выбритого, невозмутимого. Прикладываю руку к виску. Затем роняю ее, как будто совершенно обессилев. И наконец учтивым, задорным, приязненным голосом спрашиваю:

— Ну как, дядя Леня?..

Прошло двадцать лет. Капитан Токарь жив. Я тоже. А где этот мир, полный ненависти и страха? Он-то куда подевался? И в чем причина моей тоски и стыда?..

11 июня 1982 года. Нью-Йорк.

Этот большой кусок я переправил через Ричарда Нэша. А ведь он почти что коммунист. Тем не менее занимается нашими вздорными рукописями. Все дико запуталось на этом свете.

На КПП сидели трое. Опер Борташевич тасовал измятые лоснящиеся карты. Караульный Гусев пытался уснуть, не вынимая изо рта зажженной сигареты. Я ждал, когда закипит обложенный сухарями чайник.

Борташевич вяло произнес:

— Ну, хорошо, возьмем, к примеру, баб. Допустим, ты с ней по-хорошему: кино, бисквиты, разговоры... Цитируешь ей Гоголя с Белинским... Какую-нибудь б...скую оперу посещаешь... Потом, естественно, в койку. А мадам тебе в ответ: женись, паскуда! Сначала загс, а потом уж низменные инстинкты... Инстинкты, видишь ли, ее не устраивают. А если для меня это святое, что тогда?!

— Опять-таки жиды, — добавил караульный.
— Чего — жиды? — не понял Борташевич.
— Жиды, говорю, повсюду. От Райкина до Карла Маркса... Плодятся, как опята... К примеру, вендиспансер на Чебью. Врачи — евреи, пациенты — русские. Это по-коммунистически?

Тут позвонили из канцелярии. Борташевич поднял трубку и говорит:

— Тебя.

Я услышал голос капитана Токаря:

— Зайди ко мне, да побыстрей.
— Товарищ капитан, — сказал я, — уже, между прочим, девятый час.
— А вы, — перебил меня капитан, — служите родине только до шести?!
— Для чего же тогда составляются графики? Мне завтра утром на службу выходить.
— Завтра утром вы будете на Ропче. Есть задание начальника штаба — доставить одного клиента с ропчинской пересылки. Короче, жду...
— Куда это тебя? — спросил Борташевич.
— Надо с Ропчи зека отконвоировать.
— На пересуд?
— Не знаю.
— По уставу нужно ездить вдвоем.
— А что в охране делается по уставу? По уставу только на гауптвахту сажают.

Гусев приподнял брови:

— Кто видел, чтобы еврей сидел на гауптвахте?
— Дались тебе евреи, — сказал Борташевич, — надоело. Ты посмотри на русских. Взглянешь и остолбенеешь.
— Не спорю, — откликнулся Гусев.

Неожиданно закипел чайник. Я переставил его на кровельный лист возле сейфа.

— Ладно, пойду...

Борташевич вытащил карту, посмотрел и говорит:

— Ого! Тебя ждет пиковая дама.

Затем добавил:

— Наручники возьми.

Я взял...

Я шел через зону, хотя мог бы обойти ее по тропе нарядов. Вот уже год я специально хожу по зоне ночью. Все надеюсь привыкнуть к ощущению страха. Проблема личной храбрости у нас стоит довольно остро. Рекордсменами в этом деле считаются литовцы и татары.

Возле инструменталки я слегка замедлил шаги. Тут по ночам собирались чифиристы.

Жестяную солдатскую кружку наполняли водой. Высыпали туда пачку чая. Затем опускали в кружку бритвенное лезвие на длинной стальной проволоке. Конец ее забрасывали на провода высоковольтной линии. Жидкость в кружке закипала через две секунды.

Бурый напиток действовал подобно алкоголю. Люди начинали возбужденно жестикулировать, кричать и смеяться без повода.

Серьезных опасений чифиристы не внушали. Серьезные опасения внушали те, которые могли зарезать и без чифира...

Во мраке шевелились тени. Я подошел ближе. Заключенные сидели на картофельных ящиках вокруг чифирбака. Завидев меня, стихли.

— Присаживайся, начальник, — донеслось из темноты, — самовар уже готов.
— Сидеть, — говорю, — это ваша забота.
— Грамотный, — ответил тот же голос.
— Далеко пойдет, — сказал второй.

— Не дальше вахты,— усмехнулся третий...

Все нормально, подумал я. Обычная смесь дружелюбия и ненависти. А ведь сколько я перетаскал им чая, маргарина, рыбных консервов...

Закурив, я обогнул шестой барак и вышел к лагерной узкоколейке. Из темноты выплыло розовое окно канцелярии.

Я постучал. Мне отворил дневальный. В руке он держал яблоко.

Из кабинета выглянул Токарь и говорит:

— Опять жуете на посту, Барковец?

— Ничего подобного, товарищ капитан,— возразил, отвернувшись, дневальный.

— Что, я не вижу?! Уши шевелятся... Позавчера вообще уснули...

— Я не спал, товарищ капитан. Я думал. Больше это не повторится.

— А жаль,— неожиданно произнес Токарь и добавил, обращаясь ко мне: — Входите.

Я вошел, доложил как положено.

— Отлично,— сказал капитан, затягивая ремень,— вот документы, можете ехать. Доставьте сюда зека по фамилии Гурин. Срок — одиннадцать лет. Пятая судимость. Человек в законе, будьте осторожны.

— Кому,— спрашиваю,— он вдруг понадобился? Что, у нас своих рецидивистов мало?

— Хватает,— согласился Токарь.

— Так в чем же дело?

— Не знаю. Документы поступили из штаба части.

Я развернул путевой лист. В графе «назначение» было указано: «Доставить на шестую подкомандировку Гурина Федора Емельяновича в качестве исполнителя роли Ленина...»

— Что это значит?

— Понятия не имею. Лучше у замполита спросите. Наверное, постановку готовят к шестидесятилетию советской власти. Вот и пригласили гастролера. Может, талант у него или будка соответствующая... Не знаю. Пока что доставьте его сюда, а там разберемся. Если что, применяйте оружие. С Богом!..

Я взял бумаги, козырнул и удалился.

К Ропче мы подъехали в двенадцатом часу. Поселок казался мертвым. Из темноты гулко лаяли собаки.

Водитель лесовоза спросил:

— Куда тебя погнали среди ночи? Ехал бы с утра.

Пришлось ему объяснять:

— Так я назад поеду днем. А так пришлось бы ночью возвращаться. Да еще в компании с опасным рецидивистом.

— Не худший вариант,— сказал шофер.

Затем прибавил:

— У нас в леспромхозе диспетчеры страшнее зеков.

— Бывает,— говорю.

Мы попрощались...

Я разбудил дневального на вахте, показал ему бумаги. Спросил: где можно переночевать?

Дневальный задумался.

— В казарме шумно. Среди ночи конвойные бригады возвращаются. Займешь чужую койку, могут и ремнем перетянуть... А на питомнике собаки лают.

— Собаки — это уже лучше,— говорю.

— Ночуй у меня. Тут полный кайф. Укроешься тулупом. Подменный явится к семи...

Я лег, поставил возле топчана консервную банку и закурил...

Главное — не вспоминать о доме. Думать о каких-то насущных проблемах. Вот, например, папиросы кончаются. А дневальный вроде бы не курит...

Я спросил:

— Ты что, не куришь?

— Угостишь, так закурю.

Еще не легче...

Дневальный пытался заговорить со мной:

— А правда, что у вас на «шестерке» солдаты коз дерут?

— Не знаю. Вряд ли... Зеки, те балуются.

— По-моему, уж лучше в кулак.

— Дело вкуса...

— Ну ладно,— пощадил меня дневальный,— спи. Здесь тихо...

Насчет тишины дневальный ошибся. Вахта примыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи проснулся арестованный зек. Он скрежетал наручниками и громко пел:

А я иду, шагаю по Москве...

— Повело кота на б...ки,— заворчал дневальный.

Он посмотрел в глазок и крикнул:

— Агеев, хезай в дуло и ложись! Иначе фингилей под глаз навешу!

В ответ донеслось:

— Начальник, сдай рога в каптерку!

Дневальный откликнулся витиеватым матерным перебором.

— Сосал бы ты по девятой усиленной,— реагировал зек...

Концерт продолжался часа два. Да еще и папиросы кончились.

Я подошел к глазку и спросил:

— Нет ли у вас папирос или махорки?

— Вы кто? — поразился Агеев.

— Командированный с шестого лагпункта.

— А я думал — студент... На «шестерке» все такие культурные?

— Да,— говорю,— когда остаются без папирос.

— Махорки навалом. Я суну под дверь... Вы случайно не из Ленинграда?

— Из Ленинграда.

— Земляк... Я так и подумал.

Остаток ночи прошел в разговорах...

Наутро я разыскал оперуполномоченного Долбенко. Предъявил ему свои бумаги. Он сказал:

— Позавтракайте и ждите на вахте. Оружие при вас? Это хорошо...

В столовой мне дали чаю и булки. Каши не хватило. Зато я получил на дорогу кусок сала и луковицу. А знакомый инструктор отсыпал мне десяток папирос.

Я просидел на вахте до развода конвойных бригад.

Дневального сменили около восьми. В изоляторе было тихо. Зек отсыпался после бессонной ночи.

Наконец я услышал:

— Заключенный Гурин, с вещами!

Звякнули штыри в проходном коридоре. На вахту зашел оперативник с моим подопечным.

— Распишись,— говорит.— Оружие при тебе?

Я расстегнул кобуру.

Зек был в наручниках.

Мы вышли на крыльцо. Зимнее солнце ослепило меня. Рассвет наступил внезапно. Как всегда...

На пологом бугре чернели избы. Дым над крышами поднимался вертикально.

Я сказал Гурину:

— Ну, пошли.

Он был небольшого роста, плотный. Под шапкой ощущалась лысина. Засаленная ватная телогрейка блестела на солнце.

Я решил не ждать лесовоза, а сразу идти к переезду. Догонит нас попутный трактор — хорошо. А нет — можно и пешком дойти за три часа...

Я не знал, что дорога перекрыта возле Койна. Позднее выяснилось, что ночью двое зеков угнали трелевочную машину. Теперь на всех переездах сидели оперативники. Так мы и шли пешком до самой зоны. Только раз остановились, чтобы поесть. Я отдал Гурину хлеб и сало. Тем более что сало подмерзло, а хлеб раскрошился.

Молчавший до этого зек повторял:

— Вот так дачка — чистая бацилла! Начальник, гужанемся от души...

Ему мешали наручники. Он попросил:

— Сблочил бы манжеты. Или боишься, что винта нарежу?

Ладно, думаю, при свете не опасно. Куда ему по снегу бежать?..

Я снял наручники, пристегнул их к ремню. Гурин сразу же попросился в уборную.

Я сказал:

— Идите вон туда...

Потом он сидел за кустами, а я держал на мушке черный воркутинский треух.

Прошло минут десять. Даже рука устала.

Вдруг за моей спиной что-то хрустнуло. Одновременно раздался хриплый голос:

— Пошли, начальник...

Я вскочил. Передо мной стоял улыбающийся Гурин. Шапку он, видимо, повесил на куст.

— Не стреляй, земеля...

Ругаться было глупо.

Гурин действовал правильно. Доказал, что не хочет бежать. Мог и не захотел...

Мы вышли на лежневку и без приключений достигли зоны. В дороге я спросил:

— А что это за представление?

Зек не понял. Я объяснил:

— В сопроводиловке говорится — исполнитель роли Ленина.

Гурин расхохотался.

— Это старая история, начальник. Была у меня еще до войны кликуха — артист. В смысле — человек фартовый, может, как говорится, шевелить ушами. Так и записали в дело — артист. Помню, чалился я в МУРе, а следователь шутки ради и записал. В графу — профессия до ареста... Какая уж там профессия! Я с колыбели — упорный вор. В жизни дня не проработал. Однако, как записали, так и поехало — артист. Из ксивы в ксиву... Все замполиты меня на самодеятельность подписывают — ты же артист... Эх, встретить бы такого замполита на колхозном рынке. Показал бы я ему свое искусство...

Я спросил:

— Что же вы будете делать? Там же надо самого Ленина играть...

— По бумажке-то? Запросто... Ваксой плешь отполирую и хорош!.. Помню, жиганули мы сберкассу в Киеве. Так я ментом переоделся — свои не узнали... Ленина так Ленина... День кантовки — месяц жизни...

Мы подошли к вахте. Я передал Гурина старшине. Зек махнул рукой:

— Увидимся, начальник. Мерси за дачку...

Последние слова он выговорил тихо. Чтобы не расслышал старшина...

Выбившись из графика, я бездельничал целые сутки. Пил вино с оружейными мастерами. Проиграл им четыре рубля в буру. Написал письмо родителям и брату. Даже собирался уйти к знакомой барышне в поселок. Но тут подошел дневальный и сказал, что меня разыскивает замполит Хуриев.

Я направился в ленинскую комнату. Хуриев сидел под огромной картой Усть-Вымского лагпункта. Места побегов были отмечены флажками.

— Присаживайтесь, — сказал замполит, — есть важный разговор. Надвигаются октябрьские праздники. Вчера мы начали репетировать одноактную пьесу «Кремлевские звезды». Автор, — тут Хуриев заглянул в лежащие перед ним бумаги, — Чичельницкий. Яков Чичельницкий. Пьеса идейно зрелая, рекомендована культурным сектором УВД. События происходят в начале двадцатых годов. Действующих лиц — четыре. Ленин, Дзержинский, чекист Тимофей и его невеста Полина. Молодой чекист Тимофей поддается буржуазным настроениям. Купеческая дочь Полина затягивает его в омут мещанства. Дзержинский проводит с ними воспитательную работу. Сам он неизлечимо болен. Ленин настоятельно рекомендует ему позаботиться о своем здоровье. Железный Феликс отказывается, что производит сильное впечатление на Тимофея. В конце он сбрасывает путы ревизионизма. За ним робко следует купеческая дочь Полина... В заключительной сцене Ленин обращается к публике. — Тут Хурев снова зашуршал бумагами. — «...Кто это? Чьи это счастливые лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?! Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек. Ради вас искореняли буржуазную нечисть... Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды...» И так далее. А потом все запевают «Интернационал». Как говорится, в едином порыве... Что вы на это скажете?

— Ничего, — говорю. — А что я могу сказать? Серьезная пьеса.

— Вы человек культурный, образованный. Мы решили привлечь вас к этому делу.

— Я же не имею отношения к театру.

— А я, думаете, имею? И ничего, справляюсь. Но без помощника трудно. Артисты наши — сами знаете... Ленина играет вор с рончинской пересылки. Потомственный щипач в законе. Есть мнение, что он активно готовится к побегу...

Я промолчал. Не рассказывать же было замполиту о происшествии в лесу.

Хуриев продолжал:

— В роли Дзержинского — Цуриков, по кличке Мотыль, из четвертой бригады. По делу у него совращение малолетних. Срок — шесть лет. Есть данные, что он — плановóй... В роли Тимофея — Геша, придурок из санчасти. Пассивный гомосек... В роли Полины — Томка Лебедева из АХЧ. Такая бикса, хуже зечки... Короче, публика еще та. Возможно употребление наркотиков. А также недозволенные контакты с Лебедевой. Этой шкуре лишь бы возле зеков повертеться... Вы меня понимаете?

— Чего же тут не понять? Наши люди...

— Ну, так приступайте. Очередная репетиция сегодня в шесть. Будете ассистентом режиссера. Дежурства на лесоповале отменяются. Капитана Токаря я предупрежу.

— Не возражаю, — сказал я.

— Приходите без десяти шесть.

До шести я бродил по казарме. Раза два меня хотели куда-то послать в составе оперативных групп. Я отвечал, что нахожусь в распоряжении старшего лейтенанта Хуриева. И меня оставляли в покое. Только старшина поинтересовался:

— Что там у вас за дела? Поганку к юбилею заворачиваете?

— Ставим, — говорю, — революционную пьесу о Ленине. Силами местных артистов.

— Знаю я ваших артистов. Им лишь бы на троих сообразить...

Около шести я сидел в ленинской комнате. Через минуту явился Хуриев с портфелем.

— А где личный состав?

— Придут, — говорю. — Наверное, в столовой задержались.

Тут зашли Геша и Цуриков.

Цурикова я знал по работе на отдельной точке. Это был мрачный, исхудавший зек с отвратительной привычкой чесаться.

Геша работал в санчасти — шнырем. Убирал помещение, ходил за больными. Крал для паханов таблетки, витамины и лекарства на спирту. Ходил он, чуть заметно приплясывая. Повинуясь какому-то неуловимому ритму. Паханы в жилой зоне гоняли его от костра...

— Ровно шесть, — выговорил Цуриков и, не сгибаясь, почесал колено.

Геша сооружал козью ножку.

Появился Гурин, без робы, в застиранной нижней сорочке.

— Жара, — сказал он, — чистый Ташкент... И вообще не зона, а Дом культуры. Солдаты на «вы» обращаются. И пайка клевая... Неужели здесь бывают побеги?

— Бегут, — ответил Хуриев.

— Сюда или отсюда?

— Отсюда, — без улыбки реагировал замполит.

— А я думал, с воли — на кичу. Или прямо с капиталистических джунглей...

— Пошутили — и хватит, — сказал Хуриев.

Тут появилась Лебедева в облаке дешевой косметики и с шестимесячной завивкой.

Она была вольная, но с лагерными манерами и приблатненной речью.

Вообще административно-хозяйственные работники через месяц становились похожими на заключенных. Даже наемные инженеры тянули по фене. Не говоря о солдатах...

— Приступим, — сказал замполит.

Артисты достали из карманов мятые листки.

— Роли должны быть выучены к среде.

Затем Хуриев поднял руку:

— Довожу основную мысль. Центральная линия пьесы — борьба между чувством и долгом. Товарищ Дзержинский, пренебрегая недугом, отдает всего себя революции. Товарищ Ленин настоятельно рекомендует ему поехать в отпуск. Дзержинский категорически отказывается. Параллельно развивается линия Тимофея. Животное чувство к Полине временно заслоняет от него мировую революцию. Полина — типичная выразительница мелкобуржуазных настроений...

— Типа фарцовщицы? — громко спросила Лебедева.

— Не перебивайте... Ее идеал — мещанское благополучие. Тимофей переживает конфликт между чувством и долгом. Личный пример Дзержинского оказывает на юношу сильное моральное воздействие. В результате чувство долга побеждает... Надеюсь, все ясно? Приступим. Итак, Дзержинский за работой... Цуриков, садитесь по левую руку... Заходит Владимир Ильич. В руках у него чемодан... Чемодана пока нет, используем футляр от гармошки. Держите... Итак, заходит Ленин. Начали!

Гурин ухмыльнулся и бодро произнес:

— Здрасьте, Феликс Эдмундович!

(Он выговорил по-ленински — «здгастьте».)

Цуриков почесал шею и хмуро ответил:

— Здравствуйте.

— Больше уважения, — подсказал замполит.

— Здравствуйте, — чуть громче произнес Цуриков.

— Знаете, Феликс Эдмундович, что у меня в руках?

— Чемодан, Владимир Ильич.

— А для чего он, вы знаете?

— Отставить! — крикнул замполит. — Тут говорится: «Ленин с хитринкой». Где же хитринка? Не вижу...

— Будет, — заверил Гурин.

Он вытянул руку с футляром и нагло подмигнул Дзержинскому.

— Отлично, — сказал Хуриев, — продолжайте. «А для чего он, вы знаете?»

— А для чего он, вы знаете?

— Понятия не имею, — сказал Цуриков.

— Без хамства, — снова вмешался замполит, — помягче. Перед вами — сам Ленин. Вождь мирового пролетариата...

— Понятия не имею, — все так же хмуро сказал Цуриков.

— Уже лучше. Продолжайте.

Гурин снова подмигнул, еще развязнее.

— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович. Чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать.

Цуриков без усилий почесал лопатку.

—. Не могу, Владимир Ильич, контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры, буржуазные лазунчики...

— Лазутчики, — поправил Хуриев, — дальше.

— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит революции. Мы с товарищами посовещались и решили — вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома...

Тут неожиданно раздался женский вопль. Лебедева рыдала, уронив голову на скатерть.

— В чем дело? — нервно спросил замполит.

— Феликса жалко, — пояснила Тамара, — худой он, как глист.

— Дистрофики как раз живучие, — неприязненно высказался Геша.

— Перерыв, — объявил Хуриев.

Затем он повернулся ко мне.

— Ну как? По-моему, главное схвачено.

— Ой, — воскликнула Лебедева, — до чего жизненно! Как в сказке...

Цуриков истово почесал живот. При этом взгляд его затуманился.

Геша изучал карту побегов. Это считалось подозрительным, хотя карта висела открыто.

Гурин разглядывал спортивные кубки.

— Продолжим, — сказал Хуриев.

Артисты потушили сигареты.

— На очереди Тимофей и Полина. Сцена в приемной ЧК. Тимофей дежурит у коммутатора. Входит Полина. Начали!

Геша сел на табуретку и задумался. Лебедева шагнула к нему, обмахиваясь розовым платочком.

— Тимоша! А, Тимоша!

Тимофей:

— Зачем пришла? Или дома что неладно?

— Не могу я без тебя, голубь сизокрылый...

Тимофей:

— Иди домой, Поля. Тут ведь не изба-читальня.

Лебедева сжала виски кулаками, издав тяжелый пронзительный рев:

— Чужая я тебе, немилая... Загубил ты мои лучшие годы... Бросил ты меня одну, как во поле рябину...

Лебедева с трудом подавляла рыдания. Глаза ее покраснели. Тушь стекала по мокрым щекам...

Тимофей, наоборот, держался почти глумливо.

— Такая уж работа, — цедил он.

— Уехать бы на край земли! — выла Полина.

— К Врангелю, что ли? — настораживался Геша.

— Отлично, — повторил Хуриев. — Лебедева, не выпячивайте зад. Чмыхалов, не заслоняйте героиню. — (Так я узнал Гешину фамилию — Чмыхалов.) — Поехали... Входит Дзержинский... А, молодое поколение!

Цуриков откашлялся и хмуро произнес:

— А, б..., молодое поколение?!

— Что это за слова-паразиты? — вмешался Хуриев.

— А, молодое поколение?!

— Здравия желаю, Феликс Эдмундович, — приподнялся Геша.

— Ты должен смутиться, — подсказал Хуриев.

— Я думаю, ему надо вскочить, — посоветовал Гурин.

Геша вскочил, опрокинув табуретку. Затем отдал честь, прикоснувшись ладонью к бритому лбу.

— Здравия желаю, — крикнул он.

Дзержинский брезгливо пожал ему руку. Педерастов в зоне не любили. Особенно пассивных.

— Динамичнее! — попросил Хуриев.

Геша заговорил быстрее. Потом еще быстрее. Он торопился, проглатывая слова:

— Не знаю, как быть, Феликс Эдмундович... Полинка моя совсем одичала. Ревнует меня к службе, понял? — (У Геши выходило — поэл.) — Скучаю, говорит... А ведь люблю я ее, Полинку-то... Невеста она мне, поэл? Сердцем моим завладела, поэл?..

— Опять слова-паразиты, — закричал Хуриев, — будьте внимательнее!

Лебедева, отвернувшись, подкрашивала губы.

— Перерыв! — объявил замполит. — На сегодня достаточно.

— Жаль, — сказал Гурин, — у меня как раз появилось вдохновение.

— Давайте подведем итоги.

Хуриев вынул блокнот и продолжал:

— Ленин более или менее похож на человека. Тимофей — четверка с минусом. Полина лучше, чем я думал, откровенно говоря. Помните, Дзержинский — это совесть революции. Рыцарь без страха и упрека. А у вас получается какой-то рецидивист...

— Я стараюсь, — равнодушно заверил Цуриков.

— Знаете, что говорил Станиславский? — продолжал Хуриев. — Станиславский говорил — не верю! Если артист фальшивил, Станиславский прерывал репетицию и говорил — не верю!..

— То же самое и менты говорят, — заметил Цуриков.

— Что? — не понял замполит.

— Менты, говорю, то же самое повторяют. Не верю... Не верю... Повязали меня однажды в Ростове, а следователь был мудак...

— Не забывайтесь! — прикрикнул замполит.
— И еще при даме, — вставил Гурин.
— Я вам не дама, — повысил голос Хуриев, — я офицер регулярной армии!
— Я не про вас, — объяснил Гурин, — я насчет Лебедевой.
— А-а, — сказал Хуриев.
Затем он повернулся ко мне.
— В следующий раз будьте активнее. Подготовьте ваши замечания... Вы человек культурный, образованный... А сейчас — можете расходиться. Увидимся в среду... Что с вами, Лебедева?
Тамара мелко вздрагивала, комкая платочек.
— Что такое? — спросил Хуриев.
— Переживаю...
— Отлично. Это называется — перевоплощение...
Мы попрощались и разошлись. Я проводил Гурина до шестого барака. Нам было по дороге.
К этому времени стемнело. Тропинку освещали желтые лампочки над забором. В простреливаемом коридоре, звякая цепями, бегали овчарки.
Неожиданно Гурин произнес:
— Сколько же они народу передавили?
— Кто? — не понял я.
— Да эти барбосы... Ленин с Дзержинским. Рыцари без страха и укропа...
Я промолчал. Откуда я знал, можно ли ему доверять. И вообще, чего это Гурин так откровенен со мной?
Зек не успокаивался:
— Вот я, например, сел за кражу. Мотыль, допустим, палку кинул не туда. У Геши что-либо на уровне фарцовки... Ни одного, как видите, мокрого дела... А эти — Россию в крови потопили, и ничего...
— Ну, — говорю, — вы уж слишком...
— А чего там слишком? Они-то и есть самая кровавая беспредельщина...
— Послушайте, закончим этот разговор.
— Годится, — сказал он.

После этого было три или четыре репетиции. Хуриев горячился, вытирал лоб туалетной бумагой и кричал:
— Не верю! Ленин переигрывает! Тимофей психованный. Полина вертит задом. А Дзержинский вообще похож на бандита.
— На кого же я должен быть похож? — хмуро спрашивал Цуриков. — Что есть, то есть.
— Вы что-нибудь слышали о перевоплощении? — допытывался Хуриев.
— Слышал, — неуверенно отвечал зек.
— Что же вы слышали? Ну просто интересно, что?
— Перевоплощение, — объяснял за Дзержинского Гурин, — это когда ссученные воры идут на кумовьев работать. Или, допустим, заигранный фраер, а гоношится, как урка...
— Разговорчики, — сердился Хуриев. — Лебедева, не выпячивайте форму. Больше думайте о содержании.
— Бюсты трясутся, — жаловалась Лебедева, — и ноги отекают. Я когда нервничаю, всегда поправляюсь. А кушаю мало, творог да яички...
— Про бациллу — ни слова, — одергивал ее Гурин.
— Давайте, — суетился Геша, — еще раз попробуем. Чувствую, в этот раз железно перевоплощусь...
Я старался проявлять какую-то активность. Не зря же меня вычеркнули из конвойного графика. Лучше уж репетировать, чем мерзнуть в тайге.
Я что-то говорил, употребляя выражения — мизансцена, сверхзадача, публичное одиночество...
Цуриков почти не участвовал в разговорах. А если и высказывался, то совершенно неожиданно. Помню, говорили о Ленине, и Цуриков вдруг сказал:
— Бывает, вид у человека похабный, а елда — здоровая. Типа отдельной колбасы.

Гурин усмехнулся:
— Думаешь, мы еще помним, как она выглядит? В смысле — колбаса...
— Разговорчики, — сердится замполит...

Слухи о нашем драмкружке распространились по лагерю. Отношение к пьесе и вождям революции было двояким. Ленина, в общем-то, почитали, Дзержинского — не очень. В столовой один нарядчик бросил Цурикову:
— Нашел ты себе работенку, Мотыль! Чекистом заделался.
В ответ Цуриков молча ударил его черпаком по голове...
Нарядчик упал. Стало тихо. Потом угрюмые возчики с лесоповала заявили Цурикову:
— Помой черпак. Не в баланду же его теперь окунать...
Гешу то и дело спрашивали:
— Ну, а ты, шнырь, кого представляешь? Крупскую?
На что Геша реагировал уклончиво:
— Да так... Рабочего паренька... в законе...
И только Гурин с важностью разгуливал по лагерю. Он научился выговаривать по-ленински:
— Вегной догогой идете, товагищи гецидивисты!..
— Похож, — говорили зеки, — чистое кино...
Хуриев с каждым днем все больше нервничал. Геша ходил вразвалку, разговаривал отрывисто, то и дело поправляя несуществующий маузер. Лебедева почти беспрерывно всхлипывала даже на основной работе. Она поправилась так, что уже не застегивала молнии на импортных коричневых сапожках. Даже Цуриков — и тот слегка преобразился. Им овладело хриплое чахоточное покашливание. Зато он перестал чесаться.
Наступил день генеральной репетиции. Ленину приклеили бородку и усы. Для этой цели был временно освобожден из карцера фальшивомонетчик Журавский. У него была твердая рука и профессиональный художественный вкус.
Гурин сначала хотел отпустить натуральную бороду. Но опер сказал, что это запрещено режимом.
За месяц до спектакля артистам разрешили не стричься. Гурин остался при своей достоверной исторической лысине. Геша оказался рыжим. У Цурикова образовался вполне уместный легкий ежик.
Одели Ленина в тесный гражданский костюмчик, что соответствовало жизненной правде. Для Геши раздобыли у лейтенанта Родичева кожаный пиджак. Лебедева чуть укоротила выходное бархатное платье. Цурикову выделили диагоналевую гимнастерку.
В день генеральной репетиции Хуриев страшно нервничал. Хотя всем было заметно, что результатами он доволен. Он говорил:
— Ленин — крепкая четверка. Тимофей — четыре с плюсом. Дзержинский — тройка с минусом. Полина — три с большой натяжкой...
— Линия есть, — уверял присутствовавший на репетиции фальшивомонетчик Журавский, — линия есть...
— А вы что скажете? — поворачивался ко мне замполит.
Я что-то говорил о сверхзадаче и подтексте.
Хуриев довольно кивал...
Так подошло Седьмое ноября. С утра на заборе повисли четыре красные флага. Пятый был укреплен на здании штрафного изолятора. Из металлических репродукторов доносились звуки «Варшавянки».
Работали в этот день только шныри из хозобслуживания. Лесоповал был закрыт. Производственные бригады остались в зоне.
Заключенные бесцельно шатались вдоль следовой полосы. К часу дня среди них обнаружились пьяные.
Нечто подобное творилось и в казарме. Еще с утра многие пошли за вином. Остальные бродили по территории в расстегнутых гимнастерках.
Ружейный парк охраняло шестеро надежных сверхсрочников. Возле продовольственной кладовой дежурил старшина.
На доске объявлений вывесили приказ:
«Об усилении воинской бдительности по случаю юбилея».
К трем часам заключенных собрали на площадке возле шестого барака. Начальник лагеря майор Амосов произнес короткую речь. Он сказал:

— Революционные праздники касаются всех советских граждан... Даже людей, которые временно оступились... Кого-то убили, ограбили, изнасиловали, в общем, наделали шороху... Партия дает этим людям возможность исправиться... Ведет их через упорный физический труд к социализму... Короче, да здравствует юбилей нашего советского государства!.. А с пьяных и накуренных, как говорится, будем взыскивать... Не говоря о скотоложестве... А то половину соседских коз огуляли, мать вашу за ногу!..

— Ничего себе! — раздался голос из шеренги. — Что же это получается? Я дочку второго секретаря Запорожского обкома тягал, а козу что, не имею права?..

— Помолчите, Гурин, — сказал начальник лагеря. — Опять вы фигурируете! Мы ему доверили товарища Ленина играть, а он все про козу мечтает... Что вы за народ?..

— Народ как народ, — ответили из шеренги, — сучье да беспредельщина...

— Отпетые вы люди, как я погляжу, — сказал майор.

Из-за плеча его вынырнул замполит Хуриев.

— Минуточку, не расходитесь. В шесть тридцать — общее собрание. После торжественной части — концерт. Явка обязательна. Отказчики пойдут в изолятор. Есть вопросы?

— Вопросов навалом, — подали голос из шеренги, — сказать? Куда девалось все хозяйственное мыло? Где обещанные теплые портянки? Почему кино не возят третий месяц? Дадут или нет рукавицы сучкорубам?.. Еще?.. Когда построят будку на лесопавале?..

— Тихо! Тихо! — закричал Хуриев. — Жалобы в установленном порядке, через бригадиров! А теперь расходитесь...

Все немного поворчали и разошлись...

К шести заключенные начали группами собираться около библиотеки. Здесь в бывшей тарной мастерской происходили общие собрания. В дощатом сарае без окон могло разместиться человек пятьсот.

Заключенные побрились и начистили ботинки. Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. Всякий раз, оборачивая кому-нибудь шею полотенцем, Мамедов говорил:

— Чирик — и душа с тебя вон!..

Это была его любимая профессиональная шутка.

Лагерная администрация натянула свои парадные мундиры. В сапогах замполита Хуриева отражались тусклые лампочки, мигавшие над простреливаемым коридором. Вольнонаемные женщины из хозобслуги распространяли запах тройного одеколона. Гражданские служащие надели импортные пиджаки.

Сарай был закрыт. У входа толпились сверхсрочники. Внутри шли приготовления к торжественной части.

Бугор Агешин укреплял над дверью транспарант. На алом фоне было выведено желтой гуашью:

«Партия — наш рулевой!»

Хурев отдавал последние распоряжения. Его окружали — Цуриков, Геша, Тамара. Затем появился Гурин. Я тоже подошел ближе.

Хуриев сказал:

— Если все кончится благополучно, даю неделю отгула. Кроме того, планируется выездной спектакль на Ропче.

— Где это? — заинтересовалась Лебедева.

— В Швейцарии, — ответил Гурин...

В шесть тридцать распахнулись двери сарая. Заключенные шумно расположились на деревянных скамьях. Трое надзирателей внесли стулья для членов президиума.

Цепочкой между рядами проследовало к сцене высшее начальство.

Наступила тишина. Кто-то неуверенно захлопал. Его поддержали.

Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит улыбнулся, показав надежные серебряные коронки. Потом заглянул в бумажку и начал:

— Вот уже шестьдесят лет...

Как всегда, микрофон не работал.

Хуриев возвысил голос:

— Вот уже шестьдесят лет... Слышно?

Вместо ответа из зала донеслось:

— Шестьдесят лет свободы не видать...

Капитан Токарь приподнялся, чтобы запомнить нарушителя.

Хуриев заговорил еще громче. Он перечислил главные достижения советской власти. Вспомнил о победе над Германией. Осветил текущий политический момент. Бегло остановился на проблеме развернутого строительства коммунизма.

Потом выступил майор из Сыктывкара. Речь шла о побегах и лагерной дисциплине. Майор говорил тихо, его не слушали...

Затем на сцену вышел лейтенант Родичев. Свое выступление он начал так:

— В народе родился документ...

За этим последовало что-то вроде социалистических обязательств. Я запомнил фразу: «...Сократить число лагерных убийств на двадцать шесть процентов...»

Прошло около часа. Заключенные тихо беседовали, курили. Задние ряды уже играли в карты. Вдоль стен бесшумно передвигались надзиратели.

Затем Хуриев объявил:

— Концерт!

Сначала незнакомый зек прочитал две басни Крылова. Изображая стрекозу, он разворачивал бумажный веер. Переключаясь на муравья, размахивал воображаемой лопатой.

Потом завбаней Тарасюк жонглировал электрическими лампочками. Их становилось все больше. В конце Тарасюк подбросил их одновременно. Затем оттянул на животе резинку, и лампочки попадали в сатиновые шаровары.

Затем лейтенант Родичев прочитал стихотворение Маяковского. Он расставил ноги и пытался говорить басом.

Его сменил рецидивист Шушаня, который без аккомпанемента исполнил «Цыганочку». Когда ему хлопали, он воскликнул:

— Жаль, сапоги локшовые, не тот эффект!..

Потом объявили нарядчика Логинова «в сопровождении гитары».

Он вышел, поклонился, тронул струны и запел:

Цыганка с картами, глаза упрямые,
Монисто древнее и нитка бус.
Хотел судьбу пытать бубновой дамою,
Да снова выпал мне пиковый туз.

Зачем же ты, судьба моя несчастная,
Опять ведешь меня дорогой слез?
Колючка ржавая, решетка частая,
Вагон столыпинский и шум колес...

Логинову долго хлопали и просили спеть на «бис». Однако замполит был против. Он вышел и сказал:

— Как говорится, хорошего понемножку...

Затем поправил ремень, дождался тишины и выкрикнул:

— Революционная пьеса «Кремлевские звезды». Роли исполняют заключенные Усть-Вымского лагпункта. Владимир Ильич Ленин — заключенный Гурин, Феликс Эдмундович Дзержинский — заключенный Цуриков. Красноармеец Тимофей — заключенный Чмыхалов. Купеческая дочь Полина — работница АХЧ Лебедева Тамара Евгеньевна... Итак, Москва, тысяча девятьсот восемнадцатый год...

Хуриев, пятясь, удалился. На просцениум вынесли стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену поднялся Цуриков в диагоналевой гимнастерке. Он почесал ногу, сел и глубоко задумался. Потом вспомнил, что болен, и начал усиленно кашлять. Он кашлял так, что гимнастерка вылезла из-под ремня.

А Ленин все не появлялся. Из-за кулис с опозданием вынесли телефонный аппарат без провода. Цуриков перестал кашлять, снял трубку и задумался еще глубже.

Из зала ободряюще крикнули:

— Давай, Мотыль, не тяни резину.

Тут появился Ленин с огромным желтым чемоданом в руке.

— Здравствуйте, Феликс Эдмундович.

— Здрасьте, — не вставая, ответил Дзержинский.

Гурин опустил чемодан и, хитро прищурившись, спросил:
— Знаете, Феликс Эдмундович, что это такое?
— Чемодан, Владимир Ильич.
— А для чего он, вы знаете?
— Понятия не имею.
Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя полное равнодушие.
Из зала крикнули еще раз:
— Встань, Мотылина! Как ты с паханом базаришь?
— Ша! — ответил Цуриков. — Разберемся... Много вас тут шибко грамотных.
Он неохотно приподнялся.
Гурин дождался тишины и продолжал:
— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович. Чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать.
— Не могу, Владимир Ильич, контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры, — Цуриков сердито оглядел притихший зал, — буржуазные... как их?
— Лазутчики? — переспросил Гурин.
— Во-во...
— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит революции. Мы с товарищами посовещались и решили — вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома...
Цуриков молчал.
— Вы меня поняли, Феликс Эдмундович?
— Понял, — ответил Цуриков, глупо ухмыляясь.
Он явно забыл текст.
Хуриев подошел к сцене и громко зашептал:
— Делайте, что хотите...
— А чего мне хотеть? — таким же громким шепотом выговорил Цуриков, — если память дырявая стала...
— Делайте, что хотите, — громче повторил замполит, — а службу я не брошу.
— Ясно, — сказал Цуриков, — не брошу...
Ленин перебил его:
— Главное достояние революции — люди. Беречь их — дело архиважное... Так что собирайтесь — и в Крым, батенька, в Крым!
— Рано, Владимир Ильич, рано... Вот покончим с меньшевиками, обезглавим буржуазную кобру...
— Не кобру, а гидру, — подсказал Хуриев.
— Один черт, — махнул рукой Дзержинский.
Дальше все шло более или менее гладко. Ленин уговаривал, Дзержинский не соглашался. Несколько раз Цуриков сильно повысил голос.
Затем на сцену вышел Тимофей. Кожаный пиджак лейтенанта Рогачева напоминал чекистскую тужурку. Полина звала Тимофея бежать на край света.
— К Врангелю, что ли? — спрашивал жених и хватался за несуществующий маузер.
Из зала кричали:
— Шнырь, заходи с червей! Тащи ее в койку! Докажи, что у тебя в штанах еще кудахчет!..
Лебедева гневно топала ногой, одергивала бархатное платье. И вновь подступала к Тимофею:
— Загубил ты мои лучшие годы! Бросил ты меня одну, как во поле рябину!..
Но публика сочувствовала Тимофею. Из зала доносилось:
— Ишь как шерудит, профура! Видит, что ее свеча догорает...
Другие возражали:
— Не пугайте артистку, козлы! Дайте сеансу набраться!
Затем распахнулась дверь сарая и опер Борташевич крикнул:
— Судебный конвой, на выход! Любченко, Гусев, Корались, получите оружие! Сержант Лахно — бегом за документами!..
Четверо конвойных потянулись к выходу.
— Извиняюсь, — сказал Борташевич.
— Продолжайте, — махнул рукой Хуриев.
Представление шло к финальной сцене. Чемоданчик был спрятан до лучших времен. Феликс Дзержинский остался на боевом посту. Купеческая дочь забыла о своих притязаниях...

Хуриев отыскал меня глазами и с удовлетворением кивнул. В первом ряду довольно щурился майор Амосов.
Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем его лицо озарилось светом исторического предвидения.
— Кто это?! — воскликнул Гурин. — Кто это?!
Из темноты глядели на вождя худые бледные физиономии.
— Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?..
В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо.
— Неужели это те, ради кого мы возводили баррикады? Неужели это славные внуки революции?
Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду. Через секунду хохотали все. В общем хоре слышался бас майора Амосова. Тонко вскрикивала Лебедева. Хлопал себя руками по бедрам Геша Чмыхалов. Цуриков на сцене отклеил бородку и застенчиво положил ее возле телефона.
Владимир Ильич пытался говорить:
— Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас... Дослушайте же, псы! Осталось с гулькин хер!..
Зал ответил Гурину страшным неутихающим воем:
— Замри, картавый, перед беспредельщиной!..
— Эй, кто там ближе, пощекотите этого Мопассана!..
— Линяй отсюда, дядя, подгорели кренделя!..
Хуриев протиснулся к сцене и дернул вождя за брюки:
— Пойте!
— Уже? — спросил Гурин. — Там осталось буквально два предложения. Насчет буржуазии и про звезды.
— Буржуазию — отставить. Переходите к звездам. И сразу запевайте «Интернационал».
— Договорились...
Гурин, надсаживаясь, выкрикнул:
— Кончайте базарить!
И мстительным тоном добавил:
— Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды!..
— Поехали! — скомандовал Хуриев.
Взмахнув ружейным шомполом, он начал дирижировать.
Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел:

...Вставай, проклятьем заклейменный...

И дальше, в наступившей тишине:

...Весь мир голодных и рабов...

Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым. Глаза были полузакрыты.
Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй и третий. И вот я уже слышу нестройный распадающийся хор:

...Кипит наш разум возмущенный.
На смертный бой идти готов...

Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли. Лебедева сжимала руками виски. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя революции застыла странная мечтательная улыбка...

...Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем...

Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы... От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил...

А потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие, смущенные голоса.

— Представление окончено, — сказал Хуриев.

Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу.

16 июня 1982 года. Нью-Йорк

Полагаю, наше сочинение близится к финалу. Остался последний кусок страниц на двадцать. Еще кое-что я сознательно решил не включать.

Я решил пренебречь самыми дикими, кровавыми и чудовищными эпизодами лагерной жизни. Мне кажется, они выглядели бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани, а в самом материале.

Я пишу — не физиологические очерки. Я вообще пишу не о тюрьме и зеках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях. И не в кунсткамеру я приглашаю своих читателей.

Разумеется, я мог нагородить Бог знает что. Я знал человека, который вытатуировал у себя на лбу: «Раб МВД». После чего был натурально скальпирован двумя тюремными лекарями. Я видел массовые оргии лесбиянок на крыше барака. Видел, как насиловали овцу. (Для удобства рецидивист Шушаня сунул ее задние ноги в кирзовые прохаря.) Я был на свадьбе лагерных педерастов и даже крикнул: «Горько».

Еще раз говорю, меня интересует жизнь, а не тюрьма. И — люди, а не монстры.

И меня абсолютно не привлекают лавры современного Вергилия. (При всей моей любви к Шаламову.) Достаточно того, что я работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике...

Недавно злющий Генис мне сказал:

— Ты все боишься, чтобы не получилось, как у Шаламова. Не бойся. Не получится...

Я понимаю, это так: мягкая дружеская ирония. И все-таки зачем же переписывать Шаламова? Или даже Толстого вместе с Пушкиным, Лермонтовым, Ржевским?.. Зачем перекраивать Александра Дюма, как это сделал Фицджеральд? «Великий Гэтсби» — замечательная книга. И все-таки я предпочитаю «Графа Монте-Кристо»...

Я всегда мечтал быть учеником собственных идей. Может, и достигну этого в преклонные годы.

Итак, самые душераздирающие подробности я, как говорится, опустил. Я не сулил читателям эффектных зрелищ. Мне хотелось подвести их к зеркалу.

Есть и другая крайность. А именно — до самозабвения погрузиться в эстетику. Вообще забыть о том, что лагерь — гнусен. И живописать его в орнаментальных традициях юго-западной школы.

Крайностей, таким образом, — две. Я мог рассказать о человеке, который зашил свой глаз. И о человеке, который выкормил раненого щегленка на лесоповале. О растратчике Яковлеве, прибившем свою мошонку к нарам. И о щипаче Буркове, рыдавшем на похоронах майского жука...

Короче, если вам покажется, что не хватает мерзости — добавим. А если все наоборот, опять же — дело поправимое...

Когда меня связали телефонным проводом, я успокоился. Голова моя лежала у радиатора парового отопления. Ноги же, обутые в грубые кирзовые сапоги, — под люстрой. Там, где месяц назад стояла елка...

Я слышал, как выдавали оружие наряду. Как лейтенант Хуриев инструктировал солдат. Я знал, что они сейчас выйдут на мороз. Дальше будут идти по черным тропам, вдоль зоны, мимо рвущихся собак. И каждый будет освещать фонариком лицо, чтобы солдат на вышке мог его узнать...

Первым делом я решил объявить голодовку. Я стал ждать ужина, чтобы не притронуться к еде. Ужина мне так и не принесли...

Я слышал, как вернулся часовой. Как они зашли в ружейный парк. Как с грохотом швыряли инструктору через барьер подсумки с двумя магазинами. Как ставили в пирамиду белые от инея автоматы. И как передвигали легкие дюралевые табуретки в столовой. А затем ругали повара Балодиса, оставившего им несколько луковиц, сало и хлеб. Но, как я догадался, забывшего про соль...

Трезвея от холода, я начал вспоминать, как это было. Днем мы напились с бесконвойниками, которые пытались меня обнимать, и все твердили:

— Боб, ты единственный в Устьвымлаге — человек!..

Затем мы отправились через поселок в сторону кильдима. Около почты встретили леспромхозовского фельдшера Штерна. Фидель подошел к нему. Сорвал ондатровую шапку. Зачерпнул снега и опять надел. Мы шли дальше, а по лицу фельдшера стекала грязная вода.

Потом мы зашли в кильдим и спросили у Тонечки бормотухи. Она сказала, что дешевой выпивки нет. Тогда мы закричали, что это все равно. Потому что деньги все равно уже кончились.

Она говорит:

— Вымойте полы на складе. Я вам дам по фунфурику одеколона...

Тонечка пошла за водой. Вернулась через несколько минут. От бадьи шел пар.

Мы сняли гимнастерки. Скрутили их в жгуты. Окунули в бадью и начали тереть дощатый пол. Мы с Балодисом работали добросовестно. А Фидель почти не мешал.

Потом мы выпили немного одеколона. Мы просто утомились ждать. Он страшно медленно переливался в кружки.

Вкус был ужасный, и мы закусили барбарисками. Мы жевали их вместе с прилипшей к ним оберточной бумагой.

Тонечка сказала: «На здоровье!»

Латыш Балодис подмигнул ей и спрашивает Фиделя:

— Ты бы мог?

А Фидель ему в ответ:

— За миллион и то с похмелья...

Когда мы вышли, было уже темно. Над лесобиржей и в поселке зажглись огни.

Мы прошли вдоль конюшни, где стояли телеги без лошадей. Фидель затянул: «Мы идем по Уругваю!..» А Балодис схватил гитару и ударил ее об дерево. Обломки мы кинули в прорубь.

Я поглядел на звезды. У меня закружилась голова...

В этот момент Фидель полез на телеграфный столб. Да еще с перочинным ножом в зубах. Парень он был технически грамотный и рассчитывал что-нибудь испортить. Он забирался выше и выше. Тень от него стала огромной. Неожиданно он крикнул: «Мама!» — и упал с десятиметровой высоты. Мы бросились к нему. Но Фидель поднялся, отряхнул снег и говорит:

— Падать — не залазить!..

Стали искать нож. Балодис говорит:

— Видно, ты его проглотил.

— Пусть, — сказал Фидель, — у меня их два...

Потом мы отправились в казарму. Навстречу выехал хлебный фургон. Мы пошли вперед, не сворачивая. Водитель затормозил, свернул и поломал чью-то ограду...

Когда мы вернулись, служебный наряд чистил оружие. Мы зашли в столовую и поели холодного рассольника. Фидель хотел помочиться в бачок, который стоял на табуретке. Но мы с Балодисом ему отсоветовали.

Потом мы зашли в ленкомнату. Расселись вокруг стола. Он был накрыт кумачовой скатертью. Кругом алели стенды, плакаты и лозунги. Наверху мерцала люстра. В углу лежала свернутая трубкой новогодняя «Молния»...

— Скоро ли коммунизм наступит? — поинтересовался Фидель.

— Если верить газетам, то завтра. А что?

— А то, что у меня потребности накопились.

— В смысле — добавить? — оживился Балодис.

— Ну, — кивнул Фидель.

Я говорю:

— А как у тебя насчет способностей?

— Прекрасно, — ответил Фидель, — способностей у меня навалом.

— Матом выражаться, — подсказал Балодис.

— Не только, — ответил Фидель.

Он начал расставлять шахматные фигуры. Я положил голову на скатерть. А Балодис стал разглядывать фотографии членов Политбюро ЦК. Потом он сказал:

— Вот так фамилия — Челюсть!

Тут в ленкомнату заглянул старшина Евченко.

— Ложились бы, хлопцы! — сказал он.

А Фидель как закричит:

— Почему кругом несправедливость, старшина?! Объясните, почему? Вор, положим, сидит за дело. А мы-то за что пропадаем?!

— Кто же виноват? — говорит старшина.

Я говорю:

— Если бы мне показали человека, который виноват... На котором вина за все мои горести... Я бы его тут же придушил...

— Шли бы спать, — произнес Евченко.

Тут мы встали и ушли, не попрощавшись. А Фидель — тот даже задел старшину. Покурили, сидя во дворе на бревнах. Затем направились в хозчасть.

— Боб, иди в зону, — сказал Фидель, — и принеси горючего. А то мотор глохнет.

— Давай, — подхватил Балодис, — в кильдиме шнапса нет, а у зеков — сколько угодно. Дадут без разговоров, вот увидишь. Знают, что и мы в долгу не останемся.

Он потянул Фиделя за рукав:

— Дай папиросу.

— Курить вредно, — заявил Фидель, — табак отрицательно действует на сердце.

— Нет, полезно, — сказал Балодис, — еще полезней водки. А вредно, знаешь, что? На вышке стоять.

— Самое вредное, — говорит Фидель, — это политзанятия. И когда бежишь в противогазе.

— И строевая подготовка, — добавил я...

В зону меня не пустили. Контролер на вахте спрашивает:

— Ты куда?

— В зону, естественно.

— По личному делу?

— Нет, — говорю, — по общественному.

— За водкой, что ли?

— Ну.

— Поворачивай обратно!

— Ого, — говорю, — вот это соцзаконность! Значит — пускай ее выпьет какой-нибудь рецидивист? И совершит повторное уголовно наказуемое деяние?..

— Ты ходишь за водкой. Общаешься с контингентом. А потом он использует тебя в сомнительных целях.

— Кто это — он?

— Контингент... У тебя должен быть антагоизм по части зеков. Ты должен их ненавидеть. А разве ты их ненавидишь? Что-то незаметно. Спрашивается, где же твой антагоизм?

— Нет у меня антагонизма. Даже к тебе, мудила...

— То-то, — неожиданно высказался контролер и добавил: — Хочешь, я тебе из личных запасов налью?

— Давай, — говорю, — только антагонизма все равно не жди...

Я шел в казарму, спотыкаясь. В темноте миновал заснеженный плац. Оказался в сушилке, где топилась печь. На крючьях висели бушлаты и полушубки.

Фидель рванулся ко мне, опрокинул стул. Когда я сказал, что водки нет, он заплакал.

Я спросил:

— А где Балодис?

Фидель говорит:

— Все спят. Мы теперь одни.

Тут и я чуть не заплакал. Я представил себе, что мы одни на земле. Кто же нас полюбит? Кто же о нас позаботится?..

Фидель шевельнул гармошку, издав резкий, пронзительный звук.

— Гляди, — сказал он, — впервые беру инструмент, а получается не худо. Что тебе сыграть, Баха или Моцарта?..

— Моцарта, — сказал я, — а то караульная смена проснется. По пылу можно схлопотать...

Мы помолчали.

— У Дзавашвили чача есть, — сказал Фидель, — только он не даст. Пошли?

— Неохота связываться.

— Почему это?

— Неохота — и все.

— Может, ты его боишься?

— Чего мне бояться? Плевал я...

— Нет, ты боишься. Я давно заметил.

— Может, я и тебя боюсь? Может, я вообще и Когана боюсь?

— Когана ты не боишься. И меня не боишься. А Дзавашвили боишься. Все грузины с ножами ходят. Если что, за ножи берутся. У Дзавашвили вот такой саксан. Не умещается за голенищем...

— Пошли, — говорю.

Андзор Дзавашвили спал возле окна. Даже во сне его лицо было красивым и немного заносчивым.

Фидель разбудил его и говорит:

— Слышь, нерусский, дал бы чачи...

Дзавашвили проснулся в испуге. Так просыпаются все солдаты лагерной охраны, если их будят неожиданно. Он сунул руку под матрас. Затем вгляделся и говорит:

— Какая чача, дорогой, спать надо!

— Да, — твердит Фидель, — мы с Бобом похмеляемся.

— Как же ты завтра на службу пойдешь? — говорит Андзор.

А Фидель отвечает:

— Не твоих усов дело!

Андзор повернулся спиной.

Тут Фидель как закричит:

— Как же это ты, падла, русскому солдату чачи не даешь?!

— Кто здесь русский? — говорит Андзор. — Ты русский? Ты не русский. Ты алкоголист!

Тут и началось.

Андзор кричит:

— Шалва! Гиго! Ваймэ! Арунда!..

Прибежали грузины в белье, загорелые даже на Севере. Они стали так жестикулировать, что у Фиделя пошла кровь из носа.

Тут началась драка, которую много лет помнили в охране. Шесть раз я падал. Раза три вставал. Наконец меня связали телефонным проводом и отнесли в ленкомнату. Но даже здесь я все еще преследовал кого-то. Связанный, лежащий на шершавых досках. Наверное, это и был тот самый человек. Виновник бесчисленных превратностей моей судьбы...

К утру всегда настроение портится. Особенно — если спишь на холодных досках. Да еще связанный телефонным проводом.

Я стал прислушиваться. Повар с грохотом опустил дрова на кровельный лист. Звякнули ведра. Затем прошел дневальный. А потом захлопали двери и все наполнилось особым шумом. Шумом казармы, где живут одни мужчины и ходят в тяжелых сапогах.

Через несколько минут в ленкомнату заглянул старшина Евченко. Он, наклонившись, разрезал штыком телефонный провод.

— Спасибо, — говорю, — товарищ Евченко. Я, между прочим, этого так не оставлю. Все расскажу корреспонденту «Голоса Америки».

— Давай, — говорит старшина, — у нас таких корреспондентов — целая зона.

Потом он сказал, что меня вызывает капитан Токарь.

Я шел в канцелярию, потирая запястья. Токарь встал из-за стола. У окна расположился недавно сменивший меня писарь Богословский.

— В этот раз я прощать не собираюсь, — заявил капитан, — хватит. С расконвоированными пили?

— Кто, я?

— Вы.

— Ну уж пил... Так, выпил...

— Просто ради интереса — сколько?

— Не знаю, — сказал я, — знаю, что пил из консервной банки.

— Товарищ капитан, — вмешался Богословский, — он не отрицает. Он раскаивается...

Капитан рассердился:

— Я все это слышал — надоело! В этот раз пусть трибунал решает.

Старой ВОХРЫ больше нет. Мы, слава Богу, принадлежим к регулярной армии...

Он повернулся ко мне:

— Вы принесли команде несколько ЧП. Вы срываете политзанятия. Задаете провокационные вопросы лейтенанту Хуриеву. Вот медицинское заключение, подписанное доктором Явшицом...

Капитан достал из папки желтоватый бланк.

— Товарищ капитан,— вставил Боголовский,— написать можно что угодно.

Токарь отмахнулся и прочел:

— «...Сержанту Годеридзе нанесено телесное повреждение в количестве шести зубов...»

Он выругался и добавил:

— «...От клыка до клыка — включительно...» Что вы на это скажете?

— Авитаминоз,— сказал я.

— Что?!

— Авитаминоз,— говорю,— кормят паршиво. Зубы у всех шатаются. Чудь заденешь — и привет...

Капитан подозрительно взглянул на дверь. Затем распахнул ее. Там стоял Фидель и подслушивал.

— Здрасьте, товарищ капитан,— сказал он.

— Ну вот,— сказал Токарь,— вот и прекрасно. Петров вас и отконвоирует.

— Я не могу его конвоировать,— сказал Фидель,— потому что он мой друг. Я не могу конвоировать друга. У меня нет антагонизма...

— А пить с ним вы можете?

— Больше не повторится,— сказал Фидель.

— Достаточно,— капитан поправил гимнастерку,— снимайте ремень.

Я снял.

— Положите на стол.

Я бросил ремень на стол. Медная бляха ударила по стеклу.

— Возьмите ремень! — крикнул Токарь.

Я взял.

— Положите на стол!

Я положил.

— Ефрейтор Петров, берите оружие и марш к старшине за документами!

— Автомат-то зачем?

— Выполняйте! А то поменяетесь местами!

Тут я говорю:

— Поесть бы надо. Не имеете права голодом морить.

— Права свои вы знаете,— усмехнулся Токарь,— но и я свои знаю...

Когда мы вышли, я сказал Фиделю:

— Ладно, не расстраивайся. Не ты — значит, другой...

Затем мы позавтракали овсяной кашей. Сунули в карманы хлеб. Оделись потеплее и вышли на крыльцо.

Фидель достал из подсумка обойму, тут же на ступеньках зарядил автомат.

— Пошли,— говорю,— нечего время терять.

Мы направились к переезду. Там можно было сесть на попутный грузовик или лесовоз.

Позади оставался казарменный вылинявший флаг, унылые деревья над забором и мутное белое солнце.

Шлагбаум был опущен. Я наблюдал, как мимо проносится состав. Мне удалось разглядеть голубые занавески, термос, лампу... Мужчину с папиросой... Я даже заметил, что он в пижаме.

Все это было тошно...

Рядом затормозил лесовоз. Фидель махнул рукой шоферу. Мы оказались в тесной кабине, где пахло бензином.

Фидель поставил автомат между колен. Мы закурили. Шофер повернулся ко мне и спрашивает:

— За что тебя, парень?

Я говорю:

— Критиковал начальство...

Около водокачки дорога свернула к поселку. Я вынул из кармана часы без ремешка, показал шоферу, говорю:

— Купи.

— А ходят?

— Еще как! На два часа точней кремлевских!

— Сколько?

— Пять колов.

— Пять?!

— Ну — семь.

Шофер остановил машину. Вынул деньги. Дал мне пять рублей. Потом спросил:

— Зачем тебе на гауптвахте деньги?

— Бедным помогать,— ответил я.

Шофер ухмыльнулся. Затем он еще долго разглядывал часы и прикладывал к уху.

— Тестю,— говорит,— преподнесу на именины, старому козлу...

Мы вышли из кабины. Темнеющая между сугробами лежневая дорога вела к поселку.

Он встретил нас гудением движка и скрипом полозьев. Обдал сквозняком пустынных улиц. Собак здесь попадалось больше, чем людей.

Путь наш лежал через Весляну. Мимо полуразвалившихся каменных ворот тарного цеха. Мимо изб, погребенных в снегу. Мимо столовой, из распахнутых дверей которой валил белый пар. Мимо гаража с автомашинами, развернутыми одинаково, как лошади в ночном. Мимо клуба с громкоговорителем над чердачным окошком. И потом вдоль забора с фанерными будками через каждые шестьдесят метров.

Дальше, за холмом, тянулись сырые корпуса головного лагпункта. Там возвышалось двухэтажное кирпичное здание штаба, набитого офицерами, стуком пишущих машинок и бесчисленными армейскими реликвиями. Там, за металлической дверью, ждала нас хорошо оборудованная гауптвахта с цементным полом. Да еще — с голыми нарами без плинтусов.

Уже различимы были ворота с пятиконечной звездой...

— Мы тебя на поруки возьмем,— сказал Фидель— увидишь.

— Ладно. На гауптвахте отсижу. А в трибунале, я подозреваю, очередь лет на двадцать...

Мы шли через ров по обледеневшим бревнам. Я сказал:

— Посмотри документы. Неужели там указано время?

— Нет,— сказал Фидель,— а что?

— Куда,— говорю,— нам спешить? Пойдем к торфушкам.

Подразумевались женщины с торфоразработок. Сезонницы, которые жили в бараке за поселком.

— Да ну их,— говорит Фидель.

— А что, возьмем бутылку, деньги есть.

Тут я заметил, что Фиделю это не по вкусу. Что он поглядывает на меня с тоской.

— Идем,— говорю,— с людьми побудем.

— А с пушкой что делать?

— Автомат под кровать.

Фидель идет, молчит. Я говорю:

— Идем. Покурим, выпьем. Бардаки я и сам не люблю. Спокойно посидим в тепле, без крика.

А Фидель говорит:

— Слушай. Вон он, штаб, рядом. Пять минут через болото. Пять минут, и в тепле.

— На гауптвахте, что ли?

— Ну.

— Где пол цементный?

— Что значит — пол?! Имеется топчан. И печка. И температура по уставу должна быть выше шестнадцати градусов...

— Слушай,— говорю,— не по делу ты выступаешь. Гауптвахта — впереди. И топчан, и шестнадцать градусов, и военный дознаватель Комлев... А сейчас пойдем к торфушкам.

— Приключений искать? — твердит Фидель с досадой.

— Ах вот как ты заговорил! Вот что делается с человеком, которому пушку навесили? Давай приказывай, гражданин начальник!..

Тут Фидель как закричит:

— Чего ты возникаешь? Ну чего ты возникаешь? Да пойдем, куда угодно! Куда хочешь, туда и пойдем...

Мы направились в кильдим. Поднялись на крыльцо, отряхнули снег и вошли. Пахло рыбой и керосином. В углу темнели бочки. На полках лежали сигареты, мыло, консервы. Золотился куб халвы с оплывшими гранями. Возле раскаленного отражателя дремала кошка. Ниже возился петух. Неутомимо и бешено клевал он мраморной расцветки пряник.

Тонечка протянула нам две бутылки вина. Фидель опустил их в карманы галифе. Потом мы взяли немного халвы и две банки свиных консервов.

Фидель сказал:

— Купи селедки.

Тонечка говорит:

— Селедка малость того... С запахом.

Фидель спрашивает:

— С плохим, что ли, запахом?

— Да с неважным, — говорит Тонечка...

Мы вышли из кильдима. Поднялись в гору. И вот оказались перед бараком с тусклой лампочкой над дверью.

Подошли к окну, стучим. Тотчас же высунулось плоское лицо. Женщина с распущенными волосами трижды кивнула, указывая на дверь.

В прихожей стояло ведро, накрытое куском фанеры. В углу на стене темнели брезентовые плащи. Под ними лежали черпаки, веревки и крючья...

В бараке — тепло. Чугунная печка наполнена розовым жаром. Из угла в угол косо протянута труба.

Нары завалены пальто и телогрейками. Прогнившие балки оклеены цветными фотографиями из журналов. На тумбочках громоздится немытая посуда.

Мы скинули полушубки. Присели к дощатому столу. Рядом кто-то спал, накрывшись одеялом. У окна сидела женщина в гимнастерке и читала книгу. Она даже не поздоровалась.

— Шестнадцатая республика, — загадочно высказалась о ней первая девица.

Затем позвала кого-то из глубины барака:

— Надька! Женихи соскучивши...

И добавила:

— Будьте как дома, если уж пришли...

Ее малиновые шаровары были заправлены в грубые кирзовые прохоря. На запястье синела пороховая татуировка: «Весь мир — бардак!»

Возникла подруга с бледным и злым лицом. Она была в малиновой лыжной куртке, тесной суконной юбке и домашних шлепанцах.

Мы вынули бутылки и консервы. Девицы принесли эмалированные кружки и хлеб. При этом они беспрестанно смеялись.

На окне чернел транзисторный магнитофон, выделяясь среди прочего хлама.

Девица в красных шароварах назвалась Зиной. Подруга в юбке сказала басом:

— Амосова Надежда.

— Как работает? — поинтересовался Фидель. — Надеюсь, с огоньком?

— Пускай медведь работает, — ответила Надежда.

Зина высказалась еще более решительно:

— Тяжелее хрена в руки не беру...

Фидель уважительно приподнял брови.

Наступила пауза. Потом Зина спросила:

— Мальчики из ВОХРЫ?

— Нет, — сказал Фидель, — мы артисты. Вернее, лауреаты. А вот мой саксофон.

И он помахал автоматом над головой.

— Мальчики, — спросила Зина, — вы немного чокнутые?

— Ага, — говорю, — мы психи. Кукареку!

Фидель разлил вино, звякая стеклом о борта эмалированных кружек.

— Будем здоровы! — сказал он.

— Будем здоровы! — говорю.

— Будете, будете, — сказала Зина, — мы проверяемся. Так что не бойтесь...

Кто-то ходил у нас за спиной по бараку. Кто-то просил, чтобы выключили магнитофон. Кто-то гремел черпаками в сенях. Кто-то пил воду...

Затем явились леспромхозовские парни. Увидели наши полушубки. Долго бродили под окнами, что-то замышляя...

Но мне было все равно. Потому что я неожиданно вспомнил минувшую зиму.

Здесь тогда проходили очередные сборы надзорсостава. Мы были размещены в сорокаместной палатке. Койки стояли в два яруса. Внизу было жарко от печки, а наверху гуляли сквозняки.

Каждое утро мы беспорядочной толпой шли в столовую головного лагпункта. Потом тренировались в спортивном зале или листали методички.

Поужинав около семи часов, мы разбредались, кто на танцы, кто в знакомые дома. Большинство шло в местный клуб...

...Грохочет оркестр. Разгоряченные девушки ищут в толпе офицеров. Рядовые в душных мундирах топчутся у стены. Они распространяют запах лосьона и конюшни. Их прохоря сияют, как фальшивые драгоценности.

Но вот смолкает радиола. Солдаты едут в кузове батальонного грузовика. Теперь они с необычайной развязностью говорят про женщин. Я слышу голос в темноте:

— А помнишь рыжую на шпильках? Я бы на ту рыжую лег...

— Ты бы лег и на кучу дерьма, — раздается в ответ.

Завтра — обычный день.

Однажды вечером я шел пешком из клуба. Музыка доносилась все слабее. Фонари не горели. Дорога была твердой от первых морозов.

Помедлив, я неожиданно свернул к дощатому зданию библиотеки. Крутыми деревянными ступенями поднялся на второй этаж. Затем отворил дверь и стал на пороге.

В зале было пусто и тихо. Вдоль стен мерцали шкафы. Я подошел к деревянному барьеру. Навстречу мне поднялась тридцатилетняя женщина, в очках, с узким лицом и бледными губами.

Женщина взглянула на меня, сняв очки и тотчас коснувшись переносицы. Я поздоровался.

— Что вас интересует? Стихи или проза?

Я попросил рассказы Бунина, которые любил еще школьником. Расписался на квадратном голубоватом бланке. Сел у окна. Включил изогнутую лампу, начал читать.

Женщина несколько раз вставала, уходила из комнаты. Иногда смотрела на меня. Я понял, что внушаю ей страх. Тайга, лагерный поселок, надзиратель... Женщина в очках...

Как ее сюда занесло?..

Затем она передвигала стулья. Я встал, чтобы помочь. Разглядел ее старомодное платье из очень тонкой, жесткой, всегда холодной материи и широкие зырянские чуни...

Тут я случайно коснулся ее руки. Мне показалось, что остановилось сердце. Я с ужасом подумал, что отвык... Просто забыл о вещах, ради которых стоит жить... А если это так, сколько же всего успело промчаться мимо? Как много я потерял?! Чего лишился в эти дни, полные ненависти и страха?!.

Ты дежуришь в изоляторе. В соседней камере гремит наручниками Анаги-заде. Шумит пилорама. А дни, холодные, нелепые, бредут за стеклами, опережая почту...

Я вернулся к столу, захлопнул книгу. Положил ее на деревянный барьер.

— Вам не понравилось? — спросила женщина.

— Ничего, — говорю, — спасибо. Мне пора...

Я, не оглядываясь, спустился по лестнице. До военного городка оставалось полтора километра...

Сейчас я припомнил все это и говорю Фиделю:

— Пошли отсюда.

— Ну вот! — сказал Фидель.

— Допивай вино и пошли.

Девицы спросили:

— Вас что, невесты дожидают?

И только засмеялись вслед...

Мы шли в тишине под звездами. Направились вдоль забора к лощине. Она заканчивалась темным и громоздким силуэтом штаба.

Вдруг на тропинку упали тени. Это были леспромхозовские парни. Но Фидель сразу поднял автомат и крикнул:

— В лесу стреляю без предупреждения!..

Парни исчезли в темноте между деревьями.

Я шел впереди, ориентируясь на спортивную раму для канатов. Она темнела перед зданием штаба, как виселица.

Фидель шел следом.

Тропинка была узкой, ие шире лыжни. Я то и дело спотыкался.

Когда мы огибали последние дома, я заметил свет в библиотеке. Желтоватый ровный свет в окне. Я подумал о женщине в зырянских чунях. Почти увидел ее за бастионами книжных шкафов. В узком и тесном пространстве с рефлектором...

И вот я КАК БЫ захожу туда, оставляя на деревянной лестнице мокрые следы. Пересекаю коридор, распахиваю дверь. Женщина встает, ее серьги покачиваются. Тишииа настолько полная, что явственно слышится их мелодичный звон. Женщина снимает очки, тотчас коснувшись переносицы. Я слышу: «Что вас интересует?»

— Пошли, — сказал Фидель, — а то ноги мерзнут.

Я говорю ему:

— Мне надо в библиотеку зайти.

— Ого! Ну ты даешь!

— Я хочу там с одной поговорить.

— Кончай, — говорит Фидель, — и так целые сутки добираемся.

Я остановился. Кругом ни души. В стороне желтеют огни поселка. Рядом темной стеной возвышается лес.

Я говорю:

— Фидель, будь человеком, пусти. Я познакомился с одной, мие иадо...

— Это значит — мерзнуть, ждать, пока ты кувыркаешься?!

— Вместе зайдем.

Фидель говорит:

— Не могу.

— Ты мне друг, — кричу, — или гражданин начальник?! Ну что ж, веди! Приказывай!

— Пошли, — сказал Фидель.

— Ясно, — говорю, — слушаюсь!

Однако не двигаюсь с места. Фидель остановился у меня за спиной.

— Мне, — говорю, — надо в библиотеку.

— Иди вперед!

— Мне надо...

— Ну!

Я посмотрел туда, где сияло квадратное окошко, дрожащий розовый маяк. Затем шагнул в сторону, оставляя позади нелепую фигуру конвоира.

Тогда Фидель крикнул:

— Стой!

Я обернулся и говорю:

— Хочешь меня убить?

Он произнес еле слышно:

— Назад!

Тут я обругал его последними словами. Теми, что слышал на лесоповале у костра. И около КПП на разводе. И за карточным столом перед дракой. И в тюрьме после шмона...

— Назад, — повторил Фидель...

Я шел, не оборачиваясь. Я стал огромным. Я заслонил собой горизонт. Я слышал, как в опустевшей морозной тишине щелкнул затвор. Как, скрипнув, уступила боевая пружина. И вот уже наполнился патронник. Я чувствовал под гимнастеркой все девять кругов стандартной армейской мишени...

И тут я ощутил невыносимый приступ злости. Как будто сам я, именно сам, целился в этого человека. И этот человек был единственным виновником моих несчастий. И на этом человеке без ремня лежала ответственность за все превратности моей судьбы. Вот только лица его я ие успел разглядеть...

Я остановился, посмотрел на Фиделя. Вздрогнул, увидев его лицо. (В зубах он держал меховую рукавицу.) Затем что-то крикнул и пошел ему навстречу.

Фидель бросил автомат и заплакал. Стаскивая зачем-то полушубок. Обрывая пуговицы иа гимнастерке.

Я подошел к нему и встал рядом.

— Ладно, — говорю, — пошли...

21 июня 1982 года. Нью-Йорк

Дорогой Игорь! (Ваше отчество растерялось иа ухабах совместного путешествия.) Оно закончено. Тормоза последнего миоготочия заскрипят через десять абзацев.

Есть ощущение легкости и пустоты. Ведь я семнадцать лет готовил эту рукопись к печати. The end of something, как выразился бы господин Хемингуэй...

Вы знаете, я человек не религиозный. Более того, неверующий. И даже не суеверный. Я ие боюсь похоронных шествий, черных кошек и разбитых зеркал. Ежеминутно просыпаю соль. И на Лене, которая шлет вам привет, женился трииадцатого (13!) декабря.

Я крайне редко вижу сны. А если вижу, то на удивление примитивные. Например — у меия кончаются деиьги в рестораие. Зигмунду Фрейду тут абсолютно нечего делать.

У меня не случается дурных, и тем более — радужных предчувствий. Я не ощущаю затылком пристальных взглядов. (Разве что они сопровождаются подзатыльниками.) Короче говоря, природа явно обделила меня своими трансцендентными дарами. И даже банальному материалистическому гипнозу я, как выяснилось, не подвержен.

Но у меия задето легкое крыло потустороинего. Вся моя биография есть цепь хорошо организованных случайиостей. На каждом шагу я различаю УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ СУДЬБЫ. Да и как мне ие верить судьбе? Уж слишком очевидны трафареты, по которым написана моя злополучная жизнь. Голубоватые тонкие линии проступают на каждой странице моего единственного черновика.

Набоков говорил: «Случайность — логика фортуны». И действительно, что может быть логичнее безумной, красивой, абсолютно неправдоподобной случайиости?..

Отец моего зиакомого Шлафмаи рыл на даче яму под смородиновый куст. Где и настиг его приступ стенокардии. Как выяснилось, Шлафман рыл себе могилу. Случайиость — логика фортуны... Мало того, при жизни Шлафмаи был иесокрушимым сталинистом. И — тоже не случайно. А для того, чтобы я мог рассказывать эту историю без особой скорби...

Я был иаделен врожденными задатками спортсмена-десятиборца. Чтобы сделать из меня рефлектирующего юношу, потребовались (буквально!) — нечеловеческие усилия. Для этого была выстроена цепь неправдоподобных, а значит — убедительных и логичных случайиостей. Одной из них была тюрьма. Видио, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя.

Не я выбрал эту женственную, крикливую, мученическую, тяжкую профессию. Она сама меня выбрала. И теперь уже иекуда деться.

Вы дочитываете последнюю страницу, я раскрываю новую тетрадь...

Эвелина РАКИТСКАЯ

Черно-белый романс

* * *

Какая-то шавка с утра за окном
все лает и лает, скуля.
И как бы я ни убирала свой дом,
он беден и сер, как земля.
И сколько бы я ни мела этот сор
и как ни звенел бы мой смех,
я в черную землю гляжу до сих пор —
все черные дыры да снег...

И сколько б я в небо ни бросила слов —
они не вернутся назад.
И сколько бы я ни прощала врагов —
они-то меня не простят.
И сколько бы я ни пыталась взлететь —
мне крыльев сырых не поднять.
И сколько бы я ни писала про смерть —
на жизнь мне ее не сменять...

...В стране волоокой, где крыша течет,
но время повернуто вспять,
где каждая сука открыла свой счет
и даже имеет печать,
где ныне у вас миллион на счету,
а значит, не мне вас судить,
я вам предъявляю свою нищету:
извольте мне все оплатить.

Счет главный я вам предъявляю теперь
за то, что я черная масть,
за то, что не знала я даже потерь
и некуда было упасть,
за то, что, покуда у вас «Мерседес»,
компьютеры и «Шевроле»,
для вас я меняю бумагу на лес,
чтоб выжить на вашей земле...

За то, что, как шавка с утра за окном,
ползу я за вами, скуля.
За то, что земля вам — и крыша, и дом,
а мне она — только земля.
За рваные платья, за туфли в пыли,
за весь этот Золушкин бал,
за то, что вы пепел мне в душу трясли,
как будто в хрустальный бокал,
за то, что всегда ненавидела вас,
а ныне я с вами сдружусь,
за этот жестокий и пошлый романс,
которого я не стыжусь,

за то, что в стране, где равнина мертва
и пусто среди похорон,
я стану, как вы, бесконечно права,
как только возьму миллион...

Тогда мы станцуем на белых костях
тех, кто нас рискнет обвинить.
И будем сидеть друг у друга в гостях
и что-то заморское пить.
И стану я с вами своя и на «ты»,
нам будет цыганка плясать.
Я буду ей тысячи, словно цветы,
от нечего делать бросать...
И видит Господь, что я буду в раю
за то, что у вас не в долгу,
за то, что теперь расплатиться смогу
я даже за душу свою,

за то, что — черна, как последняя мреть, —
в пыли собирая гроши,
я в золоте не побоялась сгореть
и не пожалела души...

1990

* * *

«Пятого мая будут погромы...»
(слухи, 1990)

Убьют меня пятого мая.
Придут, постучатся, убьют.
Я буду лежать неживая,
нарушив домашний уют.

Я буду убита не пулей —
без боли, без слез, без вины, —
нет, нож,
что в живот мне воткнули,
наружу пройдет из спины...

Да я и жила, как умела:
все в небо глядела, рвалась.
И вот, наконец, полетела.
И вот, наконец, дождалась.

И вот, наконец, допросилась,
и в дом постучалась беда...

Но будет спасенной Россия
по смерти моей — навсегда.

Поднимутся древние храмы,
и добрыми станут сердца,
и те, кто убил меня, сами
допишут стихи до конца.

Да я и жила, как чужая:
все было мне холодно тут.
Пускай уж Россию спасают!
А может, и вправду спасут?

1990

* * *

Я снова прячу голову в крыло,
едва коснувшись правды этой
жизни,
где все вокруг стоит белым-бело,
как в хирургии или в коммунизме,
в которой нет неясностей и нет
ни черных клеток и ни белых
клеток.
Вокруг стоит стерильный белый
свет
и дым сухой от холода и света.

И просто все, и ясно: я стою,
ощипанная серенькая кляча,
на фоне солнца голову свою
в крыло свое ощипанное пряча.

Пока я прячу голову в крыло,
а физики подсчитывают числа,
поэт стихи слагает всем назло
про то, что нету никакого смысла.
«Пока не поздно, надо умирать», —
обычно пишут всякие поэты,
но мне уже наскучило играть
во все, во все, во все и даже в это...
Но мне уже наскучило играть
в «пока не поздно, надо умирать»,
в стихи, и в крылья,
и в больших поэтов,
которые слагают всем назло
стихи про то, что все белым-бело,
про то, что прячут голову в крыло,
и думают, что остроумно это..

* * *

И все-таки я так себя люблю!
Мне тут ни с кем не будет по пути.
До слез я в звезды вечером смотрю
и жду лишь приказания уйти.
Я притворяться больше не должна —
мне человеком все равно не стать.
Я вам никто: не друг и не жена,
не женщина любимая, не мать.

Куда меня дорога привела,
похожая на глинистую хлябь?
Я, честно притворяясь, в жизнь зашла
и даже телом торговать смогла б.
И душу мою, зыбкую, как снег,
добра не отличавшую от зла,
лепить могли, но я сказала «нет»
и между ваших пальцев протекла.

Теперь довольно. Срок настал уйти
назад, в долину детства моего,
туда, где мне не больше десяти,
где к смерти ближе, к жизни — далеко.
Я тут не понимаю ваших дел
и ваших глаз... Лишь ветер по ночам
все эти годы в окна мне свистел,
все эти годы тихо поучал:
усни, дитя, и всех во сне прости,
на большее тебе не хватит сил.
Гораздо легче просто крест нести,
чем... но рассвет ко мне уже входил,
и, до конца не выучив слова,
пытаясь за другими повторять,
я получалась чересчур жива,
а полагалось лишь себя сыграть.
...Я ухожу. И ветер свищет в зал.
Как пусто мне. Как страшно и легко.
Теперь я там, где не грозит провал,
где к смерти близко, к жизни — далеко,
вы можете теперь меня купить,
меня лепить, любить и презирать,
вы можете мне голову срубить,
но, как трава, она взойдет опять...
Но в душу мою белую, как снег
пустых вершин, нехоженых дорог,
теперь не забредет ни человек,
ни зверь, ни Бог...

* * *

Сразу по окончании школы
будут дочки мои в шляпах широкополых.
И на юбки нацепят большие булавки.
Эти строчки написаны мной для затравки,
потому что сейчас для какой-то проформы
я вовсю занимаюсь ломанием формы.
...Потому что задачи стоят деловые:
нужно дочкам надеть бриллианты на выи.
Если я не поддамся сейчас малодушью,
будут очи у них под французскою тушью.
Надо выбрать удачно площадку для старта,
надо быстро втереться в круги авангарда
и стихи: обеспечить и спросом, и сбытом,
чтобы детям жилось и одето, и сыто...

Так сижу, рассуждаю, собой восхищаюсь.
А тем временем снова в себя возвращаюсь.
И опять поднимаю избитую тему,
и опять сочиняю стихи про систему,
где мордастый герой с голубого экрана
«где-то как-то порой» изловил хулигана,
где стихи раздирают на мысли и форму,
где придумали школьную чудо-реформу,
где на окна нельзя не подвешивать шторы,
где и мне на глаза понавешены шоры.
Мне в судьбе моей серой досталось плохое:
не писать про любовь, а писать про другое,
чтоб однажды, когда я усну за машинкой,
ваши дети слагали стихи, как пушинки:
«в белом снеге зари
в январе на закате
в небо мчат фонари
в серебре и во злате...»

Понимаете? — я это тоже умею.
Но, вы знаете, я почему-то не смею.
Я пишу о другом, чтобы после метели
ваши дети писали, о чем захотели...
Чтобы смели потом, в январе, на рассвете,
говорить, что хотели, счастливые дети.

...Но как только наступит момент всепрощенья,
как в душе моей вспыхнет одно восхищенье,
потому что некстати, а может быть — кстати
каждый слесарь начнет разбираться в истмате,
на просторах страны под развесистым флагом
людям будут даны всевозможные блага:
на заводах, в полях, в институтах и школах
будут все в соболях, в шляпах широкополых...
Сборник выпустит каждый желающий дворник,
к выходным понедельник прибавят и вторник,
и, как будто французскими супердухами,
мир заблагоухает такими стихами,
где горят фонари и никто для проформы
не ломает свои содержанья и формы...

1985

* * *

Страна моя... пустынная большая...
Равнина под молочно-белым днем.
Люблю тебя, как любит кошка дом —
дом, только что лишившийся хозяев.

И странное со мной бывает чудо:
когда-то кем-то брошенная тут,
я чувствую, что не уйду отсюда,
когда и все хозяева уйдут.

Я буду в четырех стенах забыта,
где с четырех сторон судьба стоит.
И я, рожденная в космополитах,
смогу забыть, что я «космополит».
Я думаю об этом только ночью,
когда никто не сможет подсмотреть,
а днем я знаю совершенно точно,
что здесь нельзя ни жить, ни умереть.

Лишь в Час Быка, шарф намотав на шею,
как будто я совсем уже стара,
я на руки дышу, и чайник грею,
и быть могу с Россией до утра.
И мне легко, как будто век мой прожит,
как будто мне под восемьдесят лет...
Россия и беда — одно и то же.
Но выхода иного тоже нет.
И пуще гриппа и дурного глаза,
пока стоит великая зима,
ко мне ползет бессмертия зараза,
страшнее, чем холера и чума.
Она ползет, пережигая вены,
от пальцев к сердцу, холодя уста,
как будто я внутри уже нетленна
и речь моя пустынна и проста.
Как будто бы из жизни незаметно
ступила я туда, где воздух крут,
где все двуцветно (или одноцветно),
как жизнь моя, чье имя — долгий труд...

И лошади, бессмертие почуя,
остановились в ледяной степи...
Сон, Снег и Свет... И дальше не хочу я.
Любовь? Не надо никакой любви.
Плоть в камень незаметно превращая,
а душу — в то, чего нельзя спасти,
как вечный снег, страна моя большая
стоит по обе стороны пути.
И в этой замерзающей отчизне, —
уже не размыкая синих губ, —
мне все равно: гранитом стать при жизни
или до смерти превратиться в труп...

1985

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

Псалом

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЧЕТЫРЕХ КАЗНЯХ ГОСПОДНИХ

III

Для того чтобы принудить человека совершать необходимое, нужна чрезмерность. Чтобы существовало обычное, нужно стремление к великому. Но, чтобы человек понял великое, нужно это великое унизить... В городе Бор Горьковской области, бывшей Нижегородской губернии, свершилась эта чрезмерность, меченная Господом и униженная через третью казнь Господа — дикого зверя-прелюбодеяние... Жила в городе Бор семья Копосовых: отец — Андрей Копосов, мать — Вера Копосова и дочери их — Тася и Устя... И вот в какую притчу сложилась их жизнь...

ПРИТЧА О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ

Был 1948 год, время, когда все уже миновало. Миновали тяжелые военные страдания, миновали и светлые послевоенные радости. Это представление, что все уже позади, придавало тогда что-то старческое, степенное и чувствам, и облику. Даже надежды на будущее были какие-то старческие, все тогда стремились достичь довоенного, ибо военные разрушения вынудили мечтать о небогатом довоенном прошлом, как о богатом послевоенном будущем. Если в государственных планах о том было прямо указано, то в человеческих душах это стремление в своем будущем достичь прошлого, конечно, не было ясно спланировано, однако оно существовало и угнетало, ибо душа человеческая — не разрушенный завод и не пониженное по сравнению с довоенным производство тракторов.

Впрочем, в войну город Бор был тылом, хоть и тылом недалеким, однако разрушений в нем не было и гибели мирных жителей не было, в остальном же он полной мерой хлебнул ото всех четырех казней Господних. Немало было похоронных вестей, немало голода, немало болезней, немало и прелюбодеяний у оставленных женщин и подросшей молодежи. Славянская лихость тоже тут свое сказала. Махнет иная рукой на чужие упреки или на собственную совесть, как на надоедливую собачонку.

— А, война все спишет...

Однако Вера Копосова дождалась мужа и была верна ему. Трудилась на швейной фабрике, шила солдатские телогрейки, солдатские ватные штаны и на свои заработки и на денежный аттестат мужа растила дочерей — Тасю и Устю... Бывали случаи, приставали к Вере. Пристал к ней как-то даже сам Павлов, на которого и верные мужьям жены невольно поглядывали, что уж о тех говорить, которые решились вкусить наслаждений и не хотели себе более отказать. «Что раз, что десять... Война все спишет... Они-то там не теряются»...

Павлов этот был инвалид войны, но без внешнего увечья, с руками и ногами и со скрытыми под одеждой ранами. Лицом же был красив, глазами голубыми завораживал, усиками тоненькими возбуждал... Видела Вера, торопливо шли с ним всегда по улице женщины, быстрей хотели к себе затащить... А Павлов по матросской привычке никем не брезговал: ни несмышленой девочкой, которую соблазнил, ни сорокалетней вдовой, которая его соблазнила... Но к Вере Павлов пристал не оттого, что всякой женщиной готов был попользоваться, а оттого, что Вера была красивая и даже война не сумела ее сильно состарить... Не сам по себе пристал к Вере Павлов, как приставал он обычно к женщинам, а с гостинцами — платочком шелковым и свиной тушенкой в количестве двух банок, полученных, кстати, от сорокалетней вдовы, работника общепита.

— Вот, — говорит, — тебе... В часы досуга вспомни друга...

Случилось это вечером на улице Державина, неподалеку от дома № 2, где Вера проживала. И до войны фонари там не густо светили, а в войну вовсе темно. Тьма, как известно, мужчину возбуждает, и захотел Павлов воспользоваться этой тьмой сполна, тем более что лето было и неподалеку располагался заросший травой пустырь, где пригородные козы днем паслись.

Тогда, в войну, не в моде было давать настойчивому насильнику пощечину, и потому Вера ударила Павлова кулаком в нос, не по-женски это получилось, и, может, это отсутствие женского отбило у Павлова охоту повторить попытку. Только обругал он Веру матерно, курвой, прижал к носу платок и ушел, растратив мужские накопления, к вдове сорока лет, что в его 23 года было даже интереснее. И Вера пошла к себе в дом № 2, и радостная Тася подала ей долгожданный солдатский треугольник — конверт от Андрея... Так в радости и забылось это происшествие... Тася тогда подрастала и становилась все более на мать похожа. Вера начала уже ей и волосы, как себе, в одну косу заплетать. Устя же была еще маленькая. Но к осени 1945 года, когда вернулся с войны Андрей Копосов в орденах и медалях, Устя его уже самостоятельно встретила, не на руках у матери или сестры.

Все в целости застал Андрей Копосов. Жену в целости и без изменений, дочерей в целости и с приятными изменениями и даже деревянный верстак в углу большой комнаты застал в сохранности — и довоенная стружка под ним, умышленно не убранная Верой как напоминание о муже и отце дочерей. Помнил Андрей, что Тася любила играть этими стружками, теперь видит — и Устя, незнакомая дочь его, тоже играет стружками. И прослезился Андрей от радости. Каких еще удовольствий может пожелать себе солдат, провоевавший четыре года. Так в радостях минул остаток 45-го, в 46-м радость продолжалась, но уже начали замечать голод, в 47-м году голод усилился, и начали мечтать о предвоенной сытости, которая тогда сменила голодные годы коллективизации... Чем больше уходило времени, тем больше мечтали о прошлом предвоенном... В 48-м голод несколько минул, но одновременно минули и последние послевоенные радости и установилось то старческое в чувствах и облике, о котором уже говорилось. Спокойней и скучнее стало жить. На танцплощадке в городском саду заиграли отечественные лирические вальсы, и трофейные немецкие аккордеоны больше не надрывались в низкопоклонстве перед фокстротами Запада. Молодежь по-довоенному играла в фанты, но без поцелуев. И даже пьянство, которое испокон веков по славянской традиции было свободным, уличным, ныне в большой степени стало квартирным.

Тася Копосова к тому времени почти в невесты выросла, полностью обрела материнскую довоенную красоту и тяжестью русой косы уже матери не уступала, хоть и мать ей тоже косой своей, из пахучих золотистых волос сплетенной, не уступала. И мать, и дочь были в расцвете. Мать — в женском, дочь — в девичьем. Глядя на жену, еще более любил Андрей Копосов дочь, а глядя на дочь, еще более тянуло его к жене, к сбереженному для него в войну телу ее.

Однако тут и начинается притча, ради которой по велению Господа явился в город Бор Горьковской области Антихрист. Всюду присутствует третья казнь Господня, ибо даже сам Господь не волен отменить ее, как может он отменить самую страшную первую казнь свою — меч, или вторую — голод, или четвертую — болезнь... Третья казнь Господа — прелюбодеяние — тенью следует за человеком, и, лишь убрав предмет, можно убрать тень его... Но если везде присутствует третья казнь Господа, то в этой притче она поставлена во главе угла...

Всю войну берегла себя ради мужа Вера, а прожила с ним послевоенный год и невзлюбила... Может, и общее старчество сказалось, общее невысказанное чувство, что все позади — дурное и хорошее. Даже великий че-

---

Продолжение. Начало см. «Октябрь» №№ 10, 11 с. г.

ловек — раб своего времени, а Вера Копосова тем более была простая женщина, в прошлом очень красивая, сейчас тоже красивая, однако посторонний прохожий на нее б не обязательно оглянулся, как прежде. Оглянулся бы на нее обязательно один лишь Андрей Копосов, если б он был посторонний прохожий. А Вера его невзлюбила. Причем была у Веры к Андрею, мужу своему, чисто женская неприязнь, которой даже не поделишься, и стыдно порядочной женщине рассказать кому-либо...

Андрей, как и до войны, работал в горкомхозе плотником, а вечерами и в выходной день у верстака строгал, делал из дерева квашонки, лагушки для масла растительного, маслобойки, ложки, солонки... В доме хорошо свежей стружкой пахнет. И обе дочери возле отца стружкой играют — младшая Устя и старшая Тася, хоть Тася уже в невесты годилась. Любили дочери отца, и звали они его «тятя», как он их обучил... Ибо он был из тех мест, где отцу «тятя» говорят... Наделает во множестве деревянных изделий Андрей и несет их на местный рынок продавать или даже в Горький едет... Оттуда муку привозит и прочие продукты. Вера его всегда проводит, и встретит, и вкусно накормит, и в квартире приберет, и постирает... А как вечером спать с ним ложится, чувствует, хоть убей, не может... Когда начинается промеж них ночное дело мужа с женой, как будто насилуют ее... Женское удовольствие — уж шут с ним, но хоть бы не так противно было... Хоть бы полежать в безразличии, пока Андрей мужское свое удовлетворит и уснет... Как уснет Андрей, всегда старалась Вера на лежанку перебраться к дочерям. Лежанка дочерей была широкой, на троих хватит... И почувствовал Андрей ее женское отвращение к себе, хоть она ему ни разу даже словом не намекнула. Но в таком деле слова лишние... Начал Андрей сперва грубить, а потом и бить жену. Первый раз побил, когда вернулся из Горького без муки и других продуктов, однако сильно выпивший.

— Мне, — кричит, — добрые люди рассказали... Ты, курва, здесь в войну с Павловым...

И сказал при дочерях откровенно матерно, что она тут с Павловым в войну делала... И забушевал после этого, как в городе или пригородной слободе выходцы из деревни бушуют.

В деревне, особенно в прежние времена, крестьянин по-иному бушевал, он живое смертным боем бил, а имущество берег, поскольку живое само себя возродить может, а имущество рожать не умеет... Но Андрей послободскому бушевал, по-пригородному. И Веру за косу потащит, и по посуде пройдется, и лежанку плотницким топором ударит... Был случай, Устю до смерти напугал — гонялся за ней.

— Это от Павлова, — кричит, — я ее убью...

С тех пор, как забушует Андрей, Вера сразу дочерей хватает — и из дома, к соседям ночевать. Была семья хохлов Морозенко по Державина, 8, к которым чаще всего Вера с дочерьми уходила. Правда, верстак свой, которым хлеб и водку зарабатывал, Андрей не трогал, не бил, перед верстаком помнил себя. И перед старшей дочкой Тасей помнил себя. Потому Тася перестала уходить с матерью, когда отец бушевал, а оставалась с ним и успокаивала.

— Прилягте, — говорит, — тятя, выпейте рассольчику, легче станет.

Буян в России всегда горазд плакать, когда дело свое закончит, — покалечит кого-либо или убьет. Тогда сердце его сразу отходит от напряжения, ребятеночком становится — пожалейте меня, люди добрые... И жалели. Один знаменитый русский литератор увидел в этом вообще ценнейшее национальное качество. Однако Андрей в присутствии старшей дочери мог, и не выполнив дела, впасть в умиление подобного рода.

— Ты, — говорит, — моя кровушка, ради тебя я с войны вернулся, а не ради подлой матери твоей. Ради тебя не на смерть убил меня снаряд под городом Корсунь. Ради тебя в Польше мне мина только небольшое ранение причинила. — И начинает он Тасе косу расплетать и сплетать. Плачет и целует ей косу.

— Такая, — говорит, — коса у твоей матери была, когда мы поженились.

Но в присутствии Веры Тасе никогда пьяного отца успокоить не удавалось. Видит Веру — звереет. И Устеньку не любил.

— Это не моя кровь! — кричит. — Это на стороне прижитое...

«О, Господи, — думает Вера, — хотя бы сам на стороне он себе бабу завел... Я б уж как-нибудь ради детей рядом мучилась, только б не трогал меня». Прислушивалась с надеждой Вера, что соседи говорят. Но, хоть неодобрительно они об Андрее отзывались, ни разу не слышала Вера, чтобы кто-либо сказал о его распутстве. И это несмотря на то, что уж давно он с Верой как с женой не жил. Про ее, Веры, распутство были слухи, что она, мол, с Павловым, а про Андрея говорили только, что он пьет и бьет жену, измывается над детьми...

Так и шло время, и привыкли все к такому положению. Андрей привык к тому, что жена у него распутная, Вера — что муж ее пьяница и буян, а соседи — что семья Копосовых несчастная и непутевая. До того привыкли, что Вера даже приметы знала, когда Андрей сильно забушует, а когда успокоится. Перед новолунием сильно бушует, а в новолуние передышка. Потому молила она Бога, ибо, как началась у нее эта адская жизнь, начала она вспоминать Бога, хотя в церковь не ходила, молила Бога, чтоб выходные дни перед новолунием выпадали. Тогда отвозил в Горький Андрей деревянные изделия и выручку там со знакомыми пропивал, на день-другой задерживался. Возвращался он оттуда угрюмый, тихий. Если через какое-то время и начинал буянить, то буянил не беспредельно. Веру пробовал бить, но Устеньку не пугал и имущества не трогал. Одно было у Веры теперь удовольствие, кроме дочерей, конечно. В хороших местах она жила и любила свою родину, город Бор... Место рыбное, грибное, ягодное... Даже и при женской ее беде возможен здесь повод для радости... Заметила она, что Тася последнее время с осуждением на нее посматривает и к отцу привязывается, зато Устенька, которую отец не любил и не разрешал теперь играть возле верстака стружками, теснее к матери липла. Вера по-прежнему на швейной фабрике работала, шила не солдатские ватники, а хлопчатобумажные безликие тужурки синего и серого цвета для всеобщего пользования. А как выходной, Вера с Устенькой в лес... Сколько там удовольствий разных. И на вкус можно попробовать удовольствия, и послушать, и посмотреть... Лесным воздухом Вера была вспоена, лесным воздухом Устеньку, свою любимицу, думала вспоить. Недаром же город назывался Бор, что по-славянски значит — лес... «Тася меня осуждает, — думает Вера, — она отцова дочка, а Устенька — мой единственный родственник теперь»... Однако боялась она, чтоб Андрей в буйном пьянстве с Устенькой чего не сотворил, как грозил он...

Однажды в воскресенье — начало было зимы, и в лесу особенно пахуче — решила Вера Устеньку с собой забрать на лесной воздух, а ее нету... Звала, звала — нету... Кинулась в дом. Андрей у верстака работает, угрюмый, но не пьяный. Тася с ним рядом сидит, стружку подбирает.

— Устю не видели? — с волнением спрашивает Вера.

— Не видели твоей Усти, — угрюмо отвечает Андрей, — не нанялся я за твоими грехами бегать, стеречь их.

А Тася говорит:

— Она к старухе Чесноковой пошла.

— Какой еще Чесноковой? — продолжает волноваться Вера.

— Той, у которой евреи живут, — нехорошо улыбается Андрей. — Так что, может, ты не от Павлова, а от еврея ее прижила...

Тут вспомнила Вера, что действительно где-то в тридцатых номерах живет старуха Чеснокова, про которую говорят, что у нее евреи на квартире, отец и дочь...

В городе Бор как при нахождении его в составе Горьковской области, так и при нахождении его в составе Нижегородской губернии по улице Державина, и по другим улицам, и по иным городам иных областей, прежних губерний, сидели и сидят на завалинках, на скамеечках у маленьких домиков или у подъездов многоэтажных домов часовые нации, корявые корни народа, широкоплечие, крытые до лба пуховыми платками старухи, бывшие роженицы ширококостных сыновей. <...> «Мы, — говорят они безмолвно одним лишь видом своим, — здешние... А вы откель будете?»

Таким образом и стало известно всей улице имени Державина, великого российского поэта, некогда благословившего Пушкина, что у старухи Чесноковой, староверки, проживают евреи, — отец лет тридцати и дочь лет восьми. Причем дочь не сразу определишь, приглядеться надо, а по отцу

с первого взгляда видно — еврей... Вера тоже о том слышала, однако не придала тому значения и забыла в горестях. Теперь же подумала об Усте: «Я ей дам шляться без спросу куда попало, мало, что ли, и так о нашей семье дурного говорят».

Старуха Чеснокова жила в маленьком домике одиноко, после двух убитых на фронте сыновей и умершего старика. Про нее сообщалось: то ли она староверка, то ли субботница. Вера ее изредка видела, но не кланялись они друг другу. Приходит Вера к дому номер тридцать по улице Державина, стучит. Отпирает старуха.

— Устя моя у вас? — сердито спрашивает Вера, точно старуха перед ней в чем-то виновата.

А старуха Чеснокова отвечает не в тон ей, наоборот, ласково:

— У нас, милая, у нас... Патефон слушает. Ты проходи...

— Чего мне проходить, — говорит Вера, — позовите Устю, домой пора. — И не выдержала, невольно вырвалось: — Нашла себе подружку. Точно среди русских мало подружек...

— Чем же плохая? — говорит Чеснокова. — Руфа — девочка с воспитанием, старших почитает, отец у нее непьющий...

И вдруг, сама почему не знает, захотелось Вере глянуть на евреев, к которым ее Устенька повадилась. Отряхнула она снег с полушубка.

— Ладно, — говорит и полушубок в передней снимает.

Звходит Вера в комнату, где патефон играет, и видит, сидит за столом ее Устя рядом с белесой девочкой, на которую никогда не подумаешь, что еврейка, если б не сказали. А отец девочки уж точно еврей, однако что-то в нем непривычное... В городе Бор евреев нечасто встретишь, хотя в городе Горьком их достаточно. Устя увидела мать, вскакивает и говорит:

— Это мать моя... А это Руфина, подружка моя... А это ее тятя...

Глянула Вера еще рвз на «тятю Руфины» и опять понять не может, что ж в этом еврее непривычного... Чем Вера чаще смотрит, тем почему-то страшней ей становится, а чем страшней ей становится, тем сердцу все более сладко...

И верно, Дан, Аспид, Антихрист, к тому времени приобрел облик зрелый, и библейские черты его полностью определились. Хоть волосы его тронуты были преждевременной сединой после того, что пришлось ему повидать и исполнить, но на нынешнем земном пути своем он достиг наиболее мужского. Что же такое мужское в Антихристе, не дай Бог знать какой-либо женщине. Нет, не разврат это явный и не разврат это тайный — затворничество, ущемленность. Не сатана в нем соблазняет. Это когда в мужском сила Божия, как в природных явлениях, — вот что увидела и почувствовала, но не поняла разумом Вера... А сила, не понятая разумом, всегда особенно страшна. И от женского своего страха стала Вера нехорошо суетлива.

— Что это за музыка у вас такая, — говорит, — мне непонятная?

— Это еврейская пластинка, — отвечает Дан, Аспид, Антихрист.

— Вот как, — говорит Вера и смеется торопливо как-то, как пьяная баба на ярмарке, — а нельзя ли русскую пластинку поставить, поскольку я еврейскому не обучена.

— Можно и русскую, — отвечает Дан, Аспид, Антихрист, и поворачивается к дочери. — Руфь, принеси из комода частушки.

Вдруг Руфина, она же Пелагея, хоть это ни ей, ни Антихристу неизвестно, меняется в лице, и добродушно деревенский облик ее, уроженки села Брусяны под городом Ржевом, приобретает страсть истинно южную, сухую, доступную лишь девочкам, рано созревшим.

— Пусть, — говорит Руфина, — Устя ваша убирается, не буду я больше с ней водиться.

Тут старуха Чеснокова всполошилась, начала Руфину ругать:

— Бесстыжая, да чего ж ты перед людьми отца своего позоришь?

И отец, Антихрист, тоже спрашивает, но без крика, тихо, и дочери в глаза смотрит:

— Что с тобой, Руфь? — поскольку знал он ее как девочку ласковую, мягкую, добрую. Словно подменили ему ребенка.

Но Руфь вместо ответа повернулась спиной и в соседнюю комнату вышла.

— Ладно, — говорит Устя, — подумаешь, зануда... Я с ней тоже играть не буду больше. Пойдем, маманя...

В полной растерянности вышла от старухи Чесноковой Вера следом за дочерью... Чувствует, мало ей было старой беды, новую на дороге подобрала.

И у Антихриста в семье после незваной гостьи тоже многое переменилось. Надо заметить, любил Антихрист приемную дочь свою, как может любить детей своих только тот, кто обучен вековечной любви к Творцу своему Господу. Потому так любят у евреев детей, хоть и не осознают часто причины, поскольку любовь к Творцу у народа Авраама не столько религия, сколько прежде всего национальный инстинкт. С собственными же инстинктами у человека отношения не простые, часто основанные на непонимании, случается, и научно-философском, или на отрицании, конечно, бессильном. Потому среди многочисленных отрицателей Господа евреи выглядят особенно фальшиво, и среди талантливых атеистов евреев мало, а все больше остроумной, ветреной французской сатиры. Еврей-атеист, как правило, или бездарен, или непоследователен. Однако даже те из евреев, что отрицают Господа, в бытовом своем живут Господним, и великий национальный инстинкт любви, которой они обучены через Господа, проявляется в еврейских матерях и отцах, в их религиозной любви к своим детям. Что ж говорить о посланце Господнем, Антихристе, человеке к тому же одиноком? Он полюбил бы всякого ребенка, растратив до конца то немногое, что оставалось у него от любви к Господу. Однако дочь он любил несколько более, потратив даже толику от своей любви к Господу, ибо разумный отец всегда чуть-чуть более любит дочь, чем сына. Руфь-Пелагея, конечно, тоже любила своего отца, и дочерняя любовь ее после посещения незваной женщины нисколько не уменьшилась, хоть стала более нервной и задумчивой. И менялась теперь Руфь быстро в чувствах своих.

Как-то приходит Руфь из школы веселая, возбужденная.

— Отец, — говорит она Антихристу, — хорошо на улице сегодня, снег такой.

И верно, большие хлопья падали в безветрии тяжело и мягко. Схватила Руфь глубокую тарелку и выскочила во двор снежинки ловить. Потом возвращается, поставила мокрую холодную тарелку на стол и вдруг говорит:

— Отец, где вы меня взяли?

За всю их совместную жизнь никогда Руфь такой вопрос не задавала, а тут задала. Всякий родитель может услышать такой вопрос от своего ребенка, хоть не для всякого ребенка, особенно девочки в подобном возрасте, это остается вопросом.

— Однажды, — отвечает Дан, Аспид, Антихрист, дочери своей, — был на улице сильный, сильный мороз, дул сильный ветер. И слышу я, кто-то плачет. Вышел на улицу — никого. А потом опять плачет. Посмотрел вверх — ты на дереве сидишь...

Улыбнулась Руфь, но как-то печально, села к отцу поближе, прижалась к нему и говорит шепотом:

— Эта женщина, которая приходила, это была моя мама...

— Да что ты, Руфь, — говорит Антихрист, — твоя мама в немецком эшелоне умерла... А это Устина мама.

— Нет, — отвечает Руфь, — я пригляделась. У нее глаза, как у меня, и волосы... Но ты, отец, не бойся... я только тебя люблю, а ее я ненавижу...

— Это тоже нехорошо, — говорит Антихрист, — за что ж ты ее ненавидишь?

— Она на тебя плохо смотрела, — говорит Руфь, — а раньше она добрая была... Помню, как она сбивала масло, стучала бутылкой с молоком в подушку...

С тех пор начал Антихрист тревожно посматривать на дочь и старался ее далеко от себя не отпускать. Да и она его старалась держаться... Отводил теперь Антихрист дочь в школу и забирал из школы, и всюду они ходили вместе к своей взаимной радости.

А у Веры с того дня радости вовсе не стало, даже самой малой. Раньше все ее помыслы и силы уходили на то, чтобы избежать в ночное время мужа, ибо днем она научилась его избегать. Нынче обратилась ее

страсть разом и до конца на то, чтоб отдать себя еврею, с ним исторгнуть все залежавшиеся женские силы, ибо она знала, что еще крепка в женском, и даже после двух родов по-прежнему упруг ее живот, по-прежнему сладко в ней то, по чему сохнет и звереет от недоступности муж ее Андрей Копосов. Бил теперь Андрей Веру реже, надоело ему, видать, и чем более он от жены отдалялся, тем больше привязывался к старшей дочери Тасе, привозил с ярмарки гостинцы и любил вечерами в углу своем у верстака, когда не работал, расплетать и заплетать ей косы. Менее буйной стала жизнь Копосовых, но не менее дикой и мучительной... Когда не работала Вера, то ходила сама не зная куда, ибо неподвижной быть ей стало трудно, и более всего она боялась телесного покоя, поскольку в покое начиналось главное терзание. Стелила она себе на полу у печи и маялась до трех, до четырех, пока не засыпала коротким предутренним сном.

Раз, в особенно тяжкую ночь ранней весной и перед новолунием, решила Вера пойти сама к старухе Чесноковой, однако не могла она без предлога. Утром, собирая Устю в школу, говорит Вера:

— Доченька, ты сходи после уроков к Руфине, а я тебя оттуда приду забрать.

— Еще чего, — говорит Устя, — я больше с Руфиной не вожусь. Сергеевна говорит, что они евреи и что у них денег много.

Сергеевна была скуластая коротконосая старуха, которая караулила по улице Державина возле дома номер семнадцать и оттуда предупреждала всякого своим внешним видом: «Мы здешние, а вы откель?»

— Ты чего Сергеевну слушаешь, — говорит сердито Вера, — она старая, Сергеевна. Ты лучше слушай, чему тебя в школе учат.

— А в школе на Руфку тоже такое говорят, — отвечает Устя, — что у нее денег много и что отец у нее космополит.

Тут и Тася слово вставляет.

— Тятя не велит туда ходить.

— Ах вы такие-сякие! — разозлилась Вера. — Все тятя да тятя... Мать для вас ничего... Кто вас в войну воспитал, выкормил?..

— А тятя нас защищал, — говорит Тася, — у него три ранения и правительственные награды.

— Хоть бы и десять ранений, — в злобе говорит Вера, — кто ж ему право дал так издеваться, и бить, и пьянствовать?..

— Он от тоски пьянствует, — говорит Тася, — поскольку любит тебя. Вообще это не при Усте разговор... Иди, Устя, в школу... И нам с тобой, маманя, пора.

Тасю Вера тоже устроила на фабрику ученицей в швейный цех. Как ушла Устя в школу, Вера говорит Тасе:

— Ты чего ж меня перед дитем позоришь? Тебя у меня отец отнял, так и Устю у меня отнять хотите? Теперь хорошая Устя, а раньше — чужая кровь... На стороне прижила... От Павлова...

— Я уже говорила, — отвечает Тася, — это тятя от тоски так. Любит он тебя, маманя.

— Вот что, — все более сердится Вера, — сопли ва ты еще об этом рассуждать, ты еще пока дочь мне и обязана слушать меня. Разве это по-людски — так к соседям относиться? Разве ты Сергеевна, старуха?.. Тебя в школе чему учили?.. Тебя дружбе наций учили... Разве ж соседи наши виноваты, что они евреи, разве по доброй воле от себя они евреи?.. Совесть иметь надо. Если вы с отцом Устю туда не пускаете, так сама пойдешь, навестишь... Попросишь у Чесноковой узор для вышивания... Хороший у Чесноковой узор на подушечках для дивана, как я заметила...

— Хорошо, — говорит Тася, — ежели вы, маманя, так хотите, я зайду. А Устю туда посылать не надо, Устя еще дите.

После работы мать и дочь приходят к дому номер тридцать по улице Державина, где Чеснокова живет. Вера стучит в калитку, а Тася, дочь ее, стоит в сторонке. Так и далее Тася все время в сторонке держится, и видом своим, и действительным поведением. Вера, мать ее, от лихорадочной страсти, от мысли, что увидит того, к кому стремится и днем и ночью, шумная стала, суетливая. А Тася все в сторонке, молчаливая. Увидела Вера квартиранта Чесноковой, еврея, чуть не помутнело у нее в голове, еле на ногах удержалась, пересилила себя и, вместо того чтобы у Чесноковой узор для вышивания подушечек попросить, говорит развязно, точно гуляющая она, точно не сберегла себя в войну, когда молодой была, и не жила лишь вестями с фронта от мужа да дочерьми, иных радостей не признавая:

— Здрасьте вам... А мы пришли с дочерью патефон послушать, не прогоните? — И смеется без повода, как смеются гулящие.

— Садитесь, — говорит Антихрист, — сейчас Руфь вам русские частушки из комода принесет.

Идет Руфь к комоду и приносит молча русские частушки, только бледная вдруг стала. И старуха Чеснокова, которая через щелку дверную из своей комнаты подсматривала, вздохнула тяжело.

— Ох, что будет. Господи, пронеси и спаси! — И перекрестилась, не щепотью, которой только соль из солонки брать, а двумя перстами, по-людски.

Вера меж тем платочек батистовый из кармашка достает, стул отряхивает и говорит Тасе, стоящей в сторонке:

— Садись, Тася, я тебе от пыли стул отряхнула, а то на тебе платье новое. — И опять сама себя развеселила, засмеялась.

Тася ни в чем матери не перечит, опасаясь новых неловкостей с ее стороны, и садится на стул, покраснев лишь от глупого поведения своей матери. А когда покраснела, красота ее, нежная еще, не измученная жизнью, как у матери, вся в полной мере обнаружилась. Увидел эту нежную красоту ее Дан, Аспид, Антихрист, и странно забилось его сердце, так что он даже удивился своему состоянию. Ибо, будучи посланцем Господа, он знал лишь Божью любовь, любил дочь свою Руфь Божьей любовью, какой отец любит дочь или брат сестру. Но что такое людская любовь, Дан, Аспид, Антихрист, на себе не испытал еще, хоть обучен был, конечно, истине — все доброе у людей есть Божье, униженное для людского постижения... Поскольку лишь грехи человеку по мерке его. Значит, и любовь людская есть унижение Божьей любви. Причем если Божья любовь от вечности — широка, покойна, крепка и неизменна, — то людская любовь от мгновения: тороплива, нервна, удивительна и красочна.

Посмотрела на Дана, Аспида, Антихриста, Тася, увидела его библейский облик, и тоже ощутила биение своего сердца, и не удивилась этому, хоть подобное с ней тоже случилось впервые... Девичьей наивности всегда свойственна в любви ясность. Так и сидят они: Антихрист встревожен и удивлен своим состоянием, Тася встревожена и не удивлена своим состоянием, Руфь не по-детски бледна, старуха Чеснокова у себя в комнате возле дверной щелки вздыхает на табурете, крестится по-староверски, патефон смеется и визжит воронежские частушки, и Вера тоже в такт ему смеется и визжит да еще и в ладоши хлопает. Вдруг вскакивает Вера со стула, лицо, как у Таси, пунцовое, но не от смущения, а от женского возбуждения, по-русски, по-свадебному каблуками по полу посыпала, посыпала, точно горох из мешка, руки разбросала, вот, мол, как широки просторы наши... Степи, да леса, да реки... Вы в Сибири еще не бывали? Там вообще без конца, без края... И все это заселила русская женщина. А чтоб такие широкие пространства заселить народом, хорошо свое дело надо знать. В двух случаях женщине хорошо свое дело надо знать — когда народ постоянно истребляется и нуждается в пополнении и когда народ живет на слишком больших пространствах, нуждающихся в заселении... В таких случаях от женщины требуется хорошее мастерство... Сладкое мастерство, ягодное, медовое, молочное, ибо в женской удали спасение народа...

Конечно, ничего этого не говорилось, и даже не все это думалось, однако все это было в удалом женском танце, на который способна русская женщина. Со страстным бесстыдным визгом, напоминающим женские стоны в момент наивысшего телесного наслаждения, широко раскинув руки, как от излишнего жара на лежанке, неслась Вера под воронежские лихие частушки, и неожиданно прильнула она к Дану, Аспиду, Антихристу, схватила и литой, хоть вскормившей двух дочерей, поющей, щекочущей собственную плоть грудью своей вонзилась в тело его.

— Составьте мне компанию на танец, Дан Яковлевич.

Вдруг Руфь, она же Пелагея, девочка, приемная дочь Антихриста, вовсе последней кровинки в лице лишилась, крикнула по-деревенски, по-кликушески и упала без чувств. Сразу старушка Чеснокова из своей комнаты

выбежала, патефон остановила, кружку с водой Антихристу подает, который в испуге над дочерью склоняется.

— Пойдемте домой, маманя, — тихо говорит Тася.

Вера, смущенная происшедшим и горячая от танца, стоит тяжело дыша и говорит сквозь это тяжелое дыхание истинно по-русски:

— Может, я чего не так сделала? Может, повиниться надо?..

— Не надо ничего, — говорит Тася, — не до нас здесь теперь, пойдемте, маманя.

Вышли не попрощавшись из возбужденного ими дома Вера и Тася, пошли, каждая о своем думая. А ранней весной вечером перед новолунием думается особенно широко, как и дышится. Снегом талым пахнет, и деревья по сторонам, точно роженицы... Зелена улица Державина, когда лиственной ветви разрешатся, недаром лес рядом, и в тени деревьев уж в иной тогда униформе располагаются старухи-караульщицы: в белых платочках, в байковых халатах. Ныне же, ранней весной, они еще зимнюю форму не сменили, кто победней — в ватнике, кто побогаче — в пальто-салопе с лисьим воротником. Чуть слышат часовые нации шаги во тьме, вглядываются, шепчутся, безмолвно произносят видом своим пароль: «Здешние мы, а вы откель?»... Уж не Копосовы ли идут? Семья непутевая... Сам пьет и буянит, она падшая, а дети чему могут научиться? Вот Вера с дочерью идет так поздно. Откель? Уж не из тридцатого ли номера, где у Чесноковой евреи живут?

Так, окликаемые безмолвными патрулями старух, дошли мать и дочь до дома своего номер два, в самом конце улицы. Андрей не пьян, но выпивши, и хотел было раза два ударить Веру за позднее возвращение, однако, увидев с ней Тасю, бить не стал, лишь глянул волком.

Собрала Вера поужинать. Сама же ужинать не стала, прямо спать легла у печи, так что Устю Тася спать уложила вопреки обычному, ибо всегда Вера свою любимицу спать укладывала. Так устала Вера, такое безразличие к окружающей жизни почувствовала, что уснула мгновенно, вопреки убеждению, что промучается с бессонницей...

С тех пор заметила она в Тасе, дочери своей, перемену, которую матери и женщине понять нетрудно. Сперва точно нож острый ударило это понятие ей в сердце, а после, поразмыслив, нашла Вера эту перемену даже весьма кстати. Ибо в безмерном женском безумии женщина всегда хитра и расчетлива. Еще со времен Эдема женщина неудержима в безумии своем. Недаром первенцем Евы был Каин. И недаром Ева пошла неудержимо к соблазнам змея, и недаром Господь сказал ей:

— Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою...

Адаму же сказал:

— За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедовал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься...

Так женское безумие и женская неудержимость легли в основу самой жизни человеческой, когда изгнан был грешный человек из рая и проклят на труд... Когда же пошел человек от Божьего на собственный хлеб, то вместе с ним была и жена его Ева, что означает в переводе с библейского «жизнь»... Таким образом, если в основе человеческой истории, начавшейся изгнанием из рая-Эдема, женское безумие и само имя жизни равноценно имени женщины, то может ли что-либо остановить женщину в ее безоглядном женском желании? Вот еще почему так сильна, неудержима третья казнь Господня — прелюбодеяние... Женщина в казни этой — палач, даже если сама она в этой казни гибнет...

Поняла Вера Копосова, что только через любовь дочери своей, перед которой еврей бессилен, ибо он тоже любит, можно достичь своего... Поняла и хитрое это свое неудержимое женское безумие до поры до времени затаила...

Меж тем пахучая приволжская весна кончилась, наступило молодое лето, расцвел лес, начался ягодный сезон. Замечает хитрая женщина, что дочь ее Тася последнее время, хоть по-прежнему позволяет угрюмому отцу своему ласкать себя, расплетать и заплетать косу, как в молодости расплетал и заплетал он Верину косу, однако ласки отца воспринимает уже более замкнуто. «Самое время теперь», — думает.

— Тасенька, — говорит, — сходи в воскресенье на вершинку, — так здесь называли верхушку оврага, поросшую лесом, — сходи, Тася, на вершинку, малина поспела, отцу отвар свежей малины для его раненой груди необходим. Я б сама сходила, но занята в цеху, подменяю за весенние отгулы, когда Устенька болела. Сходи, иного дня не выберешь, и общипают свежую малинку, не достанется нам.

— Ладно, — говорит Тася, — пойду.

Несмотря на возраст невесты, была она послушна в обычном, хоть в чрезвычайности могла и возразить отцу с матерью, если чувствовала их неправоту. Однако здесь какая неправота — посылает маманя в лес за малинкой для раненного на фронте тяти. Наоборот, обрадовалась даже Тася — может, у маманя с тятей наладится любовь.

— Ладно, — говорит, — пойду.

«Теперь в дальнейшем не прогадать бы», — думает хитрая в безумии своем мать. И направляется она, позабыв стыд, к дому номер тридцать по улице Державина, где ранее натворила делов позорных... Неласково встречает ее на этот раз старуха Чеснокова.

— Чего надобно? — спрашивает и на пороге останавливает, в дом не пускает.

Однако замечает Вера, что предмет ее страсти, еврей, неподалеку на крыльце вместе с дочерью ягоду перебирает.

— Бабушка Чеснокова, — говорит Вера, — вижу я, вы уже в лесу побывали за ягодой... Не на вершинке ли? Мне ягода позарез нужна, поскольку муж у меня раненый, и ему молодая ягода необходима в виде отвара.

— Что ж, сходи, — отвечает Чеснокова, — на вершинке ягоды видимо-невидимо... Урожайный, ягодный этот год.

— В том-то и беда, — отвечает Вера, — что занята я, работаю в воскресенье и потому должна дочь свою Тасю одну на вершинку послать. Место отдаленное, а девушка молодая. Страшно ей одной, и мне за нее страшно. От вас никто к вершинке не идет?

— Нет, — отвечает Чеснокова. — Мы уже были, вон ягоду перебираем. Да и чего бояться? Последнего медведя года три назад видели. Постреляли шибко медведей, и они в чащу ушли, подальше от людского.

— Медведей-то постреляли, — отвечает Вера, — но лихой человек, он целый. Лихой человек девушке пуще медведя страшен. Пристанет кто. Не дай Бог, Павлов пристанет.

А Павлов был по-прежнему в городе Бор фигура заметная, и им, как чертом, пугали матери молодых девушек, которые погулять рвались подальше: «Ужо, поди Павлов тебя поймает».

В одном Павлов изменился: если в войну он никакой женщиной не брезговал, то ныне только на девушек молоденьких поглядывал, и говорили даже — на девочек малых девяти-десяти лет, которые в этом возрасте попышней, покрупней и поярче, ибо самому Павлову было под тридцать... Однако все ему сходило с рук, поскольку друзья-фронтовики, занимавшие в городе ответственные посты, его выручали. Таков был слух. Но ропот на безобразника тоже был. Как-то разнеслось: попался Павлов с поличным на насилии — сидит... Два-три дня прошло, смотрят — опять ходит по главной улице возле кино и в парке возле танцплощадки Павлов в матросском бушлате, пьяный, крепкий, красивый, хоть и несколько обрюзгший, и к девушкам пристает, драки затевает... Роптали отцы и матери молодых девушек, и написали они в местную газету «Борская правда» письмо. Задумались в газете. С одной стороны, надо отвечать на пожелания трудящихся, а с другой, как бы не обидеть покровителей Павлова. И тогда прибегла газета «Борская правда» к испытанному приему, вспомнила о существовании художественной литературы, с которой взятки гладки, поскольку занимается она не конкретными фактами, а общими, всесоюзными или иногда всемирными явлениями. Лучшая же форма подобных обобщений есть стихи. Кстати и стихотворец нашелся, согласно утверждению Маркса, что спрос порождает Рафаэлей. Конечно, стихотворец этот Рафаэлем не был, но зато местный он, родился и вырос в семье простого рабочего газифицированной котельной центральной борской больницы. Мать по профессии —

бухгалтер. Стихотворец этот с фамилией Сомов, русский по национальности, мечтал об учебе в московском Литературном институте, пока же самостоятельно развивался в двух направлениях — лирики и сатиры. Сатирой, между прочим, больше увлекался. Так, выщучивал он свою рыбную фамилию и заодно остальные рыбные фамилии. Сомов, мол, в наличии, Ершов, Пескарев, Карпов, Окунев, Щукин, а Стерлядев, Севрюгов — такого не встретишь, слишком дорогие фамилии... С подобной биографией и с подобным направлением способностей в самый раз пришелся Сомов «Борской правде». И удовлетворил он ее спрос... Во-первых, изменил место действия — из города Бор перенес в город Москву, куда и сам давно стремился. Во-вторых, фамилию Павлов заменил фамилией Прохоров, а имя Степан именем Иван. Идя по проторенному пути греческого баснописца Эзопа, написал нечто вроде сатирической басни, которая начиналась так:

Среди московских инвалидов
Был некий Прохоров Иван.
Был этот Ваня индивидум,
Который недостоин ран,
Полученных в бою суровом за власть Советов...
Но о том мы речи поведем потом.
А ныне слушайте...

И далее перечислялись в стихотворной форме все безобразия, совершенные Павловым.

Первый удар Сомову нанес Павлов, который не был обманут эзоповским языком. От второго удара Сомов убежал, перескочив через забор парка у танцплощадки. Однако третий удар от местного отдела агитпропа был неотразим, тем более что Сомов рассчитывал взять в агитпропе характеристику для преодоления конкурса в московский Литературный... Сомов слышал, что конкурс в Литературный институт в основном создают евреи, а если ты русский и у тебя характеристика, то все права в твою пользу...

Агитпроп вынес обвинение не больше не меньше как в низкопоклонстве и попытке оболгать героических защитников Родины, проливавших кровь... В газете «Борская правда» захлопали тревожно двери, создавая сквозняки. Кто отделался испугом с занесением в личное дело, кто вовсе лишился возможности участвовать в дальнейшем культурном строительстве. Газета «Борская правда» опубликовала письмо группы фронтовиков «Против стихотворного пасквиля некоего Сомова», которое написал работник агитпропа Владимиров (Вильнер). Таким образом, Павлов, столь крепко защищенный, вовсе обнаглел, и страшно стало в городе Бор выпустить погулять молоденькую дочь.

А гулять хотелось, поскольку вечера в городе Бор летом такие, что молодому сердцу без них тоскливо. Улицы зелены, лесной воздух, с речным смешиваясь, создает напиток неповторимый, с танцплощадки вальсы доносятся в исполнении духового оркестра рыбкомбината, а над всем божное астрономическое небо сияет, под которым даже спокойнее, поскольку оно всех радует, но ни к чему не обязывает... Дыши только полной грудью в свои семнадцать лет, мечтай о любви да на луну и звезды поглядывай... Вот если б не Павлов... Страшно с Павловым девушке поздним вечером встретиться...

Встретилась с ним раз Тася неподалеку от того места, где в войну молодой Павлов хотел молодую мать Тасину, Веру, изнасиловать. И примерно в то же вечернее время. Конечно, все это по совпадению. Без слов, молча схватил ее Павлов, и чудом Тася от него вырвалась и в разорванной кофте, вся дрожа домой прибежала, кинулась матери на грудь. Андрей тогда в отъезде был, в город Горький деревянные изделия повез продавать. Возвращается Андрей через день сравнительно спокойный, по счастью, в новолуние. Вера ему говорит:

— Вот ты с Павловым выпиваешь, фронтовик это, мол, друг, а Павлов дочь твою позавчера хотел изнасиловать.

Потемнел лицом Андрей и говорит:

— Наверно, подумал, что дочь в мать уродилась, так же на передок слаба, — и ушел куда-то, хоть ночь уже была. Через полчаса возвращается, говорит Тасе: — Не бойся, дочка, ходи смело, он тебя больше не тронет. Я стихи писать не умею, я ему глаза выдавлю.

И верно, более Павлов к Тасе не приближался, только издали поглядывал. Однако полной гарантии за безопасность дочери у Веры не было,

ибо знала, каков Павлов, когда выпьет и подопрет его мужское... Говорили, и в лес он погуливал с ружьишком, вроде бы на охоту... Да и одного ли Павлова молодой девушке стеречься надо?.. Издавна любила и берегла дочь Вера. Каково же должно быть женское безумие, ею овладевшее, чтоб пользоваться родной дочерью в своих целях. Хитер был умысел у этой женщины, когда пошла она к Чесноковой объявить, что дочь ее одна идет за малиной к вершинке, где ручей из оврага течет. Часам к семи, пораньше, чтоб меньше было промышляющих и больше малины.

Как поднялась чуть свет дочь, поела наспех, взяла корзины — и в лес, мать за ней следом. Выдумала она про воскресную занятость в цеху. Пробирается осторожно Вера в кустарнике и думает в тяжелой тревоге: «Придет или не придет Дан Яковлевич?» Многое она о нем разузнала. Узнала, что он приехал сюда откуда-то из города Ржева, вдов, жена в войну погибла, а здесь работает ночным сторожем на рыбкомбинате. Профессия для еврея редкая, и самый, наверно, он глупый из ихнего брата, который всегда удачно устроится. Не знала Вера, что с тех пор, как явилась у Антихриста приемная дочь и не мог он более питаться одним лишь хлебом изгнания, завещанным пророком Иезекиилем, среди прочих современных профессий, дающих пропитание, профессия ночного сторожа была Дану, Аспиду, Антихристу, самая подходящая, более удаленная от людей, и под ночным небом чем-то напоминала родное, пастушье ремесло... Многое разузнала Вера о проживающем у Чесноковой еврее, но многого не знала. Конечно же, прежде всего, не знала она, что Дан Яковлевич есть Антихрист, посланец Господа... Одно она знала твердо, страдающая женщина и любящая мать: Дан Яковлевич и дочь ее Тася полюбили друг друга, но как встретиться — не знают и условиться о встрече не решаются... Женщина, которая испытывает страсть к мужчине, любящему дочь ее, пребывает в странном состоянии. То она чувствует плоть дочери частью собственной и наслаждается, то чувствует в этой плоти болезнь свою и страдает, даже ненавидит, как невольно начинает человек ненавидеть свою сильно болящую руку, или ногу, или голову и проклинает их... Так, то наслаждаясь через дочь собственным женским счастьем, то видя в ее счастье чужую удачу, отнимающую и обкрадывающую, Вера могла бы впасть не только в телесное, но и в душевное безумие, если бы подсознательная библейская хитрость, за которую Ева была проклята Господом, не подсказала Вере, что в мучениях своих следует доверяться не чувству, а рассудку. Чувствами же разумно наслаждаться лишь в счастье. И едва она поняла это, как стала обычной блудницей, лишь обуреваемой чрезмерной страстью, которую следовало удовлетворить, используя все возможное... И задумала она устроить свидание тому, кого она жаждала, но к которому не было ей доступа, с дочерью своей, которую он любил.

Пробирается хитрая женщина следом за дочерью своей, и вот уже вершинка, местность дикая, отдаленная. Овраг порос лесом и кустарником, ручей журчит, и малины видимо-невидимо. Но еврея нет, не пришел он, хоть, безусловно, слышал слова Веры. Села Вера в отдалении, чтобы дочь ее не заметила, и тоскует. А Тася ни о чем не подозревает, начинает малину щипать. Собирает она, собирает, почти уж полкорзины набрала, вдруг хруст ветвей, и выходит на поляну еврей, в свою очередь, тоже с лукошком. Подняв голову, Тася упустила из рук корзину, ягоды по земле рассыпались. И силой для Небес странной и смешной брошены были влюбленные в объятия друг другу. Дан, Аспид, Антихрист, земной удел которого был от Хетлона ведущего в Емаф, и Тася Копосова из города Бор Горьковской области. Без слов, без слез, без вздохов обнялись они и стояли, крепко держа каждый свое: Антихрист — Тасю, Тася — Антихриста. Они стоят, обнявшись, Вера в кустах лежит, и все, что есть в ней собственное, ноет. Однако опять перехитрила страдание блудной страстью обезумевшая женщина и защитила женский рассудок свой... Антихрист и Тася меж тем стоят неподвижно друг у друга в объятиях, пока у Таси, девушки хрупкой, от горячей неподвижности этой руки и ноги не начинают неметь. Тогда Антихрист, который чувствовал теперь в себе каждое ощущение любимой, говорит:

— Придешь завтра?

— Приду, — отвечает Тася, — после работы, в шесть часов... У нас в пять швейный цех кончает, но пока переоденусь...

И расстались оии без поцелуя. Антихрист быстро ушел, ибо Антихрист умеет исчезать мгновеино, а Тася осталась собрать малину, чтоб у матери не было подозрений. Мать же ее, преодолевшая свою слабость, была рада случившемуся, которое произошло по ее замыслу.

И началась у Антихриста с Тасей любовь постоянная. Конечно, не Божья это была любовь, как брат любит сестру или отец любит дочь, но и не людская, как мужчина любит женщину. Однако, поскольку Антихрист не мог любить иначе, а Тася вообще любила впервые, то оии подобной любви не удивлялись. Встречались все там же, у поросшего лесом начала оврага, возле ручья... Увидит Тася Дана, сделает к нему навстречу несколько шагов, словно лунатик в полнолуние, уж на последнем шаге силы оставляют, колени подгибаются, еще шаг — и упала бы без чувств, но Антихрист никогда не давал ей сделать этот последний шаг, который, может, был бы во спасение; всегда, ослабнув, падала Тася не на землю, а на грудь его и без поцелуев, без слов стояли они. Всякий раз одииакова была их встреча, ибо только мелкой любви нужно разнообразие. Все сполна получала Тася от объятий Аитихриста, а ее девнчья чистота и нежность помогали Антихристу избежать казни Господней — похоти, которой он был подвержен подобно всему земному. Так в лесу, вблизи города Бора Горьковской области, осуществилась вековечная мечта о чем-то третьем, не телесном и не аскетическом...

Зачинатели современной сексуальной революции, жители города Содома, пытавшиеся изнасиловать ангелов, искали третье. Первые мужья Фамари, братья Ир и Онан, искалн третье. Но Ир умер, а Онан, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, обессмертив имя свое человеческой болезнью или прихотью. Прочие извращения тоже от поисков третьего, ие мужского, не женского, и все ж третий орган не найти и сексуальный «перпетуум мобиле» не создать. Пока известен лишь один случай третьего — не телесного, не аскетического и, конечно же, не греческой подмены — платониsма, а грех в подмене талантлнв, пример тому греческое христиаиство... Но здесь не было подмены. Тася Копосова из города Бор летом 1949 года испытала третье... Она нашла, потому что не искала... Это не сформулированный закои библейский: тот, кто не ищет, тот находит, кто ищет, тот теряет... Однако существует еще закон диалектического материализма, который не обязательио изучать по Фейербаху, поскольку он достаточно ясно изложен в советской песне: «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто нщет, тот всегда найдет»...

Степан Павлов, всей своей жизнью отвергавший библейский опиум, хотел добиться Таси, потому искал ее повсюду и иашел на вершиике, возле оврага, в объятиях у еврея... Шел он по лесу с ружьем, насвистывал песенку про веселый ветер, в которой излагались основы диалектики. Вдруг смотрит издали — что же это, братцы, делается — все себе жиды заграбастали, и девок тоже... Прервал он свист, вскинул ружьишко, и кто знает, чего в первое мгновенне задумал... Потом опомнился и задумал уже половчее, обида взыграла. Никто меня в этом городе бить не смел, а отец ее, Андрей Копосов, ударил. Хорошо, если тебе русский парень не по душе, фроитовик, будешь иметь в зятьях еврея, тыловую крысу. По-фроитовому подполз Павлов, приблизился и подслушал время свидания Таси с Антихристом на завтра. Где искать Аидрея, Павлов знал и нашел его без труда и без диалектики. Был в центре города Бор, против кииотеатра, фаиерный павильон, прозванный «Голубой Дунай», хоть на вывеске зиачилось «Пиво, воды, холодные закуски». Отчего в приволжском городе чужая река фигурировала, неизвестно. Может, окрестил его так кто-либо из здешних завсегдатаев, ранее штурмовавших Будапешт, бравших Бухарест или Вену. Реален лишь тот факт, что фанериый павильон действительно в голубой цвет выкрашен. Торговала в этом павильоие буфетчица Нюра, с которой когда-то Павлов жил. Была у Павлова привычка первоиачально перед выпивкой с этой Нюрой вступать в препирательство на почве недолива или обсчета. Но ни в чем она ему ие уступала, достигла эта женщина полного равноправия.

— Ты, — весело говорит Павлюв, — сука...
— А ты сам падло, — весело отвечает Нюра.
— Ты воровка...
— А ты хрен с бугра...

— Ядрить твою мать...
— Ядрить твою, дешевле будет...

Тут Павлов под влиянием увиденного и пережитого говорит Нюре:
— Ты еврейка, жидовка...

Заплакала Нюра.
— Какая я еврейка, за что он меня, братцы, так оскорбляет?

Вмешались завсегдатаи.
— Брось, Нюра, обижаться на Павлова... Нашла иа кого обижаться... А ты, Степа, пойди сюда, выпьем...

Был в павильоне и Андрей Копосов, но в другой компании. Начинали пить отдельно, закоичили сообща. Когда компании соедииились, Павлов говорит Андрею Копосову:
— Выйдем, разговор есть...
— Пойдем, — говорит Андрей.

Собутыльники, зная их размолвку, начинают обоих успокаивать:
— Бросьте, ребята, оба фронтовики. Какие могут быть счеты меж братьев-славян...

«Братья-славяне» тогда тоже было модное словечко, с фронта привезенное. Отвечает Павлов:
— Я Андрея бить не буду, поскольку знаю, что он мне ребра поломает, а разговор у меня к нему душевный.

Вышли. Постояли у павильона, покурили «Труд», послевоенные папиросы, побрызгали малой нуждой на фундамент, Павлов притом раза два в полный голос облегчил от напора кишечник... Только хотел начать Павлов, собака подбегает бродячая, свою преданность доказывает, мысль перебила.
— Ух, падло! — крикнул Павлов, бросил камень, попал. Завизжала собака и с визгом исчезла.
— Ну, чего ты хотел? — начинает Андрей, видя, что Павлов миется, и несколько отходя назад, чтобы, если Павлов кинется отомстить за прошлый удар, нанести ему удар вторично ногой под низ живота.

Заметил этот жест Павлов и говорит:
— Не на того ты зуб имеешь, Андрюша... Я фронто́вик, и ты фронтовик... А Тася — дочь фронтовика, и у меня к ней серьезное желание... Но есть еврей, который всю войну в тылу просидел и который ее соблазняет.
— Да ты что, какой еврей?! — крикнул Копосов.
— За грудки меня не бери, — отвечает Павлов, — тот еврей, который у Чесноковой живет, по Державина тридцать.

И рассказал, что видел... Покраснел Андрей, потом побледнел и крикнул одно только слово:
— Убью!
— Не торопись, — отвечает Павлов, радуясь, что попал похлеще, чем кулаком в зубы, — ты на меня, Андрюша, всегда косишься, даже если и пьем вместе. Слухам вернщь, что я с женой твоей путался. Не скрою, пыталась оиа ко мне пришвартоваться, но я ее отшил, поскольку соблюдаю фронтовое товарищество.

Скрипнул зубами Андрей:
— Жену мою не трожь, не о ней речь. О дочери моей речь.
— А у меня план насчет дочери, — говорит Павлов. — Когда они завтра встретятся у вершинки, с поличным возьмем... Согласен?
— Согласен, — ответил Копосов, — пойдем, выпьем еще...

Выпили еще. Андрей впал в мрачное, тупое молчание, когда неизвестно, чего после этого молчания от человека ждать: уснет он тяжелым, каменным сном или убьет кого-нибудь. А Павлов — вот он я, широк весь, нараспашку, — впал в веселье, когда знаменитая русская частушка, от дедов-прадедов унаследованная, на язык просится. Хрипловат был, правда, у него сейчас голос, не тот, каким принято исполнять, не тенор, зато от души выкрикивал:

— Бей жидов, спасай Россию... Хаим лавочку закрыл... Смешная парочка, Абрам и Сарочка... Храбрый Янкель на войне... Мы их защищали, спасали, а оии Христа распяли, советскую власть продали... Мы в окопах, они в лавках... За всю войну ни одного еврея на фронте не видел... Один еврей на фронт ехал, да и тот от страха застрелился...

Так он громко раскричался, что милиция узнала знакомый голос и подумала, будто Павлов опять затеял драку в «Голубом Дунае». Приходят. Шум есть, но драки нет.

— Ты чего шумишь, Павлов?

— А чего евреи нашу кровь пьют?

— Ты, Павлов, порядка не нарушай, — говорит старшина.

— А они могут нарушать? У родного отца, фронтовика, дочь отнимают...

— Кто отнимает, у какого отца?.. Если есть доказательство, официально напиши... У какого отца дочь отнимают, о чем ты?

— Да вот, у друга моего... Который в войну... Который кровь лил... — уж не вяжет лыка Павлов.

Тут как ударит Андрей кулаком по столу, и сделал он Нюрке-буфетчице посудного боя на некоторую сумму.

— Замолчи, стервец!..

— Молчу, — ответил Павлов. — Все в порядке, старшина, все в порядке...

— Ну вас к лешему, — говорит старшина, — разбирайтесь сами, но чтоб не нарушали...

Ушел. После этого Павлов уже молча выпил, потом еще, потом вздремнул, упираясь лбом о стол, но проснулся, упираясь спиной о стену, от легкого ночного ветерка.

Все было тихо, был разгар городского покоя. Умел сладко спать приволжский город Бор. Куда ни посмотришь вокруг, ни одного светящегося окна, никакого шума, кроме шелеста листвы, никакого движения, кроме мигания звезд и то исчезновения, то появления луны в проломах темных туч.

Когда случалось Павлову просыпаться подобным образом одиноким среди покоя, вдруг в первые минуты что-то непривычное являлось в нем, а что, понять не мог. Или казалось ему, что он опять младенец и смотрит из люльки в темное окно, или чудилось адресованное лишь ему Слово, поскольку для каждого человека есть его личное Слово, и, если он его не слышит, оно остается в мире неиспользованным, или будто впервые видел он это мигание высоких звезд, отчего непривычное напряжение сжимало матросский крепкий лоб его, и казалось, вот-вот брызнет нечто, как ручеек чистой воды из-под огромного серого тюремного камня, чем служил лоб Павлова для всякой чистой мысли. Однако стоило ему пошевелиться, вздохнуть, распрямить затекшие члены, как сразу же он возвращался к своим текущим потребностям, то есть, прежде всего, совал свои руки себе в штаны. Если штаны его были сухи или чуть смочены малой нуждой, то он шел к Валюше, молодой медсестре, или к Танечке, технику горкомхоза, или к Нинке, или к Александре Ивановне, или еще куда-либо, выбор был широк. Если же штаны его были мокры и липки насквозь от нужды большой, — особенно это бывало в летний сезон, ибо летом закусывали фруктами, яблочком или волжской сливой, — то он шел только в одно место — к Александре Ивановне, той самой вдове из пищеторга, некогда соблазнившей его, молодого инвалида войны, и открывшей счет женщинам Павлова в городе Бор. Ныне вдове этой уже подбиралось к пятидесяти, и она всегда готова была принять Павлова, обмыть его, накормить и уложить... Сейчас было лето, и поскольку Павлов этим вечером много пил и много закусывал немытыми, подгнившими яблоками, которыми стерва Нюрка торговала, то проснувшись, он ощутил в полной мере то, из-за чего отправился к Александре Ивановне. Там он и доспал остаток ночи и часть дня, ибо перед завтрашней вечерней травлей еврея надо быть «свежим огурчиком».

Ловко смастерили это дельце Копосов и Павлов, один от горечи был ловок, второй от злобы. Чуть пораньше ушел с работы Копосов, чуть пораньше ушел от Александры Ивановны Павлов, встретились не у самой вершинки, а на треугольнике, такое место тоже в лесу существовало, отчего же подобное название, — уже забыто давно... Павлов был выпивши, Копосов — трезвый, но с хорошо отточенным плотницким топором за армейским поясом под пиджаком.

— Там они, — говорит тихо Павлов, — на месте. Я уже разведал, стоят обнявшись, как всегда...

Славянин молчалив в мучительном гневе, копит ненависть к решающему моменту. Положил Копосов руку на топор и пошел тропкой в указанном направлении. Раздвинул осторожно мокрый кустарник, поскольку с утра дождь побрызгал, и верно, видит вдали дочь в объятиях у еврея. <...> Нечленораздельный крик издал Копосов, страдающий отец с плотницким топором в руках... Павлов же крикнул более современно и членораздельно, а именно: «Бей жидов, спасай Россию».

Увидела их Тася, задрожала вся, затряслась и впервые от страха заплакала в объятиях у своего возлюбленного.

— Кто это? — спрашивает у Таси Антихрист.

— Это тятя мой и друг его Павлов, — плача, дрожа, отвечает Тася.

— Чего они хотят? — спрашивает Антихрист, ибо с ним такое случалось: в предельные моменты он вдруг переставал понимать окружающую жизнь и из глубин его являлась небесная брезгливость к людям.

— Беги, — плача, говорит Дану Тася, — меня тятя только побьет, поскольку он меня любит, а тебя он зарубит, поскольку ненавидит. Беги, у тяти топор...

— Топором он нас не коснется, — говорит Антихрист. — Ничем он нас не коснется, кроме как рукой.

— Рука у него тоже тяжелая, покалечить может, — дрожа в страхе, говорит Тася, — а Павлов душить любит за горло.

Меж тем Копосов и Павлов уже сбегали, скользя по мокрой траве, косогором и приближались. Различимы стали их злобные лица. Впрочем, у Копосова к злобе примешивалось страдание, отчего его лицо было крайне необаятельным. У Павлова же к злобе примешивалось веселье, что, наоборот, делало его похожим на обаятельного, остроумного сатирика-славянина.

— Прижмись ко мне крепче, любимая моя, — сказал Антихрист, — прижмись изо всей силы своей и ничего не бойся... Не слишком сильно они нас коснутся.

— Отчего ж не слишком сильно, — в полубеспамятстве уже спрашивает Тася, — отчего ж не сильно, если ненавидят?

— Оттого, — отвечает Антихрист, — что сильнее не успеют... Как коснутся, сразу умрут оба...

Хоть дрожала Тася, но что увидела она рядом с собой, у лица своего, заставило ее совсем забыться в лихорадке... Огненные, смертоносные глаза Аспида глянули сквозь мягкие, кроткие еврейские черты любимого и воспламенили его ненавистью Преисподней, Божьей Всемирной Казнью... Похолодела Тася, и стало ей страшно не за любимого, который словно бы исчез, а за отца своего.

— Не трогай тятю, — неизвестно к кому обращаясь, с мольбой сказала она, — не трогай тятю моего...

— Жаль, — сказал Антихрист, — значит, придется пощадить и второго. Ибо они задумали одно, в этот момент не может быть для них отдельной казни... Но позже казнь им будет разная...

Не смогли остановиться Копосов и Павлов, как не может остановиться человек, бегущий с высокой горы, пробежали, пронеслись, словно влекомые неведомым ветром, мимо обнявшихся влюбленных... Понесло их по кустарнику в овраг, поволокло по глинистым, скользким от дождя склонам и бросило в ручей, мирно журчащий среди камней... От такого невольного бега потеряли возможность управлять своим телом, руками своими, ногами Копосов и Павлов.

— Эх! — сам того не желая, ударил Копосов плотницким топором по мокрому валуну. Хорош был топор, да топорище треснуло. А хмельной Павлов в ручье костями своими камни почувствовал.

— И-эх... О-па... Ядрена табакерка... Трава скользкая... Выгадал еврей на утреннем дожде...

Как сгинули Копосов и Павлов в овраге, мигом потухли глаза Антихриста, и опять перед Тасей был любимый ее.

— Пойду я, — говорит Тася, — домой пойду, и ты уходи... Я дам знать, когда и где встретимся, поскольку здесь нельзя встречаться больше... Не бойся за меня, до нового свидания. — И они впервые поцеловались, ибо с этого дня самое высокое в их любви, то, третье, уже было позади, и любовь их стала людской, с поцелуями и желанием разнообразия.

Приходит Тася домой, увидела ее мать Вера, встревожилась.

— Маманя, — говорит Тася и обнимает мать свою, прижимается щекой к щеке, так что две толстые золотистые косы матери и дочери рядом ложатся, — маманя, полюбила я одного человека...

— Кто же этот человек? — спрашивает заботливая мать, но хитрая женщина.

— Ночной сторож с рыбкомбината, — отвечает Тася, — который у старухи Чесноковой квартиру снимает.

— Да что ты мне так мудрено отвечаешь, — говорит притворщица мать, — разве не я сама тебя впервые повела к Дану Яковлевичу?

— Ах, маманя, какой он сладкий! — невольно и искренне вырвалось у дочери, что заставило влюбленную в того же человека мать забыться в ревности и обозлиться.

— А если отец узнает? — говорит сердито Вера, точно не она сама все соорудила.

— Тятя уже знает, — отвечает Тася.

Вскочила Вера в непритворном уже испуге.

— С каких пор знает?

— Да только узнал.

— И что, бил?

— Хотел бить.

— Значит, не догнал?

— Может, и не догнал, — странно как-то отвечает дочь.

Однако дальнейшая неопределенность в их разговоре кончается тем, что от удара ноги дверь распахивается настежь и на пороге является Андрей Копосов, от вида которого сразу же заплакала маленькая Устя... Было чего испугаться. Изорванная ветвями, перепачканная глиной мокрая одежда, скошенный набок рот, искусанные губы, заранее сжатые в побелевшие кулаки пальцы. Без слов кинулась перед ним Вера защищать дочь, без слов ударил он ее наотмашь привычно, потому недостаточно сильно, и без слов же ударил он дочь свою Тасю, с непривычки особенно страшно, и мгновенно окровавил... Увидев окровавленную дочь, дико крикнула Вера, поняла несчастная женщина, что натворила и что она всему виной. Поняла на мгновение, какова кара третьей казни Господней — дикого зверя — прелюбодеяния... И услышала, может быть, без разума, как шум в висках своих, проклятие Моисеево за прелюбодеяние:

— Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да сделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим...

Кинулась она к мужу, подняв руки, то ли защитить дочь, пусть даже ценой жизни своей, то ли повиниться во всем перед мужем на глазах у детей. Но защищать больше некого было и виниться не перед кем было... Как ударил Андрей дочь, обмяк он и заплакал навзрыд, не по-мужски, в то время как Веру всегда бил с остервенением и без раскаяния. Лег Андрей лицом вниз на койку, а Тася рядом с ним села, прижимая платок к разбитому носу, и ладонь на голову ему положила. Поняла Вера, лишняя она здесь, и не только минуло раскаяние, даже наоборот, усилилось еще более желание довести до конца задуманное ради себя и в свое удовольствие.

— Пойдем, доченька, погуляем, — говорит она перепуганной Усте, — в лес пойдем, воздухом подышим.

Когда остались отец и Тася одни, говорит он:

— Доченька, ты ведь единственное счастье мое, разве я тебе зла желаю?..

Отвечает Тася:

— Тятя, я знаю, ты не по доброй воле, тебя Павлов подбил... Сволочь он...

— Согласен, — отвечает Копосов, — Павлов, конечно, сволочь, хоть и фронтовик, но разве в городе нет других ребят, разве не русский у нас город?

— Тятя, — отвечает Тася по-девичьи, по-семнадцатилетнему, — нет мне без него жизни, без него хоть в Волгу... Поверь, тятя, дочери твоей, которая тебя любит.

Помолчал Андрей Копосов и говорит:

— Это в тебе от развратной матери, вот она, беда какая... Недаром ты напоминаешь мать внешним обликом.

Тем и окончился разговор, хоть начался как будто бы откровенностями и должен был многое решить... Но ничего не решил. Вернулась Вера с Устенькой, начала готовить ужин, а Андрей пошел в угол к своему верстаку, строгать лагушки для масла растительного, квашонки, маслобойки и прочие деревянные изделия, которые намеревался отвезти в Горький на ближайшую ярмарку.

В этот отъезд мужа и намеревалась Вера осуществить задуманное. А задумала она такое, что не вернлось, сбудется ли, но и не хотелось верить в его несбыточность...

Женщина, пренебрегшая стыдом, не должна иметь сильной страсти, в мещанской обыденности ее спасение... Не знала Вера этой истины, а если и знала, исполнить бы не смогла... Много лет душа в душу жила она со своим женским желанием, не утоленным сначала в силу разумных военных обстоятельств, а затем в силу ее собственного безумия... Настоялось это желание в ней, как крепкий спиртовой раствор, который с одного глотка валит в забытье... Вот она, смерть, вот оно, рождение, вот она, Вечность...

Человек способен понять Вечность, только сильно унизив это Божье чувство. Крайним же унижением Вечности является наслаждение... Лишь через прелюбодеяние, через похоть может конечное существо прикоснуться к Вечному, и взаимная любовь облагораживает постыдную ничтожность человека перед Богом... Выше взаимной любви может быть Высокая Идея, однако эти случаи и редки, и уж не совсем человеческие, хоть и происходят с людьми... Идея спасения рода толкнула дочерей Лота после гибели Содома на прелюбодеяние с отцом своим, ими же пьяным напоенным. Идея Рождества Мессии толкнула Фамарь на прелюбодеяние с отцом мужа своего, Иудой, переодевшись блудницей и введя его в обман. Что же толкнуло Веру на прелюбодеяние с Антихристом, возлюбленным дочери ее, скрыто было от несчастной безумной женщины. Но в безумии своем, как уже говорилось, она была хитра и настойчива. Знала она, что Дан Яковлевич всегда к полудню дома, поскольку отсыпается после ночного дежурства, значит, надо было найти момент, когда старухи Чесноковой и дочери нет. Особенно дочери... Ведь дочь любимого отца даже к матери родной ревнует, не говоря уже о посторонних женщинах. У Дана Яковлевича и вовсе особый случай, поскольку Руфина девочка нервная, быстро бледнеет и доходит до обмороков... Но обликом подобным страстям не соответствует, обликом — деревня, вот чудо-то... Обликом и сама Вера такая была в ее годы и не понимала до шестнадцати лет, что почем, пока замуж не вышла... Правда, как замуж вышла — очень быстро всему обучилась... Этой же, судя по бледности и обмороку, учиться нечему... И хитра, пожалуй, есть в ней женская хитрость. Но с хитростью проще — кто кого...

И в хитрости возобладала Вера... Дождалась она, пока пошли старуха Чеснокова и Руфина на рынок, до самого рынка их проводила и стучит в калитку. Отпирает Дан Яковлевич.

— Добрый день, — говорит Вера, — дочь моя Тася не у вас?

— Нет, — растерянно отвечает Антихрист, — она здесь не бывает.

— Значит, на вершинке только она бывает? — говорит Вера и запирает калитку.

А ведь запертый крючок или сам вид запертого изнутри замка для безудержно жаждущей женщины сразу отзывается трепетом... И затрепетала Вера, словно в сладости расставаясь с жизнью... Дану ли, Аспиду, Антихристу, выходцу из земли, в которой блудницы часто угрожали замыслам пророков, ему ли не понять этого трепета... Ему, кто сам был подвергнут третьей казни Господней под городом Керчь с малолетней блудницей Марией в 1935 году. Сказал Вере Антихрист:

— Чего тебе надо, я все дам, только уйди...

Ответила Вера, истомленная сердцем, необузданная блудница:

— Ничего не надо мне, кроме тебя... Если же не будешь со мной, отправляю я дочь свою Тасю, которую ты полюбил, далеко отсюда и не увидишь ее больше... Не посмеет она мать ослушаться, и мой муж мне в том поможет, отец ее.

Сказал ей Антихрист через пророка Иезекииля:

— Ты не как блудница, потому что отвергла подарки. Но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. У тебя в прелюбодеяниях твоих противное тому, что бывает с женщинами: не за тобой гоняются, но ты даешь подарки и раскрываешь наготу свою перед любовниками твоими.

Отвечала Вера в тон ему, млея от тоскливой похоти:

— Ни перед кем не раскрываю давно я наготы своей, даже перед мужем, только перед тобой хочу раскрыть. Подарок же мой тебе не золотом и серебром украшен, из крови моей он явился и кровью моей он жив... Это любимая дочь моя Тася...

Говорит Антихрист:

— Известно ли тебе, женщина, что простую блудницу карает Господь за обычный грех, каких немало у людей, но твое блудодеяние карает особый суд?.. Он общий для прелюбодеек и для проливающих кровь...

Отвечает Вера, русская женщина, населившая мастерством своим огромный, малообжитой прежде материк:

— Я на все согласна...

Ибо когда по необходимости выработано предельное мастерство, оно уже не может удержаться только необходимым, а ищет возможностей проявить себя для собственных нужд... Всякое мастерство, служащее другим, в конце концов стремится послужить и само себе, быть мастерством для мастерства и насладиться собой. Таково и мастерство женщины. А там, где высшее мастерство, там уже искусство: стихотворное ли, плотницкое ли, женское ли... Посмотрел Дан, Аспид, Антихрист, на Веру.

— Знаешь ли ты, как судит этот Господний суд? — говорит он. — Кровавой ярости и ревности предает он.

— Я на все согласна, — только и твердит в ответ Вера, привалившись спиной к запертой изнутри калитке, поскольку уж ноги не держат ее.

Опять посмотрел Дан, Аспид, Антихрист, на Веру, и увидел он перед собой еще молодую мать своей Таси, возлюбленной, с которой он может быть разлучен, если не удовлетворит женскую страсть той, что выносила ее в лоне своем... Не совсем людское уж здесь было, и много здесь соединилось, хоть была ли здесь Идея, подобная Идее Фамари, Антихрист не знал... Вспомнил Антихрист и слова пророка Иезекииля: «Вот, всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе: «какова мать, такова и дочь»... Вспомнил, что последнее свидание его с Тасей окончилось поцелуем, то есть унижением того высокого, однообразного, что между ними совершалось. Может, в следующем свидании захочется им с Тасей еще большего разнообразия, и тогда третья казнь Господня, которой хотела подвергнуться с ним блудница-мать, могла обрушиться и на нежную, чистую дочь ее...

— Хорошо, — сказал Антихрист, — но помни, что говорит Господь: «Поведение твое обращу на твою голову».

— Я на все готова, — уже не сказала, а прошептала Вера.

У старухи Чесноковой во дворе был сарай, какой часто встречается на подобных полугородских, полусельских дворах. Когда-то старуха Чеснокова держала там корову и прочую живность. Теперь от коровы и прочего пришлось отказаться по причине дорогого послевоенного налога, которым облагались не то что корова, но даже каждый цыпленок у частников для того, чтобы ликвидировать частнособственнические интересы. Лежала в этом сарае теперь солома, оставшаяся от прошлой живности, а также разная ветошь, корзины, слесарный инструмент покойного старика, велосипед убитого на фронте старшего сына и нынешний, нужный по дому инвентарь...

Когда Руфь, она же Пелагея, приемная дочь Антихриста, сама не зная отчего вдруг сказала старухе Чесноковой, что должна идти домой к отцу и, придя, не нашла его нигде, она вначале не думала искать в сарае, поскольку поняла, что он у вершинки в лесу... Уже некоторое время Руфь знала о свиданиях отца с Тасей, старшей сестрой Усти Копосовой, но молчала, лишь ночью тихо плакала. Не найдя отца, Руфь хотела пойти к себе в комнату, лечь и поплакать, поскольку дома никого и никто горя ее не узнает. Однако привлек шорох в сарае. Осторожно приблизилась Руфь, глянула в щелку, и увидела девочка для себя Преисподнюю, какую редко кому и в зрелости дано познать. В страшном облике увидела она отца свое-

го, и высоко поднятые женские оголенные ноги возвышались над ним, как бы пожирая его...

Там в углу, на соломе, Вера опрокинула себя навзничь, чтоб лону было удобно, впервые за долгий срок сытому лону, которое дышало жадно, как дышит грудь чистым горным воздухом. Нет, это не было обычное дыхание, бытовые вдохи и выдохи лона, от которых чувствуешь привычное вечернее удовольствие и от которых родились Тася и Устя... Это были вдохи полной грудью на самой вершине, где воздух настолько чист, что еще чуть повыше — и он уже будет непригоден для жизни, ибо жизни необходимы примеси того, что пониже, того, что попроще; каждый вдох неповторим, каждый вдох — впервые, а каждый выдох — сладкое воспоминание о только что случившемся... Но чем глубже вдохи, тем короче дыхание, вот уже нет выдоха, а есть лишь вечный глубокий вдох, как перед смертью, поскольку последнее в живом дыхании — вдох. Выдох испускает уже труп...

Видела Руфь, пребывающая в Преисподней живая девочка, как ноги женщины вяло, тяжело, мертво опали на прелую солому. И погасло сияние. Воцарились сумерки пасмурного дня, и Руфь лишь смутно различала, как шевелятся в темноте сарая тени отца и женщины, вслушивалась в их шепот, услышала негромкий, счастливый женский смех... И повторилось с Руфью то, что случилось с Аннушкой Емельяновой, нечестивой мученицей в селе Брусяны, когда чужое счастье толкнуло ее на злодейство. Ибо уже там, вблизи площади оккупированного села Брусяны, было сказано: «Кто в горестях сохраняет практичный рассудок детства, способен на большое злодейство». Мигом сообразила Руфь, как отплатить и отцу за то, что сотворил он такое с его любимой дочерью, и женщине, которая сотворила такое с любимым отцом. Через Устю знала она, где живут Копосовы. Здесь же, неподалеку, по улице Державина, 2... Прибегает она, видит, Устя сидит во дворе и ягоду перебирает.

— Где сестра твоя Тася? — спрашивает Руфь, она же Пелагея.

— Не твое дело, — отвечает Устя, — я с тобой больше не вожусь, ты еврейка, у тебя денег много.

Тут во двор выходит Тася и говорит сестре:

— Кто тебя этому научил, как тебе не стыдно?

— Подумаешь, — говорит Устя, — она не ко мне, а к тебе, она тебя ищет.

— Что случилось? — спрашивает Тася и пугается сразу же внешнего вида девочки, ибо Руфь была очень бледна. — С тятей твоим что-либо?

— С тятей, — отвечает Руфь, — пойдем к нам...

Не помня себя, побежала Тася следом за Руфью, вбежала во двор и к дому направляется, забыв осторожность, поскольку условились они с Даном встречаться только в лесу либо в ином отдаленном месте.

— Не сюда, — говорит Руфь и указывает на сарай, — ты в щелку посмотри, что мой отец делает с твоей матерью...

Полностью растерянная, посмотрела Тася в щелку и увидела то, что недавно видела Руфь. Ибо поняли Антихрист и Вера: это их земной Праздник, который более не повторится, и потому старались продлить его...

Мигом произошло и с Тасей изменение. Куда девалось нежное девичество ее? Безудержная в страсти праматерь Ева, соблазнившая Адама, родившая Каина и проклятая Богом, проступила в Тасе, чтоб грехом зависти покарать грех прелюбодеяния.

Выбежала она со двора по улице Державина номер тридцать и побежала к речной пристани, где уселась на скамейку в ожидании отца, который должен был вернуться сегодня с горьковской ярмарки. А Руфь, она же Пелагея, убежала в лес, шла долго в надежде заблудиться, в самую чащу углубилась, пока не упала обессиленная в кустах, чтоб остаток сил своих растратить на рыдания.

До вечера, окаменев и без мыслей, просидела Тася на пристани, с безразличием слушая людской говор и крики маленьких, жадных волжских чаек по кличке «мартышки». Вечером приехал отец. Продал он деревянные изделия свои весьма удачно и хоть выпил, но хватило еще на муку и сало... Увидел Тасю, обрадовался.

— Здравствуй, доченька... Встречаешь тятю своего?

— Встречаю, — говорит Тася, — поскольку ты мне теперь тятя, ты мне теперь и маманя... Поломала мне маманя мою любовь... Как видела

я маманю в сарае у Чесноковых на соломе и с кем видела, говорить страшно...

— А ты не говори, — тихо ей отвечает отец, неторопливо отвечает, только сильней под тяжестью продуктов, из Горького привезенных, гнется, словно в чугун обратились мука и сало, — не говори ничего, дочка... Пойдем домой...

Приходят они домой, встречает их Вера необычно веселая, даже ласковая к мужу, чего в ней давно не было.

— Я вот печь растопила, — говорит, — хочу блинков гречишных состряпать...

Была у Копосовых печь, которая в России «русской» именуется, хоть такую печь и в других местах можно встретить. Но в России многое «русским» именуется — и березки русские, хоть их немало по миру, и небо русское, хотя оно и в других местах встречается. Так вот, была у Копосовых русская печь, в которой хлеб пекут и в чугунке щи хорошо на жару готовят, и блины отменно румянятся... Любил гречневые блины Андрей, но давно их не пекла Вера, большая, кстати, в этом деле мастерица.

— Молодец жена, — говорит Андрей, снимая с себя продукты, как снимают непомерную ношу, — я как раз муки пшеничной достал и муки гречишной, и сала хорошего... Ты на сале блинков испеки, чтоб совсем по-русски... Отлично на сале блинки пекутся...

— Можно и на сале, — всячески старается Вера мужу угодить и, когда мимо проходила, как бы невзначай его ладонью по волосам, пригладила волосы, на самом же деле приласкала.

— Умойся, — говорит, — Андрюша, с дороги...

— Я уже умыт, — отвечает Андрей, — а ты б, Тася, взяла Устеньку и погуляла с ней, пока блинки испекутся... Погода на улице хорошая...

— И верно, — суетится Вера, — сходи, дочка, с Устенькой погулять...

Ничего не сказала Тася, взяла Устеньку, вышла, и лишь крючок запер дверь изнутри, как впервые за долгое время пробудилось вдруг у Веры к мужу желание... Подошла она, села рядом на лавку, принялась расстегивать ласково пуговицы на его фронтовой гимнастерке, стираной-застиранной, сунула ладонь в ворот поближе к телу, с которым она уже давно женским безумием своим была разлучена... И в этот момент Андрей схватил ее одной рукой за горло, другой за ногу, как хватают курицу перед тем, как убить, и понес к печи.

— Что ты!.. За что?!. — в испуге крикнула Вера.

— Что я, — отвечает Андрей, — знать мне, а за что — знать тебе...

И ударил Веру головой об угол печи, сразу русая коса кровью намокла, после чего начал он совать Веру в горячую печь. Одной рукой сует, другой соломки подбрасывает... Вспыхнула соломка... Однако тут застучали в дверь... Обычно, бывало, придет соседка хлеба одолжить, постучит, постучит и уйдет... Тут же не уходит и стучит что есть силы, прямо крючок прыгает... Словно не сама соседка в этот раз пришла, а Бог ее послал... Опомнился от этого стука Андрей, выпустил Веру, выскочила она окровавленная и обгорелая, обожженная, крючок отбросила — и на улицу... Навстречу ей как раз Тася с Устенькой бегут, обе с плачем... Вдруг на полдороге вспомнила Тася тихий отцовский голос и вернулась торопливо к дому... Вышел и Андрей на порог, увидел возмущенный народ вокруг, соседей, увидел жену свою Веру, окровавленную им, обожженную им, которую плачущие дочери обнимают, и говорит:

— Идите в дом, пусть не видят вас, таких, люди.

— Ирод ты, — кричат отовсюду, — чего жену бьешь? Управы, что ль, на тебя нету?..

— Идите в дом, — опять повторяет Андрей, — я больше бить не буду... Худо мне...

Кто-то к тому времени уже Вере мокрое полотенце принес, приложила она мокрое к разбитой голове, легче стало, и кровь больше не течет, запеклась... Взяла Вера обеих дочерей, возвратилась в дом.

— Дай мне хлеба с солью, — говорит Андрей Вере, — поесть хочу.

Дала она ему хлеба с солью, сел он на лавку, съел все, большой кусок, полкраюхи.

— Теперь воды дай, — говорит Андрей, — пить хочу.

Дала ему Вера большой деревянный ковш воды. Выпил он на одном дыхании, не отрываясь.

— Еще дай, — говорит.

Дала еще... Опять выпил Андрей полный ковш на одном дыхании.

— Теперь я спать буду, — говорит. И залез на печь русскую.

Слышат Вера и дочери через некоторое время — храпит он.

— Будем и мы ложиться, — говорит Вера и прилегла вместе с дочерьми на лежанке...

Устенька заснула, а Вера и Тася не спят, но лежат молча... Вдруг слышат они — застонал Андрей...

Разные есть стоны. Есть стон живой, когда человек стоном к себе зовет, а есть стон безразличный к живому, когда человек стоном сам себе говорит то, что уже не может сказать по-иному. Если б мог он сказать по-иному, то произнес бы неизвестные ему, никогда не слышанные и не прочитанные слова Псалма:

«Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога».

Однако бывают моменты и обстоятельства, когда стоном сказать это можно. Держи в руках Псалтирь Андрей Копосов, и тогда не сказал бы он точней, чем сказал стоном, поскольку на русский Библия в ряде мест переведена неумело. Так необходимый сейчас умирающему Псалом № 87, стих 4-й переведен: «Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней». В то время как в подлиннике: «Ибо душа моя насытилась обидами, и жизнь моя приблизилась к могиле».

Жизнь и смерть Андрея Копосова из города Бор Горьковской области, бывшей Нижегородской губернии, подтверждают неточность данного перевода русской Библии. Меж душой, насыщенной бедствиями, и душой, насыщенной обидами, большая разница. От бедствий несправедливо сходить в Преисподнюю, но обиды неизбежно ведут к могиле... Такова одна из неточностей русского текста Библии. К счастью, однако, Предсмертный стон не требует перевода.

— Надо посмотреть, что с отцом, — говорит Вера.

— Я не могу, мне страшно, — отвечает Тася и чувствует вдруг сильную боль в животе, отчего тело дрожит в ознобе.

Тогда Вера поднялась, отодвинула занавеску и увидела мужа своего, лежащего на боку. Глаза его были открыты, и взгляд их был необычайно сильный и чужой.

— Тебе неудобно лежать, Андрей? — спросила Вера.

Андрей не ответил, все так же с незнакомой силой глядя куда-то в угол комнаты, где клубился предрассветный мрак... Вера начала переворачивать мужа, чтоб удобней уложить его на спину, и в тот момент, когда она его переворачивала, он умер. Но поняла это Вера не сразу. Когда выбросило из Андрея, словно волной, огромный язык, который неизвестно как мог уместиться в человеческий рот, и когда втянуло этот огромный язык тут же назад словно пружиной, отчего он исчез, еще не поняла Вера. Но, когда сами собой распрямились ноги Андрея, когда закрылись его глаза, поняла Вера и заплакала над мертвым мужем, сидя у него в изголовье...

Проснулась и заплакала маленькая Устя, еще не зная о смерти тяти, а оттого, что мать плачет... Ибо всякий раз, когда тятя бил маманю и маманя плакала, Устя тотчас начинала плакать следом... Тася же в первые минуты смерти не могла приблизиться к отцу из-за живота, который слабил ее, всю потрясаемую ознобом. И провела она эти минуты на дворе, в ночном холоде...

Казалось, конца не будет страшной ночи, но пришел и ей конец. Утром уже все было как у людей. Устеньку отвели к соседям, и Вера с Тасей омыли тело Андрея в корыте. Впервые в жизни видела Тася голое тело своего отца, и было в ней, помимо горя дочери, еще чувство неприятного стыда. Давно не видела и Вера голого тела мужа, и было в ней, помимо горя жены, еще чувство жути какой-то и отвращения... Когда начали Андрея обряжать, то не нашли целых хороших носков, поскольку сильно он обносился, пропивая все. Пришлось Вере натянуть мертвому мужу на ноги единственную пару своих хороших шелковых чулок, обрезав их, чтоб

они походили на носки. Но обряженный в выходной костюм и уложенный в гроб Андрей Копосов сразу приобрел для жены и дочерей вид родного покойника, о котором, согласно языческим суевериям, забывают все дурное и помнят все хорошее... Того покойника, именем которого клянутся, святой тенью которого утешаются в горестях и исчезающему гниющему телу которого женщина бывает подчас более верна, чем живому, полному соков и мужской силы. Вера знала, что будет верна теперь этому гниющему телу до смерти, а Тася знала, что будет верна желаниям мертвого отца, в то время как желаниям живого отца верна не была... Не от еврея продолжит она род Копосовых... Русский это будет род, приволжский... От шофера второго класса Веселова, сына Сергеевны, патрульной старухи. И родит Тася двух сыновей — Андрея Веселова и Варфоломея Веселова... Конечно, так далеко она еще не видела в этот момент и даже будущую фамилию свою не знала, но что русская это будет фамилия — знала...

Когда собрался народ к покойнику, вся почти улица Державина, кроме старухи Чесноковой из тридцатого номера, староверки, когда пришла улица на такое событие, вдруг явился и Павлов, выпивший, конечно. Подошел он к гробу, сел рядом, посмотрел и как схватит покойника за руку.

— Андрюша, ты чего, фронтовичок?.. Пойдем, выпьем. — Но лежит молча, как истукан, покойник. Выпустил Павлов мертвую руку, упала она опять на мертвую грудь. — Пойду я, — говорит Павлов, — а то еще заплачу. — И ушел.

Меж тем часовые нации, старухи на скамейках, рассказывали:

— Во втором номере, у Копосовых, сам помер... Жена распутная довела... А в тридцатом номере у еврея дочь пропала, второй день ищут. Еврей этот совсем с ума тепнулся, оттого что дочь ента, видать, в Волге потонула...

А Сергеевна добавляла от себя:

— Хотя б они все с ума тепнулись и хотя бы все в Волге потонули...

Сын Сергеевны, Сергей Веселов, будущий продолжатель рода Копосовых, о чем он еще не догадывался, услыхав такое высказывание матери, засмеялся и сказал:

— Маманя, ежели они все в Волге потонут, рыба переведется от их него духу... Еврейка же не в Волге вроде бы потонула, в лесу заблудилась... Там ее последний раз видели...

— Ничего, — отвечала Сергеевна, — лес, он тоже ничего... Оттуда без понятия не выберешься, а в чаще, где подальше, медведь задрать может или веселый человек обидит... Ничего...

Антихрист действительно уже второй день почти что в безумии искал дочь свою, поскольку не все дано знать и Антихристу, лишь то дано, что пожелает Господь. Не знал он, где Руфь, но знал, почему она исчезла, и страдал он безмерно религиозным страданием еврейского отца, души нечаявшего в своем ребенке. Добрая старая женщина Чеснокова переживала вместе с ним, но переживала по-русски, с подсознательным чувством безмерности пространства и народа. <...>

— Что сделаешь, соколик? — говорила она. — Бог дал, Бог взял, — говорила она.

Но когда усчитана каждая душа и каждая пядь, горе от потери безмерно... И в горе еврейский отец, Антихрист, посланец Бога, не захотел верить Божьему Промыслу. И сказал он через пророка Иеремию то, чему посвятил свою судьбу целиком праведник Иов и на вульгаризации чего держится безбожие:

— Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?

Ответил Господь Антихристу, потерявшему названную дочь Руфь, тем, чем ответил Антихрист Марии, потерявшей брата Васю. Ответил через пророка Исайю:

— Я открылся не вопрошавшим обо Мне, Меня нашли не искавшие Меня. «Вот Я! Вот Я!» — говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим...

Понял Антихрист то, что знал, но забыл в беде. Кто не избирал, а

был избран не может задавать Господу вопросы. Он должен задавать вопросы себе, а ответы ждать от Господа.

Опять он ушел в лес, в чащу, откуда недавно вернулся мокрым от лесной сырости... Чем далее уходил Антихрист от людных мест, тем сильней его охватывала душевная тоска и тем сильней он жаждал печали в одиночестве, как зверь, который прячется от всех, чтоб издохнуть, ибо должно совершаться это серьезное дело без присутствия мелочей, на которых основана повседневность... Хороша жизнь среди подобных себе, хороша и смерть вдали от подобных себе... Понял Антихрист, что не для проклятия он прислан сюда Господом, но чтоб самому быть проклятым. Только Господь может проклясть, не будучи Сам проклятым.

Сел Дан, Аспид, Антихрист, на мшистый гниющий пень и охватил голову руками. Меж тем дочь его Руфь, она же Пелагея, была невдалеке, минутах в десяти ходьбы по бурелому, по колючему, опутанному паутиной кустарнику. Третий день блуждала она в лесу, питаясь ягодами и листьями, пила из лесных луж и спала, прикорнув у древесных стволов. Голос ее почти исчез от крика, и платье ее было изодрано в клочья ветвями... Сейчас, выйдя на прогреваемую солнцем полянку, она решила немного передохнуть, прилегла и уснула от усталости. Сон ее был крепок, повел сон далеко отсюда, куда же повел, поняла она, лишь проснувшись. Так спящей и застал ее Павлов, тот самый веселый человек, который всегда готов в лесу девочку обидеть, еврейскую же девочку согласно надеждам старухи Сергеевны в особенности.

После похорон Андрея Копосова пил он, поминал и плакал, а женщин не посещал, так что накопилось у него много мужского напора... Пьяного унесли его с поминок, и лишь слегка протрезвевшего унесло его в лес с ружьишком. Забрел он в чащу, где еще не бывал. И, словно мираж перед жаждущим в пустыне, предстала перед Павловым спящая девочка, совершенно беззащитная...

Увидел Павлов, что не по летам развиты и крепки обнаженные ноги ее, свежа и крепка в зародыше грудь. Изнеможение и страх, которые испытала Руфь в лесные дни и ночи, соединились с покоем от чистого сна, и лицо девочки соблазняло сейчас доверием своим к человеку и зверю в лесной чаще... С нечленораздельным рычанием кинулся к ней Павлов, и, когда наклонился, она открыла глаза. Если б мог Павлов опомниться, если б пришли ему на память мгновения, когда он сам просыпался под забором в одиночестве и покое, в ожидании единственного Слова, к нему обращенного, которое ищет его в этом мире. Но не нашло Павлова это Слово, и даже обрадовался он пробуждению еврейки, в веселую ненависть впал насильник от слабости того, кого ненавидел.

— Ох и попорчу я ж тебе, Сарочке, передок! — в упоении крикнул Павлов. — Ох и сделаю я ж тебе вава... Ох и азохен вей... — <...> И вдруг ощутил за спиной своей чье-то горячее, влажное дыхание...

То были две медведицы, которые вышли из чащи подобно тому, как вблизи Вефиля вышли библейские медведицы из леса казнить по призыву пророка Елисея злых детей-обидчиков. Хоть висело у Павлова на плече ружьишко, да дрянненькое оно, а медведицы рядом. Худо, если помнут ребра, если же вовсе задерут, и того хуже. Заплакал Павлов. Ни рукой, ни ногой не шевелит, стоит и плачет, капризничает.

— Жить хочу, — кому это говорит, сам не знает — девочке, которую изнасиловать хотел, или диким неразумным существам.

Потянулись обе медведицы к Павлову, обнюхали его... Не понравился он им... Плюнули ему в лицо, сначала одна, потом другая, боевой матросский облик склизкой слюной залепили. Потом понюхали Руфь, облизали ей руки и назад через кустарник ушли. Ушли медведицы, и лишился устойчивости Павлов, которую ему непосредственный страх придавал. Упал как стоял, вытянувшись. Так парализованные падают... Полупарализованный, лишившись дара речи, сутки полз он по лесу к людям, к жизни. В девятнадцать ноль-ноль следующего дня выполз он на дорогу, и, поскольку, к счастью, в данной местности человека легко встретить, объяснил паралитик, попросил отнести себя к Александре Ивановне, вдове под пятьдесят лет. Ибо речь к нему постепенно вернулась, но мужское навсегда оставило.

Александра же Ивановна, работник пищеторга, готова была принять

его в любом виде, поскольку единственная из всех женщин полюбила и вывозила с тех пор ежедневно на инвалидной колясочке воздухом подышать, говоря знакомым:

— Старые фронтовые раны свое берут... Подкосило Степу...

А Руфь через Знамение, от которого Павлов, желавший ее изнасиловать, лишился мужского, поняла, что она пророчица Пелагея, рожденная в селе Брусяны вблизи города Ржева. Вспомнила она, что во сне этом ей было сказано, и сон этот Павлов прервал. Как Елисей получил дух от пророка Ильи, так и Пелагея получила дух от отца своего Антихриста. И Павлов тому способствовал. Значит, и Павлов недаром был создан Господом.

Пошла Пелагея и быстро обнаружила отца, в унынии сидящего на гнилом пне. И сказала:

— Вот я...

Бросился Антихрист к дочери, живой и невредимой, обнялись они в радости.

Пророк Иона, три дня проведший во чреве кита, проклятием своим очистил от греха город Ниневию. Проклятием очистился и согрешивший Антихрист. Сказал Дан, Аспид, Антихрист:

— Простил меня Господь.

И ответила отцу дочь его, пророчица Пелагея:

— Господь сила моя и пение мое Господь.

Знала она теперь, кто ее отец, но отец не знал, кто его дочь, и думал, что Руфь от старухи Чесноковой, староверки, обучилась словам пророков. Сказал ей Дан, Аспид, Антихрист:

— Руфь, дочь моя, ты выросла в этих местах, но теперь нам приходится их покидать.

— Ничего,—говорит ему пророчица Пелагея,—там, где ты, там и родные мне места.

Обрадовался этому Антихрист, поскольку посылал его Господь к следующему: в городе Витебск 29 сентября 1949 года будет осужден как опасный враг советской власти Кухаренко Александр Семенович, 1912 года рождения, и отправлен в Буреполомские исправительно-трудовые лагеря. Это начало следующей Притчи.

(Продолжение следует.)

●

Александр СКОКОВ

Штурман Пензиков и повар Елукин

Напоследок с берега привезли консервы, муку и в сетках раннюю польскую картошку. Трактор с волокушей остановился возле высокого, на сваях, амбара. Моторист Желтоног, два механика и румяный мальчишечка курсант, взвалив на спину мешки, пошли гуськом к амбарным порожкам. Последним с раскисшей картонной коробкой ковылял тучный повар Елукин. Обычно он хватался за самую тяжелую ношу, но сегодня, прыгая с теплохода на баржу, подвернул ногу. Команда «Поллукса» охотно подрабатывала на выгрузке. Перебрасывали из трюмов на самоходную баржу, а потом в береговой склад мешки, коробки — все, что завозят на полярные станции с осени до осени.

В складе у двери, возле самодельного, в солярных пятнах стола с пивными бутылками, транзисторным магнитофоном, сидели штурман Пензиков и начальник полярки, рослый малый в зеленом свитере, брезентовых штанах с накладными карманами на коленях, и под музыку сверяли накладные. Штурман привез и кассеты, и пиво, и старые номера «Московских новостей», а в черной кожаной сумке держал до поры до времени главный припас. Раньше на полярку привозили законные два-три ящика: и шампанское к Новому году, и спирт, а теперь ничего — хватит, повеселились.

Малый с вожделением поглядывал на пензиковскую импортную курточку, на эти карманчики, застежки, широкие рукава, но курточка была ему разве что на одно плечо, и штурман, сняв с запястья шведские часы, положил на стол:

— Носи. Секунда в секунду.

Он любил угощать, делиться, одаривать — хоть какая-то радость человеку, а железо всего лишь железо.

Багровея полным лицом, Елукин опустил на пол коробку с болгарским конфитюром. Грузчики отряхивали от муки куртки, выбирали из-за ворота сор.

Пензиков, блеснув золотым перстнем на мизинце, махнул в сторону берега: идите, орелики, идите. Все уже было подбито, и, когда грузчики ушли, получил от малого пачку новеньких пятерок. Кое-чего в накладных было больше, кое-чего меньше, иное вовсе не значилось. Малого он знал третий год и все учил уму-разуму — другой на месте Пензикова ободрал бы его шутя, а он только сбывал здесь тайные излишки.

На баржонке нетерпеливо завыла сирена, грузчики еще не обедали и торопились к столу. Малый, польщенный подарком, принес из кладовки оленью шкуру и ветвистые тяжелые рога.

— Как там на материке? Говорят, западная жизнь — кабаре, валютные бары, частные такси. И в газетах теперь про все можно — про нищих, мафию, вымогателей, бродяг...

Пензиков, привалясь боком к стене, слушал с улыбкой. Всю неделю, пока, выгружаясь, двигались вдоль побережья, от полярки к полярке, он толком ни одной ночи не спал, взбадривая себя коньяком, кофе, чифиром. И сейчас с открытыми глазами спал, но сознание в своей глубине стерегло жизнь с деяниями явными и тайными. «Все по-другому...» Так быстро за-

были то, что за спиной, что наживали тысячу лет, что сами растили, лелеяли.

С оленьей шкурой, скатанной в тючок, с приторочениыми к ней рогами, он пошел от амбара вниз, через ложбину, к ручью, вытекавшему где-то за поляркой из-под ледяной линзы. Завтра он покидал судио и улетал домой. Радиограмма от Илоны пришла еще на прошлой неделе: «Прилетай. Твое присутствие необходимо». Но именно на этой полярке он надеялся поправить свои денежные дела. В городе его ждали большие расходы, он это сразу понял из радиограммы дочери.

Озабоченно попискивая, пробежал тонконогий куличок. Пензиков спустился в овражек, перепрыгнул через мелкий ручей,— тундра вокруг порыжела, только по склону зеленели перья дикого лука и цвели крохотные, с ноготок, незабудки. В минуту надвигающейся опасности он чувствовал прилив сил и всегда вовремя отбивал удары. По лени, беспечности только допусти просчет, и в эту промоину хлынут уже настоящие беды, способные погубить тебя. Он не стремился на береговые должности, не рвался в капитаны, поняв, что внизу, в толще темной воды, больше простора ускользнуть, увернуться.

Баржонка покачивалась на приливной волне. Он подкатил пустую железную бочку и, не замочив ботинок, перебрался через низкий фальшборт со своей поклажей. Сразу снялись на рейд к «Поллуксу».

Елукин сидел на свернутом брезенте и, сняв кирзовые сапоги, разминал белую ступню. Невзирая на боль в щиколотке, он надеялся и завтра на другой полярке напроситься в бригаду, сорвать куш. Осенью, после навигации, надо съездить к отцу, починить домишко — восьмой год ехал. А может, и остаться там, жениться на своей, деревенской. Осесть... Сколько странствовать?

— На ночь напарим, разотрем, сделаем компрессик.— Штурман сел рядом с поваром на брезент, пристроил свою ношу.— Хорошая настоечка есть на компрессик.

Повар глянул на него сбоку брезгливо, как иа таракана.

— Компрессик... Дать бы тебе пинка! Этому салажонку и пиво, и коньяк, а лучшему корефану... Разрумянил харю!

Баржонку стрелой поставили на крышку трюма, закрепили, снялись с якоря и пошли вдоль побережья дальше на Восток.

Пензиков сдал судовые, снабженческие дела старпому, собрал вещички и после ужина с подарком пошел к повару мириться.

Елукин время от времени тайно заводил бражку; сегодня, похоже, снимали пробу. В тесной накуренной каюте, уже крепко захмеленный, дремал у двери на диванчике молчаливый моторист Желтоног. Сам Елукин после душа, распаренный, голый по пояс, с полотенцем на голове вроде чалмы, что-то писал зеленым стержнем в большой амбарной книге, разрисованной тюльпанами, незабудками и розами. В эту книгу он собирал стихи, побасенки, народные притчи, и сейчас курсант, примостясь иа перевернутом эмалированном ведре, служившем повару флотским чемоданом, пересказывал какую-то складную историю.

— Пиши, Василич, пиши, не отвлекайся. «Бежал по полю Афанасий...»

— «Семь на восемь, восемь на семь...»? Да я это записал еще в Амдерме в полста затертом году от одного сверхсрочника.

— Хоп, пиши другую. «Гулял Махно всю ночь до зорьки...»

— Но-но, без похабщины... А тебя кто звал? — Повар кичливым взглядом смерил вошедшего.

Пензиков, будто не слыша окрика, положил на подушку свое подношение: книгу «Моряк в седле» и деревянное резное блюдо, купленное как-то по случаю в Лиепае, в сувенирном магазине.

— Вещей у человека должен быть чемодан. Если больше — раздай ближним. Мудрое правило.— Штурман сел рядом с поваром на зеленое шерстяное одеяло и достал портсигар.

— Кто тебя звал? — надменно вскинулся повар и в сердцах кинул стержень на страницу.— Иди к тем, кому ставишь коньяки. Наше питье не для твоих губ!

Курсант нетерпеливо крутился на эмалированном ведре.

— Василич, а вот эту сагу знаешь: «Как Америка России подарила пароход...»? Допиши книгу до последней страницы, спрячь в стеклянный сосуд, залей сургучом и закопай на бугре под тремя дубами. Археологи через тысячу лет найдут, как грамоты царя Хаммурапи. Хоть какая-то правда дойдет о нас, все врут, врут, до того доврались...

Желтоног, вроде дремавший, вдруг встрепенулся и поднял остерегающий перст.

— Т-с-с... Гласность гласностью, но без политики. Там все слушают.

— Где? — взвизгнул курсант в восторге и, дернувшись, свалился с ведра под ноги повару.

— В космосе, лазерным лучом.

— Вот-вот, пусть слушают,— загудел повар, поправляя чалму.— Пусть слушают и на магнитофоны пишут. Включайте там, пишите. Таких устриц не видывал свет. У следователя тогда выкрутился, наврал, еще на курорт послали. У меня не пройдет. Всю твою химию знаю, ворюга.

Пензиков смиренно слушал своего обличителя.

— Увы, это у нас в крови, Степа. Исторические причины. Триста лет терзали татары, потом к своим попали в кабалу. Петр Алексеевич тоже к этому руку приложил. Кафтаны, камзолы, обер-коллегии, а кто узаконил крепостное? Кто? Остальные — нечего и говорить: дыба, казни, битье батогами... Тут не до жиру. Ползком, иа коленях, перебежкой... Так и выжили!

Повар поднялся во весь свой могучий рост.

— Врешь, подлюка! Народ выжил не ползаньем, не ложью. Народ выжил своим добрым сердцем. Вставай. Буду биться с тобой, как Пересвет с Челубеем. Не дам кривде правду топтать!

— А нога?

— Я и с больной ногой с тобой справлюсь! — Он схватил тщедушного штурмана за грудки, кинул на койку и медвежьей лапой стал давить на грудь.— Винись, подлюка. Сегодня хнмичил?

— Было маленько, Степа, не без этого. Сама в руки плывет таньга.

— А еще будешь?

— Буду, Степа, буду. Я хитрый, как Али-баба. За мой опыт народ еще спасибо скажет, никто не знает, какие ждут времена.

Повар сурово смотрел в эти лукавые, каверзные глазки.

— Если бы ты один был такой! Совсем оборзели. Куда заведете страну, в какую пучину? И судить вас некому — прокуроры сами такие. За мешок отрубей — год принудки, за мешок денег — партийное предупреждение... Но ты у меня получишь сполна, без всякой прокуратуры. Я сам задушу тебя!

Курсант трясся, спрятав лицо в коленях, а когда глянул — вся рубаха у штурмана была в крови. Повар, запрокинув голову, стоял возле раковины. На перемену погоды у него часто текла носом кровь.

Пензиков застирал в прачечной рубашку, повесил в сушилке, постоял один у фальшборта на ветру; в темноте по волнам скользили блики иллюминаторов, сиял контур звездного ковша и далеко-далеко на мысу посылал знаки огонек маяка... Поднимаясь по трапу наверх, штурман вспомнил, что оставил портсигар у Елукина.

Моторист Желтоног уже заступил на вахту. Елукин лежал на боку, свалив колыхающееся брюхо в промятую койку, и с закрытыми глазами оплакивал судьбу.

А мне, бе-бе-бе-бедному мальчонке,
Эх, цепями ручки да ножки закуют!

Курсант, мотая головой, покатывался.

— Василич, какими цепями? Кандалами, что ль? Теперь же нету кандалов. Стальные браслеты.

Утром «Поллукс» бросил якорь на рейде районного поселка. Спустили мотобот. На берегу моторист-артельщик пошел за хлебом, а Пензиков с оленьей шкурой, рогами и своей неразлучной кожаной сумкой направился в другой край, в аэропорт.

Борт ждали вечером, но билеты продали на три дня вперед. Возвращались из тундры геологи, студенты-строители, сезонники, повсюду громоздились их мешки и рюкзаки. Народ слонялся в зале ожидания, в буфете, на улице. Пензиков покрутился около кассы, заглянул в отдел перевозок и, хотя не светило ни с какого боку, знал, что улетит.

В стороне от пассажиров, куривших на солнышке, держался милицейский лейтенант и его подопечный, браконьер, конвоируемый после суда в город. Тут же был ящик с конфискованными за лето ружьями. Пензиков перекинулся парой слов с лейтенантом, упомянул своего дядю, фигуру известную в областной милиции.

Браконьер сидел на ящике с отставшей доской и читал газетный клок в масляных пятнах.

— Там почитаешь, время будет, — сказал лейтенант. — Возьми вон кирпич да прибей. Ты же плотник.

— А ты сам прибей, цэй штукой. — Браконьер с ухмылкой кивнул на оттопыренную полу лейтенантовской куртки.

— Эта штука еще для тебя пригодится.

— Ни, у мэнэ и так дирок богато.

Пензиков доску приколотил, угостил лейтенанта и браконьера английскими сигаретами и отошел ни с чем — знакомых у лейтенанта в кассе не было.

Шагах в двадцати, возле газетного киоска, разбили табор биологи со своими ящиками, клетками, тюками. Везли белых сов, казарок, молодых песцов и леммингов. Биологов было трое — мужчина в зеленой штормовке и девушки, с виду студентки. Пензиков завел разговор о тундре, о птицах — прошлым летом «Поллукс» высаживал на Дровяном мысу такую же экспедицию, упомянул, что и он член географического общества. Сложив свои пожитки возле экспедиционных рюкзаков, Пензиков принес воды в брезентовом ведерке, почистил клетки, накормил казарок и тявкающих песцов. Совы тосковали, не ели. Биологи ждали спецрейса и обещали взять штурмана с собой — пара мужских рук в дороге не помешает...

В тот же вечер в такси, с оленьими рогами и шкурой на заднем сиденье, он ехал по ухабистой дороге к городу, в стекла бил осенний затяжной дождь. Где Илона? У своих подружек или на Северной, где он снимал ей комнатушку. Своего угла в этом городе у него не было. Квартиру после развода оставил жене, она тут же поменялась на Тюмень, потом на Хабаровск, и следы затерялись.

Пензиков познакомился с ней, артисткой оперетты, в самолете — вместе летели из Минеральных Вод. Два года после их скоропалительной свадьбы она не хотела детей, а когда родилась Илона, все ее мысли были в театре. Годовалую дочку Пензиков отвез на лето к своей тетке в Куйбышев, там девочка и осталась. В то время Пензиков ходил на Европу, таскал для семьи модные тряпки. Годами жили, отдыхали порознь, потом она кого-то встретила...: Дочь? Оставит ему дочь, если он откажется от квартиры и подарит старинное, с рубином кольцо, его единственную семейную реликвию.

Там, в Куйбышеве, у тетки Илона и выросла. Все у нее было как у других обеспеченных детей — и пианино, и пудель, и золотые рыбки в аквариуме. Пензиков прилетал с теплохода, нанимал на весь день такси и катал ее с пуделем по городу. В «Детском мире» она набирала игрушек, сколько могла унести.

Потом месяцев на восемь он уходил в рейс, отправляя из портов переводы и посылки. Тетка держала воспитанницу в узде, пока она не закончила музыкальное училище. А после училища в прошлом году вдруг самовольно явилась сюда, на свою родину. Как не хотелось ему оставлять дочь в этом бесшабашном портовом городе! Но она заупрямилась, и пришлось искать жилье, устраивать в садик — бренчала на пианино, учила детишек танцам. С дядиной семьей он не дружил, и, пока был в море, Илона оставалась без присмотра, сама по себе. Весной тайком от него уволилась и перебралась — куда? Гитаристкой в ресторан. Пензиков извелся за лето — знал он ресторанные порядки, знал. И музыкантов, и публику, и обслугу.

Дочь он разыскал через подруг на незнакомой квартире. Горло закутано, кашляет, на губах простудная сыпь. Сколько слез, жалоб, упреков! Каждый день таскают к следователю, хотят судить, а она знать ничего не знает...

Но утром, когда он провел разведку по своим каналам, оказалось, что пахнет жареным... В ресторане за ней, как водится, ухаживали. Она выбирала кавалера попьяней, вела его вроде к себе на квартиру, а следом крался амбал из оркестра и в глухом тупичке хлопал ухажера доской по затылку. Соучастница ограблений. Групповщина! И теперь, как ни крути, своими силами не отбиться, вот когда потребовалась дядина рука.

Два года назад Пензиков был под следствием, сидел в изоляторе, но выкарабкался сам. Спасла феноменальная память. В мореходке ему достаточно было внимательно посмотреть на лист — и все уже отпечаталось с формулами, цифрами, чертежами. Как ни пытался следователь сбить с толку, ущучить его, он безошибочно помнил все акты, грузы, накладные, помнил, где схимичил, чем покрыл. Его с миром отпустили, выплатили компенсацию и даже дали путевку в Ессентуки.

С теплохода он прилетел во вторник, а через два дня, под вечер, подняв воротник плаща, надетого поверх той модной курточки — ветер не стихал, — прощался на перроне с Илоной. Она уже отнесла чемодан в купе, и теперь в лыжной шапочке, с закутанным горлом, ковыряла на губе болячку и, как видно, ничего не поняв, слушала его наставления.

Двое суток он не спал. Днем на ногах, а ночью осаждали мысли... Дело стояло определенно: чтобы через день-два и духу ее не было в этом городе. И вообще нигде под своей фамилией.

Дядя не распространялся. Пензиков знать не знал, кто был этот молодой, который поехал с ними на такси за сто пятьдесят километров в роли жениха.

В райцентре молодые подали заявление, тут же получили брачное свидетельство, и вечером Илона уже держала новенький паспорт на мужнину фамилию.

Теперь она ковыряла болячку, капризничала. Где этот Саранск? Что ей делать в той глухомани? Ей все представлялось как в сказке: махнули волшебной палочкой, крэкс-пэкс — и вот тебе подставной муж, новый паспорт и свобода. Одно ей нравилось — новая фамилия. Березовская Илона!

Проводив дочь, Пензиков дал с вокзальной почты телеграмму на «Поллукс», чтобы повар прихватил забытый на судне банный халат — махровый немецкий халат, надеть после душа одно удовольствие.

Он шел по осеннему, залитому дождем городу, предвкушая, как возьмет коньяку, согреется под душем и будет спать, спать, спать. За два дня уплыло все — и рога, и оленья шкура, и пачка пятерок. Осталось только на бутылку коньяку, но сегодня ему ничего больше и не нужно.

У входа в винный двое, странно похожие друг на друга лицом, повадками, одежонкой, засекли его мичманку.

— Морячок, подкинь трешку.

Обычно он не скупился, давал — не так часто у нас просят, а тут не стал объяснять.

— Отвалите.

Когда, поправляя на плече сумку, Пензиков вышел из магазина, те двое уже стояли в подворотне и знаками подзывали его к себе. И он почему-то пошел. И только близко, шага за три, по их жалким затравленным глазам понял ошибку. Они хотели вернуться туда, в свой дом, выместив на нем злость за то, что здесь, на свободе, они чужие... Бить первым! Он ударил с левой, на ходу, но второй одним движением снизу вверх задрал, накинул на голову плащ, и в спину, ребра, живот посыпались мелкие ножевые воровские укусы...

Утром, отходя после наркоза, он мучился, забывался, стонал, и загипсованный по горло паренек смачивал ему ваткой губы. Выплыв из забытья, он смотрел в потолок, на старинную лепку, силясь скинуть с себя тяжесть нависающих цветов, и вдруг тело в потоках розового дыма поплыло вверх, над склонами зеленой сопки, к вершине, где сливались в один хор многие голоса, и он сам туда направлял себя, в эту найденную обитель.

Загипсованный, нарезая на блюдце лимон, вдруг оглянулся на затихшего штурмана: на белой подушке быстро менялось лицо — к бровям, со лба как бы наползала черная шапка...

«Поллукс» вернулся в порт в середине октября. Дожди сменились мокрыми метелями, тянулся за штормом шторм. Елукин взял отгулы и, сложив с себя камбузные полномочия, вторую неделю жил у моториста, в его отдельной двухкомнатной квартире. Комната, отведенная гостю, была ободрана, с темным, в трещинах потолком, без мебели — только у окна

круглый тяжелый стол да на полу у стены ватный матрас и рядом конторский стул, на котором висел елукинский пиджак. Сам Желтоног спал в другой комнате, тоже на полу, поставив в изголовье вместо столика папиросный ящик с женской гипсовой головкой.

В квартире было сумрачно, тихо. Повар в майке, в трикотажных штанах лежал на боку, не в силах понять, вечер сейчас или утро и куда ему надо сегодня ехать. Под растянутой майкой в тяжелом дыхании колыхался живот. Моторист, прижимая гипсовую головку к виску, неслышно ходил от окна к двери и вдруг остановился над гостем.

— Хорошо русский человек начинает жизнь и так погано ее заканчивает... Да, любит наш Ваня все порушить, спалить, а потом биться головой об стенку: «Жизнь проклятая!»

Елукин протянул вверх непослушную руку.

— Плесни.

— Сегодня налью, а завтра ни грамма. Завтра у нас великий день. Решается твоя участь.

Он поставил на подоконник гипсовую головку, принес из секретной захоронки вина, и Елукин, умиротворенный, заснул.

Разбудил его тонкий скулеж. Было позднее утро. Желтоног в спортивной рубашке, выбритый, освеженный, сидел возле стола, держа на руках грязную помесную собачонку.

— Налей,— попросил повар, стеная.

Желтоног остерегающе погрозил ему.

— Но-но! Пока не закончим...— Он озабоченно посмотрел на свои карманные часы.— Надо бы в парикмахерскую тебя, подвить волосы, покрасить, но времени нет. Скоро сеанс. Удача! За трешку сторговал ее возле пивного ларька. Очень кстати!

Собачонка дрожала, повизгивала и стучала зубами.

Желтоног повел повара в ванную, потер ему спину за отсутствием мочалки носовым платком, принес рубашку, костюм, причесал височки и на шее завитки. Елукин беспрекословно слушался. Желтоног усадил его возле стола, выволок из-под койки дрожащую собачонку.

— Тебя тоже надо искупать. Вся как свинья в грязище...

— Да она со страху помрет.— Елукин морщился: под ложечкой кололо раскаленной иглой, болело за грудиной.

— Не помрет. Нельзя показывать тебя Елене Ермиловне с таким страшилищем.

— Кто это, Елена Ермиловна?

Желтоног тихо засмеялся.

— Узнаешь, всему свой срок.

Странная перемена произошла с ним за эти недели. В рейсе он был хмур, замкнут, нелюдим, а теперь рассуждал с апломбом, посмеивался, шутил, и эта неслышная летящая походка... Он вроде был наладчиком электроники на подводных лодках и плавал мотористом на «Поллуксе» первый сезон, никто толком не знал, что он за человек и как попал в контору.

Елукин в пиджаке, при галстуке сидел у стола, слушал, как моторист в ванной разговаривает с собачонкой, и не мог одолеть десяти шагов, чтобы поискать на кухне бутылку. Как всегда на выходе из запоя подстерегала изнурительная слабость. Он повернулся к окну. Нижнее стекло закрывали банные веники, уложенные между рамами, а выше, над форточкой, качалась ветка с мокрыми желтыми листьями. Домой он собирался, домой, бегут дни его долгожданного отпуска!

Появился Желтоног с мокрой собачонкой, поставил ее на стол, обтер майкой и, накрыв как попонкой своим пиджаком, веселым взглядом окинул повара.

— Сегодня твоя жизнь ставится на кон. Женю тебя на Елене Ермиловне. Она тоже не знает тебя и сегодня в первый раз увидит. Великое дело семья! Я тебе завидую. Когда-то и я был в силе, любил и был любим. А теперь...— Он протянул руку к гипсовой головке и прижался к ней щекой.— Теперь она разделяет со мной подушку.

Желтоног еще раз осмотрел повара, ножницами подровнял ему завитки, выстриг в ноздрях черные кустики.

— Первое впечатление неизгладимо!

Он помог Елукину встать, провел по коридору в свою комнату, посадил на табурет у голой стены и дал ему на руки собачонку.

— Т-с-с, никаких вопросов. Все включено. Она тебя разглядывает. Сиди непринужденно, ласкай песика, вспоминай детство или обдумывай свою будущую жизнь. Улыбнись, как будто про себя, у тебя хорошая улыбка.

Он исчез, вскоре вернулся довольный и повел повара в его комнату к столу.

— Все чудесно, Елена Ермиловна в восторге. Я гениально придумал с собачонкой... Женщина рассуждает как — если любишь животных, не обидишь и ее. Она согласна на брак. Вот тут распишись.— Он подвинул к повару какой-то листок и вложил ручку в его непослушные пальцы.— Распишись, и я тоже выпью за ваш союз. Разрушение жизни началось с чего? С семьи. «Пережиток капитализма»... Любит, любит русский человек поглумиться над своими святынями!

Елукин повел по шершавой бумаге пером — из-под него, как из-под точильного камня, вдруг брызнули искры...

— Теперь пей. Это последний стакан в твоей жизни. В супружестве так не пойдет. Завтра начнем лечение: поколем магнезию, витамин В. Не поможет — на месяц усыплю тебя. Проснешься трезвенником. У вас будут детки, я буду заниматься с ними английским языком. «Вот из ю нэйм?» А потом мы все отсюда уедем. Куда? Т-с-с,— он посмотрел наверх, на потолок, и зашептал: — В один городишко. Там у меня лучший друг. Тоже облучился, как и я, но не запил, пошел в семинарию, закончил, получил приходик. Ты спишь? Спи, только не вздумай дать ходу.

Засыпая, Елукин чувствовал, как моторист ползает в ногах, обвязывает щиколотку веревкой.

Перед утром Елукин проснулся, чувствуя себя полностью исцеленным. Слабость отступила, теперь только выходиться на воздухе. Он распутал на ноге веревочку, привязанную к отопительной трубе, сложил в эмалированное ведро свои пожитки, накрыл их сверху пензиковским деревянным блюдом, как щитом. В потемках пробрался по коридору к двери, вынул из ручки напильник, только открыл — собачонка шастнула под ногами, рванулась на свободу.

В тумане он долго бродил среди спящих темных домов, с тусклыми лампочками у подъездов, пока, наконец, по гудкам тепловозов не определил, где вокзал.

Спрятав в автоматической камере свое ведро, Елукин подремал до рассвета на подоконнике, потом в парикмахерской помыл голову, постригся, купил в универмаге дорогой венгерский портфель, в кооперативном магазине — панской колбаски и мяса. Покупки сложил в новый цинковый бак. Неродная мамка, вторая жена отца, лет десять просила привезти из города такую посудину кипятить белье.

Соседями оказались слесари-монтажники, командировочные, тоже возвращавшиеся с продуктами в свой городок. Подняв в проходе крышку, они застелили газетами холодильный ящик, уложили свой и елукинский припас. На грязных оконных стеклах, не падая, держалась дождевая вода, и Елукин думал, как добираться в деревню в ботинках и легком плаще.

Прошел буфетчик со своей корзиной, предлагая карамель, вафли, плавленые сырки, следом за ним молодой немой, быстро раскладывая на столиках травники, сонники, церковные календари, портреты казненного императора, Высоцкого, генералиссимуса...

Монтажник постарше, узнав, что Елукин все еще холостой, сочувствовал: да, да, в таком возрасте одному, ой, как худо. Сам он прожил со своей сударушкой тридцать лет, прожил тихо, мирно, как петушок с курочкой. И вы найдете подружку, утешал он Елукина, поправите родительский домик, возьмете семейный подряд, будете выращивать поросят или телочек... «Каких телочек? Что такое живность, я давно забыл. Присматривал как-то за обезьяной...» «За обезьяной?» «Да, стармех вез сынишке из Джибути». «И чем же вы ее кормили?» «Да чем?.. Картошкой». «И она ела?» «Вот это не могу сказать. Мое дело было предложить».

Носили в судках борщ, свинину, но Елукин пил только минеральную, купленную в городе. С вечера крепко заснул и не слышал, как попутчики выбрались. А когда рассвело, вокруг уже были знакомые холмы, речушки, путевые будки и притихшие постаревшие поселки.

Холодильный ящик оказался пуст — только одни газетные обрывки.

Проводник разводил руками: может, монтажники, а может, еще кто. Теперь никому нет веры, на ходу подметки рвут.

Автобус ходил до половины пути по шоссейке, дальше начинался проселок. Было туманно, пасмурно, но сухо. Елукин брел, не грязня ботинок, километров пять и на пригорке, сев на бак, выпил последнюю бутылку минеральной.

По склону разбрелись избы, остатки брошенного жилья. Одна такая деревня уже осталась позади. Когда-то по этой дороге, поставив на плечо фанерный чемодан с мытой картошкой-скороспелкой, спешил к поезду паренек. В артиллерийское училище — вот куда метил. Незаметно, по одному так и разбежались. Сколько силы потрачено на жестокость, разор, и все от неистребимой веры в свою исключительную правоту, веры в чудо одним махом перелететь в волшебный край, который привиделся одному мечтателю... Никакого уважения к человеку, к его житейской мудрости, к его долгому, терпеливому труду. Сломать, сокрушить, сдвинуть... Легко сеется зло, и как быстро наступает жатва.

Далеко в просветах тумана показались избы или скирды, но, подойдя ближе, он увидел, что это ветлы. Где-то близко уже Баранья гора. Вовсе не Баранья, а Бранная, место давней жестокой сечи. Вдруг среди мглы блеснуло маленькое, как зимняя луна, солнце и проглянула дорога, помнившая рати ополченцев, бродяг, забубенных гуляк, смиренных просителей, раскулаченных, инвалидов, фэзэушников... Такая она у тебя, родина, и каждому в свой час предстоит с ней проститься. Мать не судья, только повиниться и заплакать, что стал не опорой, не сыном достойным, а шутом. Как поздно понимаешь все, когда уже ни сил, ни желаний!..

Елукин шел по деревне в своих чешских ботинках, в новом плаще, с кожаным портфелем, больше похожий на солидного чиновника или директора столовой, чем на судового повара, и только портил впечатление цинковый бак. Поставив его перед калиткой, навешенной на подгнивший столбик, Елукин снял скрученное проволочное кольцо, вошел во двор, увидел знакомые ступени, банку с рябиной на окне и вдруг понял: не здесь прошла лучшая пора его жизни и не здесь ему доживать...

Старик держался молодцом, только все безнадежно путал — лесозаготовки, финскую, коллективизацию, и прошлое являлось ему чаще в комическом свете: как ночью бежал из деревни тайком, как сняли на вокзале сапоги, как в бане взорвался котел. После войны он работал истопником, и Елукин, не поступив в артиллерийское — математика! — жил у него в каморке при бане и постигал поварское ремесло.

Старушка тоже была на память не крепка и через каждые полчаса спрашивала: «У тебя есть шерстяные носки, Степушка?» Оцинкованный бак был ей теперь ни к чему, нет сил двигать, пусть в другой раз привезет маленькое ведерко.

Насчет шифера старик отговорил хлопотать, вот если бы выписал в правлении навозу. Без своей картошки не жизнь. А через пару минут, хлебнув бражки, забыв про картошку и навоз, выкрикивал слабым голоском свою любимую:

По реке топор плывет
Вдоль села Кукуева...

Колхозная контора находилась на машинном дворе. Агрономом была Тоня, бывшая елукинская одноклассница, тайком поглядывавшая на него... Теперь, узнав, что надо, Тоня раскричалась: «Навозу? А где горючее? Тут лен вывезти нечем, вот-вот хлынут дожди». С горючим у них получилась осечка: кладовщица, она же заправщица, отпускала силос, а на заправку послала сынишку, тот заигрался в футбол и фондов как не было.

По машинному двору, забитому поломанными тракторами и сенокосилками, бродила и протяжно ревела тощая заблудшая коровенка.

С машинного двора Елукин поднялся на холм, на погост, постоял возле маминой оградки. Тут был весь их род, и дядья, и тетки, и бабушка, раба Божия Гликерия Васильевна Колотова, и брат ее, народный учитель Сусанинской волости... В бурьяне у ограды догнивал деревянный, дощатый шар, и, присмотревшись, Елукин понял, что это барабан луковицы с церкви. Обезглавленные стены ее были испещрены суриком и чернью: «Витос, Али-баба и Штуцер отдали лучшие дни этой картошке».

Гостил Елукин четыре дня и все, что сделал, — сменил в избе умывальник да в последний вечер выкопал ямку и поставил в нее новый столб, чтобы калитка не шоркала.

Вечер был тих, на бугре возле церкви приезжие пэтэушники развели огромный костер, и местные жиганы крутились там на мотоциклах.

Старик на радостях все эти дни щедро угощал себя бражкой и, пока Елукин рыл ямку, трамбовал ручкой лопаты — топтался рядом, воинственно грозил в сторону улицы:

— Пил, пью и пить буду. Кто мне указчик, кто запретит? Их ли это холуйское дело? Смеются: «Твой Степка повар...» Дубье! Корабельный кок выше сухопутного полковника!

Изба кособочилась, правый угол подгнил, но его это не печалило.

— Не придавит. Мы со старухой вот-вот, а ты здесь не житель...

По реке топор плывет
Вдоль села Кукуева...

Возвращался Елукин ночью, в общем вагоне. Дремал, примостив под голову портфель, и рано утром, закусывая в станционном буфете, обнаружил, что старушка все перепутала — вместо вареных яиц положила ему в дорогу сырые, и они чудом уцелели, не разбились.

Эмалированное ведро, подаренное Пензиковым блюдо, книга «Моряк в седле» остались в автоматической камере — не мог вспомнить ни шифр, ни ячейку.

Пензиков все еще лежал в больнице водников. Раны затянулись, поджили, но ослабевшие ноги не держали — видать, задело позвоночник, какой-то нерв.

«Поллукс» поставили в ремонт, на холодный отстой. Елукин каждый день ездил на караванку, готовил сразу и ужин, и обед и часа в три появлялся в больнице...

В гардеробе с трудом натянув короткий рваный халат, он пошел через галерею в новый корпус.

Пензиков днями читал. В палате он держался обособленно, ни в карты, ни в шиш-беш не играл... Если бы кто из больных знал того неунывающего помощника с «Поллукса»...

Вывернув из газет стеклянную банку с горячим бульоном, повар достал ржаные сухарики, кусочек селедки, пристроил за спиной повыше подушку. Сегодня обещал посмотреть профессор, сказать свое слово, что к чему...

— Всех лечит, поможет и тебе. Светило по этой части... Какие-нибудь укольчики, растирания, витамины. К весне подымешься, пройдем комиссию и снова на «Поллукс», по старой дорожке мореманской на Восток. Небось на полярках последнюю картошечку подъедают...

Штурман, заложив между листами порошковую обертку, молчал, а в глазах стоял тоскливый вопрос. Он ждал писем от Илоны! После тех проводов на осеннем перроне только и была одна открытка с елкой и опять ни слуху ни духу. Жди, такая дочка напишет, пока снова не грянет над головой гром...

Штурман нехотя грыз сухари, болтал в банке ложкой. Елукин освежил подоконники, батарею, вымыл пол; посетители убирали палаты по очереди.

После уборки все так же душил неистребимый лекарственный запах, и даже днем бегали тараканы; ночью, спасаясь от их полчищ, в палате не выключали свет. Тут и здоровый истомится, забрать бы отсюда, но куда? К Желтоногу в его затхлую берлогу с лазерной установкой? Сам Елукин ночевал у знакомого шкипера в хибаре, где можно спать только в тулупе и ватных штанах.

Профессор, невзрачный, замотанный, больше похожий на электрика, в мятых брючатах, дешевых ботинках с развязанными шнурками, осмотрел больного, почитал выписки, что-то сказал лечащему врачу и дал Елукину свой телефончик: звоните.

— А так, если между нами? — сказал Елукин, провожая профессора к выходу через галерею.

— М-м, что сказать. Все зависит от человека. — Он нагнулся, завязал шнурки. — А вы на рыболовном флоте или торговом?

Елукин вложил ему четвертную в нагрудный карман.

— Может, домой забрать?
— Как хотите... Но для себя рыбку ловите?
Тоже светило! С таким трудом искали ход: Леха-старпом свел с официантом из «Якоря», покровителем институтской поварихи, авансом передали через нее коньяку, копченой колбасы и вот намекает еще на рыбку. Вчера в палате механик со сломанной рукой выходил из себя, доказывал, что всех местных профессоров знает наперечет, а такого — Пигузов — слыхом не слыхивал, какой-нибудь вымогатель, шулер!
Профессор выписал какие-то розовые югославские таблетки, но Елукин не повернл в иих. Пить целый год!
И вдруг малярша, красившая па слипе буксир, дала адресок дедатравнника из Лешуконья. Дескать, не было еще случая, чтобы не помогло, и двадцать первого февраля, на масленицу, надев ватные брюки, судовой тулуп — мороз ломил лютый, — он поехал автобусом в эту деревушку.
Старичок крутил на столе мясорубку, размалывая пахучие корешки. Этой мучицы он и отсыпал стакана два — и от ног, и от насморка, а в старину этим порошком спасались от чумы!
Кроме койки, застеленной пикейным покрывалом, газеты были на подоконниках, этажерках, шкафах. Он не только читал — подчеркивал красным и синим. Указуя пальцем на свой газетный клад, старичок кричал:
— Как появится где фокусник: «Всех накормлю, всех согрею!» — сразу его в скорбный дом. Иначе доберется до власти и крови будет, крови!
С этим снадобьем возвращался Елукин к автобусной остановке. На улице ни души. Масленица! Какие уж тут хороводы, пляски, игрища! Странный народ... Наобещай с три короба, помани — бросят веками нажитое, свое, побегут табуном в новую кумирню.
Травные порошки Елукин давал штурману с неделю, а потом усомнился: что это за лекарство: и от немощных ног, и от гриппозного насморка, и от чумы?
В те дни он проходил медицинскую комиссию и в поликлинике неожиданно встретил Желтонога. Моторист сдал квартиру внаем, а сам оформлялся в экспедицию на ледник Вавилова. Он и Елукина звал с собой — не прогадает.
— Ты все в той же конторе горбатишься за сто рублей? Давай к нам. Оклад как везде — копейки, зато полевые, суточные...
В марте заплатили тринадцатую, и Елукину на эти деньги удалось снять чистую теплую комнату. Он и сам рад был сбежать из той шкиперской халупы — ночью, накануне переезда, его укусила за руку какая-то тварь, морозы свирепствовали, и мыши лезли в постель греться. Рука в запястье вспухла, покраснела, но в поликлинику он не пошел, там первым делом закатают сорок уколов. Авось заживет, у него кровь здоровая, ничего же не случилось, когда на «Алатыре» по пьянке ткнули ржавой вилкой в ягодицу.
Из больницы везли на такси и еще квартал вдвоем с шофером несли на руках ослабевшего штурмана — перед домом зияла незасыпанная траншея. Комната была светла, просторна, с нарядными обоями — сравнить ли с той тараканьей палатой. Профессорские таблетки и знахарские порошки штурман не пил, лечили своими средствами. Вечером приходил Миша Гонтарь, медник с судоремонтного, и наводил биополя. Миша садился на койку к штурману, клал руку на безжизненную ступню, смотрел больному в глаза:
— Не отвлекайтесь. Вверх от пальцев идет теплая приятная волна...
Пальцы в самом деле оттаивали, теплели, но врачеватель уходил, и они опять коченели в холоде.
Медник согласен был навещать каждый день, но где напастись десяток на белую?
Накануне майских Елукин с куском кеты семужного посола подстерег профессора возле института. Как быть? Никаких перемен, только два-три шажка возле койки. Говорят, в Харькове есть доцент...
Профессор спрятал сверток в портфель, нагнулся, завязал шнурки.
— По врачам не ходите, будут говорить каждый свое. Последнее средство — перемените климат.
В мае Елукин уволился, продал свой английский шерстяной костюм, полушубок, пензиковский золотой перстень и послал на разведку письмо одному корефану в Евпаторию.

И вдруг снова вынырнул Желтоног.
На заборе возле трамвайной остановки Елукин увидел красочное объявление: кооператив «Кодекс» предлагал гражданам избавить свои жилища от докучливых насекомых. Был телефон исполнителя, имя — Валерий Янович. Желтоног?
Звонку бывшего сослуживца моторист обрадовался без притворства. С ледником отпало, надоело быть поденщиком, основал кооператив, клиентов тьма, нужны помощники... Жаль-жаль... Как штурман? Ехать на юг? Прекрасно! У него младший брат в Кропоткине: свой дом, сад, чудесный воздух... А осенью, когда вернутся, пусть позвонит — может, набежит капитал, чтобы издать елукинские басенки и поэмы.

Младший Желтоног сдал им времянку из двух уютных крохотных комнаток. Под окнами зеленели грядки лука, присыпанные белым цветом вишни и алычи. Елукин устроился в ресторане на железной дороге, а Пензиков на весь день оставался во дворе за хозяина и за няньку. Младший Желтоног катался на железной дороге рефрижераторным машинистом, а его жена, цеховая нормировщица, маялась с больной, хилой девочкой, застуженной еще в родильном доме. Такой крохе уже долбили ушко.
Первым спозаранку исчезал Елукин, потом убегала вечно опаздывающая хозяйка, штурман ставил на керогаз кастрюльку и ждал, когда девочка проснется, подаст голосок.
У соседей в загородке кричали индюшки, трубил на подходе к переезду электровоз, пели на черешне скворцы... Жизнь проходит в ожидании счастья, и только потом узнаешь его в каждой минуте, в каждом прошедшем дне.
Он слил из кастрюли кипяток, вытряхнул в фарфоровую чашку с желтым утенком нарезанную морковку, размял кушанье вилкой и, посадив девочку на колени, в саду, у стола, начал кормить. Девочка капризничала, отворачивалась, он терпеливо ждал... Илона родилась без него, он увидел ее через три месяца. Жена приехала в Клайпеду, на теплоход, и они купали дочку в каюте, под краном, постелив в раковине пеленку. Где они теперь обе, с кем? Незаметно набирается вина, что судит тебя потом всю жизнь.
Опираясь на палку, он гулял с девочкой, ковылявшей рядом с ним на слабых ножках. С каждым днем они уходили все дальше и дальше мимо складов утильсырья, через пустырь к железной дороге. А днем, в жару, когда девочка спала в затемненной комнате, он плотничал, устроив верстак в саду, под вишнями. Не забылось давнее отцовское ремесло.
Под вечер с бурей налетел дождь, потом было тепло, сыро. Пензиков стоял в темноте за калиткой, слушал, как со стороны пустыря доносится одинокий голос бредущего домой Елукина:

Что мне горе! Жизни море
Можно ль высушить до дна...

Повар, булгача собак, с туфлями в руках брел босиком вдоль забора. Платили гроши, будешь бережливым, экономным. Днем на кухне донимала жара, с непривычки к береговой жизни он уставал и вечером, добравшись до койки, сразу засыпал. А штурман уходил со своей постелью в сад, где под деревьями была старая койка с панцирной сеткой, и долго не спал. Сквозь листья светились далекие звезды, слышался в соседних дворах лай, квохтали сонные куры, на маневровой горке в летней тишине голос из репродуктора разыскивал цистерну на Гудермес... Душа томится, ждет, вопрошает, ищет опоры. У каждого свои заблуждения, и у всех одна надежда на искупление.
В середине лета Пензиков уже ходил с девочкой к реке, катал в лодке, а днем собирал в саду жерделы, сушил на деревянных щитах.
Август был сухой, солнечный, но зной уже пошел на спад. Пензиков красил наличники, ставни, навесил желоба, залил цементом дорожки от сарая к дому. Ночами, слыша гудки электровозов, он представлял порт, сверкающие огнями буксиры, теплоходы, лихтера... Пора! Сперва в Саранск к Илоне, потом на север, домой.
Елукин собрал гостинец Илоне: груши, арбуз, коробку конфет. Сам он оставался до октября, раньше не отпускали, а потом... Бог знает.
На дорогу хозяйка сварила вареников из поздней алычи, Пензиков осторожно ел, чтобы не испачкать соком белую рубашку, потом напоследок покачал на иоге свою воспитанницу: «А чуки-чуки-чукарики...»

На ночном пустынном перроне повар остановился, опустил чемодан, черную кожаную сумку с гостинцами и вдруг нагнул свою сивую.

— Пожалей Степу.

И Пензиков гладил от макушки к шее мягкие, поредевшие завитки, смотрел, как над рельсами, вдали, не торопя прощания, застыли белые, выжидательные огни.

г. Санкт-Петербург

Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ

На закате дня и ночи

Был человек — и нет человека.

Точно пословицей, сорим мы этой фразой, даже подумать не успевая, что смысл ее скрыт не в словах, а в тире между ними. В маленьком тире, которым мы единым махом, а жизнь не сразу — миг за мигом — вычеркиваем собственные имена. При нашем злостном попустительстве!

Но до этого А. И. Голенец додумался с преступным опозданием, а относительно начала нашего рассказа — почти что год спустя, когда мамаша его, В. К. Голенец-Тимошкина, уже навсегда исчезла из видимого мира.

Пока же, в начале этой истории, Альберт Иванович пребывал в счастливом и непростительном неведении. То есть мамаша его, прежде на две головы над ним возвышавшаяся, теперь на цыпочки приподнималась, чтоб его за шиворот ухватить, а он и в ус не дул — весь новым заказом околдован.

Что правда, то правда: заказов таких А. И. отродясь не получал — для областного академического театра в оперу Верди «Отелло». Но только плохие дети тем и плохи, что непременно себе оправдание отыщут.

Оправдания же для А. И. не было — не было, и взяться оно ниоткуда не могло.

I

А природа в ту весну не встала — буквально вскочила на ноги. И людям тоже пришлось подхватиться, забегать. Казалось, один только скрипучий велосипед Альберта Ивановича не прибавил поселку скорости и суеты. Даже плавная, будто струйка киселя, Таисья, мимо палисада которой А. И. ехал, конечно, уже без прежней оторопи и тоски, однако — делая немалый круг — каждый день все-таки ехал, Таисья и та клокотала среди грядок вертким родничком.

А о мамаше и говорить нечего. И раньше всякую весну в ней просыпался неудержимый инстинкт продолжения рода и вида репчатых, зернобобовых и особенно пасленовых культур. Теперь же, когда рассада на балконе уже друг друга глушить принялась, а земля только-только очнулась и пригрелась, удержу мамаше не стало никакого. «Ехай» с ней на участок да «ехай».

Альберт же Иванович любил весну издалека: чтоб за плечами — пресса и прочая ожидаемая корреспонденция, чтоб под ногами — педали, а за штакетником — сады насквозь в цвету, точно застывший фейереверк, точно сфотографированный на долгую память праздник.

(То-то и оно, что на долгую память! Да кто же знал, кто такое помыслить мог?!)

А еще лучше — чтоб вокруг — чуть оперившийся лесок, а в руках — свирелька недостроенная. Птицы не то, что соседи: птицы не обижались на пронзительность нот. Один только дятел — ну что тебе тетя Дуся из-за стенки: тук-тук-тук — буквально из себя выходил. А А. И. ему скажет бывало:

— Дуся ты, дуся! — и расхохочется, и от того еще бестревожней на сердце станет.

(И это в последнюю-то мамашину весну! Да кто же знал? Кто пусть в страшном сне такое привидеть мог?)

По выходным мамаша на него обижалась вдвойне:

— Я все же не ломовая лошадь. А и лошади отдых положен.

Но А. И. всякий раз, с постыдной бестрепетностью упершись в стол, тряс на это пухлыми щеками:

— Сегодня — без меня, мамаша. Сегодня без меня!

Вот и в тот четверг, даже, пожалуй, в тот самый миг, когда Ирина Олеговна храбро нырнула длинным каблучком в мягкую грязь их автостанции, а он еще знать не знал, что особенная эта женщина есть на свете, но все-таки в стол уперся, лоб насупил:

— Я художник, мамаша. Художник! Меня вдохновения посещают!

— Вот беда: папка пил, а дитя в ответе.

— Если вы меня опять придурком обзывать станете!..

— А не обзову — поумнеешь, что ли?

— Вам картошка лучше сына, — упрекнул и устыдился тут же.

— Нехристь, турок! Я ее для кого сажаю? — И жалейку начатую со стола — хвать: — Ну? Теперь чем отговариваться станешь?

Конечно, обидно ей: первый он у нее, болезненный, трудный. До трех с половиной молчком молчал — извелась по бездорожью к докторам ездить. А потом младшенькие пошли — от нового мужа — злющие. Пихаются, щиплют — радостно им, что он мягонький и тихий. Бывало, всякий свободный миг мамаша через пустырь домой мчит: Мишку за чуб оттащит, Светку за косу (а случалось, и подружек Светканазовет: одни щекочут, а другие штаны вниз тащат — бесстыжие), обнимет его, прижмет: «Альбешечка моя, балбешечка» — и с собой уведет в контору.

Конечно, теперь ей обидно стало — до крика, до духоты:

— Нет у меня сына! Одна под забором издыхать буду. Давите, топчите — некому заступиться! — И кофту распахнула, и в потолок жалобно стала смотреть, будто она в самом деле под забором уже, а над нею — «Жигули» да «Белазы».

— Мамаша... — и голос дрогнул вдруг.

И что всего-то постыдней — ведь и сам бы сказать не мог: так ли уж потрясла его изображенная картина или же наперед знал: вмиг оттает мамаша — стоит ему только слезу пустить.

Так и вышло.

— Дармоед! — Но это она уже просто сказала, чтобы последняя точка за ней осталась. Чукчу ногой отпихнула и к двери пошла — в резиновые сапоги обуваться.

— Жалейку-то! Жалейку отдайте!

Вот так и начался тот четверг. И звонок, хотя давил на него ломкий пальчик Ирины Олеговны, рявкнул по-обычному грубо. А. И. решил даже, что это соседка пришла — Дуся, сказать, что у нее мигрень и что она спать ложится. Потому и дверь распахнул для храбрости резко... А на пороге — молодая дама! И, кажется, не меньше его напуганная: точно гвоздь, под своею шляпкою напряглась и ресницами хлопает. Но больше всего в тот первый миг изумили А. И. запахи: хоть и фальшивые, парфюмерные, а только без лишней настырности, как в мамашиной «Красной Москве». И что необъяснимо — волнами идут, как в природе, не смешиваясь. На цыпочки встал — белая сирень, чуть колени согнул — жасмин, натуральный жасмин!

— Странно вы меня встречаете, — не обиделась, улыбнулась гостья. А изо рта — душистый апельсин!

— Вы, наверно, из хора пенсионеров, к мамаше, — догадался Альберт Иванович. — Прогульщица она у вас. Это я так шучу. Картошку сажать побежала. Только если она вам другое сочинит — вы меня не выдавайте! — И он зашелся тоненьким неостановимым смехом. С ним часто такое бывало от смущения: и рад бы примолкнуть, а горло сотрясается само.

— Мне нужен Голенец. Мастер по народным инструментам, — женщина не выдержала такого веселого напора и тоже улыбнулась, но сквозь осторожность и испуг. — Сколько же мне лет, по-вашему, если я на хор пенсионеров тяну? — И в зеркало заглянула, и в нем под шляпкой знакомое и молодое лицо увидев, приободрилась.

— А урожденный Голенец стоит перед вами. Или вы другого себе в уме сочинили — культурного, в халате махровом?

И так она вся покраснела — до ушей, будто в самую точку он попал.

— У меня наследственность отягощенная, но отпечаталась исключительно на лице. А мозг не затронут! Я пока на инструментах не помешался, по две книжки в день читал!

— А я из города к вам, из оперного театра. — И, сумочку под другую мышку переложив, невесомую руку ему протянула: — Ирина.

Мамаша, с участка вернувшись, ни в какую верить не хотела: «Волынка, говорит, русский народный инструмент, а «Отелло» — английско-негритянская трагедия!» Из одной деликатности не ответил он ей: «Как же можно в хоре петь, культуру людям нести и не знать, что композитор Верди уважал волынку как общенациональный инструмент, который, между прочим, даже далекие шотландцы считают исконно своим?»

Не сказал, промолчал. Стоял и видел, как раздвигается занавес, золотою парчою расшитый, как тесно на просторной сцене от разодетых в пестрые материи актеров, но взгляды всего зала прикованы не к чумазому, сажей разрисованному Отелло, не к парикам и прочим бутафорским хитростям. Нет, среди этого моря фальши зритель сразу отыщет истинную вещь — не для туфты, для работы сделанную. Сначала только по виду ее отличит — тоже праздничному, но неброскому, деловому. А уж после, густое и сочное ее меццо-сопрано заслышав, на мишуру театральную и смотреть не сможет, так и прилипнет глазами к тугим бокам мехов, к дудочкам лакированным и веселой морде козы. (Художник театральный прислал эскиз с козой. А сзади к мехам — это А. И. еще прежде в специальной книжке видел — он хвост с мохнатой кисточкой приделает. Чукчу к лету стричь будет — вот вам и кисточка!)

И уж так он разволновался, так раззадорился — потом вообще ничего толком вспомнить не мог: играл ли он Ирине Олеговне на кугиклах или только на сопилке; свой закарпатский костюм, в котором он в клубе по праздникам выступает, демонстрировал весь или шапочку с перьями забыл надеть в суматохе; в ложбинку диванную ее усадил или же она на пружинах, бедняжка, мучилась; и какое варенье она больше хвалила — из шиповника или из арбузных корок; и какую травку для дочки ее он от простуды передал — медуницу или первоцвет.

Очень мамаша потом сердилась: думала, что это он ей назло ничего не запомнил. И хотя на самом деле кое-что в памяти очень даже ярко запечатлелось, именно об этом рассказывать мамаше было никак нельзя. Запрещала мамаша Чукчино пение, говорила, примета эта плохая — покойнику быть. А Ирина Олеговна, наоборот, смеялась и в ладоши хлопала. И еще долго потом у А. И. стоял в ушах ее мягкий хохоток. Ведь в самом деле удивительная была собачка: на каком инструменте ни заиграй, пусть и на губной гармошке, главное — чтоб проникновенное что-нибудь — Чукча хоть с улицы прибежит. У ног усядется, вся подберется, паузу выдержит и вдруг головку откинет: шея худенькая дугой, глаза не видят ничего, подбородок дерг-дерг... и в тот самый миг, когда человечья печаль уже на последнем гребне, свое протяжное «а-уув» в помощь, в сочувствие человеку шлет. И уже стихнет инструмент, а она все воет, страдает и не сразу затихнет наконец. Но глаза еще долго куда-то внутрь глядят, походка шаткая, отрешенная — непременно потом уйти ей надо, в чулане отсидеться.

Ирина Олеговна перед самым прощанием туда к ней пошла, на корточки рядом присела:

— А может быть, в прежней жизни ты была неудавшейся каскадной певичкой? — И лицо вдруг тихое-тихое сделала, как у Чукчи.

В часы первого смятенья, когда новая работа еще ускользала от зрения и ума, когда неостановимое предчувствие будущих совершенств не утешало, а, напротив, безжалостно било по нервам, А. И. мог день до вечера тупо слоняться по углам, часто и жадно обедать, а то еще забраться под теплый душ и тихо всхлипывать от наплыва бессмысленных переживаний. После чего он вообще переставал различать дозволенное и невозможное. Поэтому, должно быть, и в тот четверг, выйдя из ванной в самый разгар хоккейной баталии, он взял и заслонил собою телевизионный экран, намереваясь чмокнуть мамашу в седую прядку. А когда она отпихнула его (несильно, не как бывало — откуда ей было теперь силы взять? — а он и опять не заметил ничего!), в кухню пошел. И потому ли, что свет зажигать не хотелось, «Темную ночь» на жалейке затянул. Конечно, Чукча следом прицокала. И в том месте, где на словах про детскую кроватку говорится, к ногам теплым тельцем прижалась:

— А-ау-ав!

А мамаша как закричит:

— Рано! Рано отпеваете! — И ярким светом их, как водою, облила. — Потерпите. Теперь недолго.

— Любите же вы, мамаша, сердце рвать. Неужели я прошлым летом своих чувств к вам не доказал?

— Это когда старуха припадочная тебя расписываться звала?

— Болезнь всякого настичь может. А по годам Таисья вас куда младше.

— А с чего ж это Колька ее с тобой в один класс ходил?

— Будто вы не знаете, какая с ней беда случилась на заре жизни?

— Одно знаю: переживет она меня!

— И такое случиться может.

— Ты за что же мать родную так не любишь?

— Зачем вы плачете?

— Был бы хоть кому нужен в целом свете!

— Никому я не нужен. Перестаньте, ма-а...

— А ты, дурак, зачем носом хлюпаешь?

— Мне вас вдруг жалко стало.

— С чего бы это?

— А вдруг я вас раньше умру — вас такую кто терпеть станет?

— От меня мужья не к другим уходили — бог прибирал.

— Я и говорю: вслед за ними кому охота?

— Мне! Мне, убийца! Родной матери убийца!

После, уже *всего* после, каждое мамашино слово припомнил А. И. — будто в зеркало глядела. Но так нелепо человек устроен: пока не сбудется предсказанье — живешь, словно и не было его. А когда уже поздно исправить что-либо, когда делать уже нечего — только вспоминай и сопоставляй — тут и начинаешь диву даваться: эк все наперед было ясно сказано!

Сразу как басовые трубки были готовы, Альберт Иванович, не дотерпев до выходного, взял отгул и поехал в город — насчет язычков советоваться. Если их пластмассовые ставить, как Ирина Олеговна велела, — это, конечно, на века. Но звук тогда скучный получится — мертвый звук. Лучше всего для язычка бузину брать. Однако живой материал подстройки требует — вот и выбирай между удобствами и искусством. То есть для себя выбор он, конечно, давно сделал и теперь искал слова, чтобы Ирину Олеговну сагитировать. А когда их нашел, еще полдня повторял и репетировал, потому что приехал он в театр утром, а Ирина Олеговна, сказали, только после обеда будет. И как раз тот самый мужчина сказал, который больше всех ему был нужен — главный дирижер Григорий Львович. Но это не сразу, это уже к вечеру ближе выяснилось, когда Ирина Олеговна пришла, а Григорий Львович ушел отдохнуть перед спектаклем. И тогда они за ним следом на трамвае бросились.

Опасаясь опять ничего не запомнить и вернуться к мамаше ни с чем, А. И. старался не на Ирину Олеговну смотреть, а за окошко или же на других пассажиров. Но стоило трамваю дернуться, как запахи жасмина и белой сирени вновь накрывали с головой. И, упрямо не поворачивая короткой шеи, он все-таки косился в ее глаза: они в городе почему-то стали светлее, словно в крепкий чай лимона выдавили.

И вот, одною рукою шпильки в волосах пересчитывая, другою Ирина Олеговна уже в звонок звонить стала. А он бросился дверь выстукивать, потому что не поверил сначала, чтоб столько дуба зря ушло. Но, с другой стороны, и не жалко: дуб ведь в музыке бесполезен.

А Григорий Львович, будто желудь, на порожек выкатился — кругленький, в трусах, а на голове сетка. Очень А. И. понравилось, что главный дирижер их так запросто встречает. А когда он еще и запел «Ни сна, ни отдыха измученной душе» — чуть в ладоши не захлопал. Ирина же Олеговна вся почему-то напряглась, чашки ресниц сблизила:

— Я не настаиваю на фрачной паре, но все-таки! Адольф Иванович приехал к нам из области!

— Погибло все: и честь моя и слава, — совсем опечалился дирижер.

— Нет! Нет! Меня не стесняйтесь. Мы с мамашей, когда самая жара, еще и не так!.. Вы только одобрение дайте: язычки в волынку из бузины бы, а? Я в том году замечательной бузины насушил!

— А что — я похож на миллионера? Я могу за свой счет держать настройщика? Для двух тактов — как?

— Я сам! Я же понимаю, опера — храм! А час на автобусе мне нетрудно!

— Бессмысленно, хотя и трогательно. — И Григорий Львович в знак уважения и прощания низко уронил плешивую, сеткой стянутую голову, и дверь дубовую мягко прикрыл, со щелчком, но мягко.

А. И. обернул к Ирине Олеговне свое рыхлое, обезображенное гримасой счастья лицо.

— Такой человек! Забудьте, — почему-то велела она.

— Такого человека?! Никогда! — поклялся он и с удивлением обнаружил, с какою ласковою усмешкой гладят его лицо ее глаза.

С этой минуты и до самого момента завершения работы вдохновение уже совсем не покидало А. И. Он и к Таисьиному палисаду перестал делать круг, и почту в том месяце разносил, все путая, — домой спешил. Работал до рассвета. А по утрам видел кошмары и наваждения. Иной сон и начинался в бестревожных голубовато-желтоватых тонах, среди чудесных, сменяющих друг друга небесных явлений, но в конце концов он непременно оказывался на сцене — весь измазаный сажей. И тут-то выяснялось, что небесные явления — всего только декорации, и что Отелло в антракте пропал, а потому весь зал и артисты смотрят на него в немом ожидании. И бежать некуда, а слов он не знал, но куда больше давил его страх не рассчитать сил и в самом деле задушить Дездемону. И тогда он бросался к волынщику и начинал душить козу, а она все равно кричала тоненьким женским голоском. Кончался этот сон по-разному... В то незабвенное утро, когда А. И. проснулся на полу, разгневанные работники театра бросились на него, чтобы спасти волынку. Каждый тянул инструмент на себя. Сначала лопнули мехи, потом хрустнула игровая трубка... А потом он увидел над собой лицо мамаши:

— Чего орешь?

Думал, она наклонилась к нему — нет. Думал, на колени встала — нет. Выходит, что же это она — во весь рост?

— Мамаша, я проснулся?

— Проснулся.

— А вы почему маленькая такая?

— Заметил-таки!

— Мамаша! В вас ведь и метра не будет!

— Ну, метр, положим, будет. Утром мерялась — метр двенадцать было.

— Мамаша, щипните меня! Нет, шилко вон лежит. Лучше шилком!

— Не ори. Без тебя тошно.

— Это что же — болезнь такая? Вы к врачу ходили?

— Метр сорок девять во мне еще было — пошла.

— Ну?!

— Врачиха-то новая. Месяц с меня анализы снимала — здоровье, говорит, как у молоденькой. А во мне к тому времени уж метр сорок осталось! Я говорю: неужели разницы не видите? А она говорит: если кажется всякое, могу к психиатру направление дать. Климакс — все бывает.

— И такое?! Такое тоже?

— Послал бог недоумка!

— Я вас просил, мамаша!

— Симптомов нет — выходит, и болезни нет! Против науки не попрешь.

— Мамаша, мне страшно!

— Сейчас — что? Вот, думаю, к осени...

— А что к осени? Не молчите — ну?

— Разнюнился, балбешечка. И на кого тебя оставлю?

— А вы не оставляйте.

— Сморкайся, — вдруг больно за нос схватила, туда-сюда помотала и обратно платок за пазуху сунула. — Теперь запоминай. Светка как смекнет, что нет меня, — Дуська же ей напишет, что мамаши твоей давно не видать — сразу за кольцом бабкиным явится. Она сюда сколько лет носа не казала?

— Так с тех пор, как вы ее в раздевалке с физруком застукали.

— Ну, застукать не успела. А подозрений по сей день не сниму!

— Хороший был физрук. Хоть на протезе, а в волейбол с нами играл. Даже плакали некоторые, когда он увольнялся.

— Светке — шиш. Понял?

— Это нетрудно понять, а...

— За Светкой дядя твой явится. Мужик он глупый, нежадный, а жена — волчица. Все одно тебя облапошит. Так ты что ей отдашь — у дядьки в двойном размере обратно проси. И главное: на Таиське жениться не смей! Оттуда прокляну! Я с Кондратьевной договорилась. Она на тебя согласна.

— Беззубая ведь она.

— Наменьше объест.

— И глухая!

— Очень надо ей слушать, как ты дудки с утра до ночи строишь! Чистенькая она и бездетная. Но сначала убедись, что меня уже точно нет — вовсе!

— А-а-а...

— Не вой! Все понял?

— Все-о!

Только тут припомнил А. И., что уж месяц скоро, как не выходит мамаша из дому. Еду ему покупать велит. А ему по пути — вот он и не заметил особо. Людям сказала говорить, что уехала к тетке в Кандалакшу, и вдруг заболела тетка и не на кого ее сбыть. Он и говорил, ему это тоже нетрудно было. А оказалось — вон что!

Вдоволь они в то утро поплакали. А уж Чукча, душа, вовсю рядышком наскулилась. И что особенно-то сердце рвало — мамаша теперь с нею и не спорила. Солнце уже до буфета добралось — зайчики из него в глаза запрыгали, а они так и сидели на половичке, в кучу сбившись. Будто полярники на льдине, будто необоримым течением их несло прочь от людей и спасения. И вдруг счастливая мысль в голову пришла! На колени А. И. усадил мамашу, к себе прижал:

— А ну дыхни на меня — ну! Была бы заразная у тебя болезнь, роднуля, дуся! — И чтоб гребенка не мешала по головке ее гладить, гребенку вынул и седые куделечки расчесывать стал: до того они нежные оказались — как у младенца. — Не прячь личико — дыхни! И я тоже маленьким сделаюсь. Летом с мальчишками мяч погоняю — ну, на прощанье. А по осени заживем мы с тобой, как букашечки, на нашей гераньке. Зелено, солнце за окном. Ты да я — чего еще желать?

— А кинутся: пусто! И поселят черт-те кого! А жильцы гераньку с нами — и на помойку!

— Ой, мамаша, я и не подумал.

— Круглый ты...

— Вы опять!

— Сирота круглый!

— Мамаша! Не оставляйте меня! Лучшая, добрейшая в мире!

— Прежде надо было меня любить. Прежде!

Так и начали друг за другом сбываться вещие мамашины слова.

2

А только странная вещь — счастье. Сразу никогда себя не даст различить.

Иные думают, будто счастье — это если все хорошо и идеалоподобно. И в книжках так пишут. А. И. читал, когда-то очень много читал. Он и сам так думал — всего квартал, всего месяц назад. А на самом деле, в буквальной жизни, все как раз наоборот вышло.

Уж такое случилось лето — уж такое! Мало того, что к середине июня мамаша под столом свободно разгуливала, еще один гром с тарарамом: Тасью из петли чуть живой вынули. С ребеночком к ней пришли, чтоб грыжу она ему заговорила, да едва того младенчика и не выронили насовсем — мамаша бедная громче младенчика заголосила.

Альберта Ивановича, конечно, в тот же час на маршруте нашли и с

намеком ему доложили: вот, дескать, что учиняют над собой покинутые одиночки. Будто это она в первый раз. Будто только вчера, а не год назад дружбе их полюбовной конец пришел. Тем он себя утешал всю дорогу. А когда на велосипеде в больничный коридор вкатил и не пускать его к ней стали, как зарычал, сестру отпихнул, споткнулся и на колени как раз перед самой койкой рухнул:

— Таичка, свечечка моя! Не дам тебе истаять, не дам! — И лодыжечки ее заледенелые целовать стал. До слез она, бывало, умилялась, отчего-то особенно нравилось ей, когда он лодыжки ее вечно холодные ласкои отогревает. — Ты гори, гори.

— Горю, — то ли шепнула, то ли почудилось, потому что уже в тот момент истопник с санитаром сзади бросились и вытаскивать его из палаты стали.

Вот так и началось лето — зеленое, буйное. Там, где фейерверк цветов был, яблочки из листвы торчат. Детвора в каждой канаве полощется — уток пугает. Рядом коровы сопят, часами от сладкого клевера головы не отнимая. А земляники уродило в тот год — ведрами несли! Мамаша все в лесок за нею просилась:

— Я маленькая теперь, проворная. Снеси! В последний раз витаминов сыну насобираю.

Купил ей А. И. в отделе игрушек метр бумажный: возле каждого круглого числа — картинка, чтоб нескучно измеряться было, и говорит:

— До пятидесяти сантиметров дотянешь — в корзинке уместишься. А так?

А она погрустнела, но спорить не стала:

— Это уж, видно, когда грибы пойдут.

И хоть бы раз обругала или огород услала полоть — нет!

— Не уходи, сынок. Дома побудь, — и так заискивающе снизу глядит вся в единый лоскутик обмотанная, как девочка индианская. А на ногах — сандалики его детские. Выходит, не зря хранила.

И как-то само собой получаться стало: то он ей с работы конфетку несет, то высоконький стульчик ей с перильцем мастерит, то в корыте купает и спеленутую спать несет. А однажды из-за пряника с повидлом до драки у нее с Чукчей дело дошло. Так А. И. собачку в туалете запер, мамашу в угол поставил, сел за волынку и ждет. Покапризничала в углу мамаша, слюни попускала, а убегать не стала — поняла, значит, что сын по справедливости рассудил. Отложил тогда А. И. работу — хоть на едином дыхании в тот день последние штрихи клал — на руки мамашу взял и на целых полчаса к окошку понес. Больше хоккея обожала теперь мамаша сквозь гардину на улицу поглядеть: и как Верка с пункта стеклотары очередной ковер выбивает (специально похожей расцветки ковры скупала, чтоб соседи думали, будто один у нее ковер, будто соседи — идиоты) и как Юрок, поддавши, на мопеде зигзаги выписывает, — ловко; и как дед Андрей козу на общественном газоне пасет (потому что умными все сделались: и с удобствами в пятиэтажках желают жить, и с парным молочком расстаться боятся). Как и прежде, буквально на все свой острый взгляд имела!

Только опускать ее хотел — захныкала:

— Еще! Еще!

— Нельзя больше. Альбертику на работу пора.

Лишний раз мамашу одну бросать, конечно, постыдно было. Да уж таким неблагодарным сыном он уродился: безнаказанностью своей пользоваться стал, врать обучился, а приврав — жалейку незаметно в карман совал и к Таисье шел. Как только из лечебницы Таисья освободилась, вернулась к ним их прежняя негасимая дружба.

«Присушила», «опоила» — разные несознательные слова за спиною про них шептали. Да разве знали они ее?

Конечно, жила Тая таборно, бестолково: хоть и свой дом имела, а будто вокзал — лежанка в углу, табуретка и три кошки то на печь, то обратно с печи на пол скачут. Конечно, теперь с ней стало куда трудней. Но это только поначалу. А уж зато после-после!..

Однако поначалу и вправду не рад бывал, что пришел. Сидит его королевна на постели неприбранной, острые колени руками обхвачены — вся точно ножик складной.

— Таичка, это — я.

Ничего не ответит. Только глаза вскинет — незнакомые, стеклянно-оранжевые, как у голубей, и с такою же мыслью неразборчивой: то ли к земле сломя голову кинуться, то ли на крышу взлететь. И долго надо было с ней разговоры разговаривать, чулочки с нее снять и лодыжечки гладить, чтоб уж после сквозь это стеклянно-оранжевое проступило теплое, грустное — собачье — как бы на последующую ступень эволюции взгляд ее переманить: от вздорных птиц к чутким млекопитающим. Зато уж когда долгожданное это, тоскливое и ласковое, глаза Таисьины застилало — рассудка от глаз ее лишиться было можно. И любовь-то у них с ней, наверно, потому редко выходила, что от взгляда этого А. И. вдруг слабел и сквозь собственную кожу весь вовне просачивался. И она, Таисья, словно бы тоже растекалась в безграничную амебу — вот такой шаг на всю эволюцию назад! — и ничего в природе уже не оставалось, только плавали в туманном облаке ее мучительные глаза.

Когда надрывная эта услада уже совсем нестерпимой делалась, он прикрывал их губами:

— Голубушка моя! Чистый ангел.

А она иной раз смолчит, только голову назад закинет, глаза сузит — режут без ножа! А иной раз и того слаще: вся затрепещет, взовьется: «Ты Коленьке это пойди скажи! Ведьма у него мать! Ведьма патентованная!»

Сгребет он ее тогда в охапку, а она в руках, как рыба свежая, бьется, бьется, а он ее целует, целует, исцелует всю — покуда не затихнет, покуда не улягутся они на лежаночке — щека к щеке. Хорошо. Тихо.

— Полола сегодня?

— В совхозе. Как узнал?

— Сурепкой пахнешь.

— Припоздалый ты мой. Ты мой ласковый.

— А Николая, Таинька, тоже понять надо. Он детям историческое знание несет. А мать его — два шага назад. Ну, это на его взгляд, конечно.

— Деньги, так берет. Что обидно? Ворожёные, а берет!

— На здоровье. Ему и деткам его на здоровье, на витамины. А как же?

— Младшенькую так и не показывали ни разу! Сноха говорит: сглазишь, бабка!

— Суеверие нам досталось от докапиталистического застоя. И до сей поры необоримо!

— Два шкафа Колька книжек прочел. А ты все одно умней!

— Так и я, Таюшка, читал. Я много читал.

— Ей уж четвертый месяц. Аукает, поди, вовсю. Улыбается.

— Я, было время, думал: хоть пешком в Москву уйду, как Ломоносов. А мамаша говорит: Мишка тебя умней, давай лучше Мишку выучим. Пять лет деньги слали. Его уж выперли из студентов давно, а мы знай шлем. Это после мамаша спохватилась: не на ту лошадь, говорит, я поставила — да кто ж знал?

— Я говорю Коле: сынок, ведь от сглаза верное средство есть — фигу держать. Можете, говорю, мне эту фигу в нос сунуть — я не обижусь. Вы только внученьку покажите!

— А я, Таюшка, на ветеринара хотел. Парнишкой был, а понял: животные — они больше нашего мучаются. Больше! Человек надеждой силен, спасение у него впереди маячит, причины, следствия, способы разные... А у зверя что? Одна нынешняя мука без конца и края.

— И у человека так бывает. Я знаю, бывает.

— Не бывает, Таюшка. Не должно бывать.

— А если не должно, отчего ж бывает?

— Слушай, я ведь волынку в город вчера возил! Срочно, торопили, срочно. А сами на гастроли уехали.

— Сволочи!

— Нет, они — отрешенные. Я сам такой. Я понимаю.

— Ты их лучше. Ты всех лучше!

— Нет, что всего обидней? Вот если б меня Эдуардом звали, ты б меня как звала?

— Эдуардом.

— А они бы: Эдгаром, Эльбрусом или Эверестом! Им разницы нет.

— Дураки.

— А ну их! Любушка, обними меня тесней.
— Припоздалый ты мой!
И даже если, уткнувшись в него холодным носом, она принималась тихонько всхлипывать, что-то возвышенное и непоправимое (должно быть, это и было счастье) полнило душу — через край. Оттого ли, что дома, глаз с двери не сводя, ждала его лучшая, добрейшая в мире мамаша? Потому ли, что Таюшка, только шагнет он на крыльцо, тоже примется нежно думать о нем и ждать? Потому ли, что черная слива за окном, вдруг трепетнувшая от ветра или птицы, и спелая луна сквозь нее, и тонкое — поверх всего — вытье собак — все это вдруг насыщало мир, каждую его нишу значением и тайной. Но словами объяснить это Таюшке было никак нельзя. Да и улежать с нею рядом уже не представлялось возможным. И он спускал ноги на пол, с волнением и тоскою вглядываясь в сгущающуюся за окном тьму.
— Вот голова садовая! А картошка? Я вчера гору наварила!
— Пора мне, Таюшка...
— Уехала ведь она!
— А Дусе с Кондратьевной следить велела.
— Нет. Нет! — и прыткою кошкой к печи, а от нее обратно — к лежанке, с чугунком в обнимку. — Кто тебе поднесет? Уехала ведь?
— Конечно, уехала.
— А будто дома под столом сидит.
— Почему под столом?
— Не знаю. Вижу. Находит на меня опять. И все кажется, что я виновата перед ней.
— Ты? Перед ней? Глупости какие.
— Ведьма я все же. И уж такое мне про нее примерещится вдруг.
— Какое? Нет, ты скажи: какое?
— Я — тебе. Ты — Коле. А он меня обратно упечет! — И чугунок — на пол, и от сажи сумрачными ладошками — его за рукав. — А они там дерутся. Знаешь, как больно?
— Шизики?
— Санитарки! Шизики тихие. Коленька опять вчера приходил — сдать грозился, если пропаганду религиозную не прекращу. А я — что? Они ж сами с младенчиками идут.
— А я тогда тоже какой-нибудь крендель выкину, и меня к тебе посадят.
— Ой, накличешь!
— Руки белой рубахой свяжут. И станем мы с тобой день до вечера, будто по облаку, туда-сюда прохаживать — как в раю. И одна у нас будет забота — радоваться друг на друга.
— Они там дерутся.
— Да... А я и позабыл. Таюшка — ну? Отпусти руку.
— Я тебя еще девушкой привидела. Я тебя всю жизнь ждала.
— Я знаю. А теперь, может, чуть осталось.
— Нет, нет, нет!
Ну никакой возможности не было угомонить ее словами. Только жалейку вынуть и, будто крысу из всем известной сказки, околдовать, увести прочь — от вредоносности собственной души.
Не сразу, мотив за мотивом — главное было с умом мелодии подобрать: чтоб новая выходила еще заунывней прежней — глаза ее делались голубиными, остекленелыми. Обычно после попурри из турецких народных песен А. И. наконец вставал, виновато подмигивая, кланялся и на цыпочках шел к двери. Тихонько приоткрыв ее, оборачивался: Таисия оцепенело сидела на лежанке, прижав к груди высокие колени и чему-то бессмысленно кивая.
— Таюшка, я пошел?
И новый ее размеренный кивок вроде как наполнялся смыслом.
В непроглядных сенях знакомо пробиваясь сквозь перепутанность испарений кислой капусты, японского гриба, прелого картофеля и яблочной падалицы, и еще во дворе под фырканье свинки, из удушливого хлева подкоп организующей, А. И. воображал, как радостно кинувшаяся к нему мамаша все эти запахи моментально учует, и сажу на рукаве приметит, и заревнует, и зарычит — тут он и расхрабрится, тут он и выкажет всю свою насчет Таюшки решимость! Но уже с улицы перегнувшись через калитку и обратно шпингалет всовывая, он понимал, что всеобщее, троекратное, так сказать, счастье требует все-таки некоторой отсрочки. Однако и сейчас, находясь всего только в его предвкушении, будто нота в сумрачном жерле свирельки, еще не выдохнутая, выдоха и полета дожидающаяся, Альберт Иванович, стряхнув сажу с рукава и усевшись на свой велосипед, доверчиво улыбался шелестящему синей листвой переулку.

А предвкушение счастья счастьем и оказалось!

3

К началу сентября — осень, не осень — а все кругом уже ссохлось, скукожилось. Ни единого дождика, ни единого грибка. Только травок и подсобрали они с мамашей. У А. И., конечно, главная забота была — по сторонам глядеть: людей избегать, случайных собак отпугивать. Зато мамаша проявила ловкость и рвение беспримерные. Ну что тебе муравей, охапками — и все себя больше — душицу к корзине несла. А уж когда на лопухи набрели и стала она детской лопаткой их корни раскапывать, даже Чукча от восхищения рот открыла, ухо вскинула: хоть и четырьмя конечностями землю взрывать умела, а только у мамаши это все равно куда быстрей выходило. Был момент — А. И. едва заведующего клубом не окликнул, в березняке его фигура мелькнула — до того свой гордый восторг хоть с кем-нибудь захотелось разделить. В последний миг спохватился — сам в пожухлую траву прятаться полез:
— Отдохнула бы, роднуся...
— Отдохну! Теперь уж совсем скоро.
Не возразил. Смолчал. В бессовестности своей и пота ей не отер, и совочка не отнял. Потому что только после, уже всего после вдруг в голову пришло: а ведь таяла мамаша на глазах не от болезней (зря, что ли, все анализы на пять с плюсом сдавала?) — от излишних трудов она таяла и волнений. Как шагреневая кожа в одноименном произведении Оноре де Бальзака! Вот чего потом не мог А. И. себе простить. Вот за что уже и тогда справедливо называл себя жестокосердным и вампироподобным. А только все равно усадит он бывало мамашу на высоконький стульчик, кашку из ложечки в рот ей опрокинет и чувствует, как странная выспренность проникает в душу. И даже стихами говорить хочется. И в стихах этих яростное недоумение выразить: зачем не все люди сиамскими близнецами рождаются или даже лучше кактусами — чтоб друг из друга расти и уже вовек не разлучаться?! А порою целую поэму написать хотелось и в ней мамашино убывание сравнить с солнышком на закате: лишь в этот недолгий час неяркое и нежаркое, оно наконец дает разглядеть себя и, кажется, впервые ласково глядит само — для трав и деревьев, может, уже и бесполезно, но для души человеческой нет тревожней и слаще этих минут.
Вот до чего в бестрепетности своей докатиться он мог! И непременно бы докатился — когда б не заботы, прибавлявшиеся день ото дня.
Достигнув размеров крупной мыши, мамаша стала возбуждать в Чукче нездоровый интерес. Сначала собачка вроде как играючись бегала за нею по комнате и по кухне — А. И. уверен был, что обеим от этого весело и хорошо. А однажды рубаху себе стирает и слышит вдруг дикий писк, словно комар в самое ухо на пикировку идет. Глядит, а это Чукча к нему, к хозяину своему, мамашу в зубах тащит. Зверь, инстинкты у ней — чем она виновата? А только и мамашу понять надо: кому собачка, а кому — уссурийский тигр.
Отобрал он мамашу, глаза зажмурил и — ногой Чукчу пнул. А мамаша в руке сипит охрипло:
— Нет, ты убей ее! Убей!
— А вот я сейчас вас помирю! Чукча, поди сюда. А ты погладь ее. Не бойся, гладь.
Но только мамаша Чукчину физиономию вблизи завидела — моментально в рукав Альбертиков рванулась, до локтя бедняга доползла. Еле выудил.
— Дихлофосом уморю! Жизнью рискну, а и ей жить не дам! — По столу между грязной посуды ходит, ручонками машет. О вилку споткнулась, но ничего — не старенькая еще: живехонько поднялась. Умилился А. И., погладить ее по спинке хотел, а она — за палец его с хриплым ры-

ком. От неожиданности вскрикнул, конечно, А. И. Чукча же это на свой лад поняла — мол, наших бьют. И как залилась гневным лаем да еще прыгать стала, клеенку с мамашей сдернуть норовя.

Пришлось с того дня мамашу с собою на работу носить — в кармане. Гнездышко специальное в нем оборудовал. Ей нравилось. Свежий воздух, говорит, старым людям — лучший витамин. Опять же впечатления новые, голоса, разговоры. Но на собачку обиделась бесповоротно: или я или она!

За окном автобусным разгоралась осень. Ветер дул — листву, точно искры, перебрасывая, опаляя траву, поджигая леса. Казалось бы, смотри за окошко и радуйся. Тем более Альберт Иванович не один — всем биоценозом в город двинулся: в одну кошелку Чукчу усадил, в другую — волынку, во внутренний карман мамашу аккуратно пристроил. И теплое ее шевеление возле самого сердца, и драгоценное ощущение готового инструмента под рукой, и тревожное предчувствие, словно чай, согревающих глаз Ирины Олеговны — все это, что и говорить, могло бы осчастливить и куда более взыскательное сердце. Но вот ловил А. И. на себе доверчивый Чукчин взгляд из-под белой торочком прядки — и наполненности души как не бывало!

В театре ремонт шел полным ходом. Гастроли кончились, и теперь отпуск у всего театра был. Случайным чудом адрес Ирины Олеговны удалось узнать. И хотя телефон у нее не отвечал, зашел А. И. в укромный подъезд, мамашу из кармана вынул, посовещался с ней и так решили: делать нечего — надо ехать.

Городской автобус, конечно, не то, что пригородный: рывки, суета, туда-сюда шныряние постоянное. То собачку прижмут, то мамашу придавят, но — добрались все живы-здоровы. И в лифте не застряли (очень лифта мамаша опасалась).

А перед самою дверью вдруг такой страх напал — обе кошелки бросить и бежать. Потому что как же можно с глупою рожей и толстым брюхом в этакий дом? Сообразил наконец волынку на себя надеть: будто фиговым листком, а все же прикрылся. На звонок надавил, не дышит, ждет. Никого.

Потом дверь приоткрылась, а все равно никого. И вдруг снизу откуда-то крик, слезы: «Мама! Мамочка!» И в ответ издалека тоже крик, топот: «Леночка! Я здесь!» И — на порог выскочила. За ушами косички торчат, юбка цыганистая до пола, а лицо — без единой краски, полупрозрачное, тонкое, белое, будто старинный фарфор на просвет — глаз не оторвать!

— Вы? Господи... Леночка, это же дядя Альфред приехал. Чего ты испугалась? Помнишь, он тебе травки передал, когда ты болела? Он добрый, веселый и сейчас нам на волынке будет играть, — и к себе дочурку прижала, по кудрявой головке гладя. — Проходите и не сердитесь на нас.

А. И. порог переступил, воздух носом потянул — совершенно прежних запахов в ней не осталось. И вокруг как-то странно было — пусто, голо. Но зато свет и простор.

— Я знаю: дядя нищий музыкант. Он играет, а песик ходит на задних лапах, шляпа — в зубах... туда монетки все бросают! — Слезки просохли — ямочки выступили. И вдруг с места сорвалась, за угол кинулась.

А. И. засмеялся — от волнения неудержимо. И — сквозь смех:

— А у вас телефон, между прочим, поломан.

— У меня нет телефона.

— Как же, как же: номер мне дали, — и пальцем весело погрозил.

— Номер есть, а аппарата нет.

— Так не бывает!

— Бывает! — И глаза вдруг сухими и зеленоватыми сделались, как срез у магазинной морковки. Но к белому лицу — очень красиво.

Топ-топ — обратно Леночка прибежала, свинкой-копилкой трясет:

— Вот тут монетки!

— А-а, поработать придется, — Чукчу на пол выпустил, а сам на середину прихожей пошел. Для начала так просто меха локтем придавил, пальцами по трубочке пробежал — с прононсом вышел звук, интересный, страстный. Басовая трубка гуднула густо, ломко, будто сосна в лесу скрипит. У самого от удовольствия рот до ушей. Но руки поднял, объявил строго:

— Всякое первое исполнение посвящаю я памяти светлого моего учителя Андрея Кирилловича Белогубова. Любимая наша с ним песня «Сулико».

На сопилке, жалейке, губной гармошке даже исполнял А. И. это сочинение. Но так, как сейчас, вышло впервые — нежно, величественно, строго. Потому ли, что и Ирина Олеговна мотив вдруг подхватила — да как: поставленно, проникновенно. Тут и Чукча, душа, конечно, не утерпела, свое «уаав» в их дуэт вплела.

Щеки у Ирины Олеговны зарозовели:

— Вы! Вы сами не знаете, какой вы! Вы удивительный! В городе немного смешной, а на самом деле — удивительный!

— А инструмент? — с обидой и ревностью спросил А. И.

Но тут Леночка опять отчего-то всхлипнула. Прежде того она долго старалась из щелки монетку вытряхнуть, а когда это не удалось, прижала свинку к себе и — в слезы.

— Что — жалко игрушку разбить? — подмигнул ей А. И.

— Не жалко! Не жалко! А не стану! Плохо играли! Очень плохо! — Злое личико от него отвернула и прочь в детскую побежала.

— Ради бога, извините ее. — Ирина Олеговна совсем близко к нему подошла и, наверно, желая утешить, деревянную морду козы стала гладить. А все-таки у нее был запах — запах меда, липового, белого! И так самому вместо Чукчи к ней в дом попроситься захотелось! И что-то теплое под сердцем шевельнулось. Думал, нежность к ним. Прислушался лучше, а это — мамаша. Видно, обмочилась. Руку сунул — нет, сухонькая. И как заверещит:

— Деньги она хочет себе — твои! Положенные!

Вот и махонькая, а мозгу, словно бы как прежде, целый килограмм. Сам до такого в жизни б не додумался.

— Понимаете, эту копилку подарил ей отец, — и совсем близко-близко к уху его наклонилась. — Он летом от нас ушел. У нее и памяти о нем другой не осталось. Видите, что кругом?

— А-а! Ремонт затеваете!

— Да нет же! Я пока на гастролях была, муж вывез все. И телефон тоже. Нет, математически он прав. Он же нам квартиру оставил. Так что мы с Леночкой еще перед ним в долгу.

— Перед кем?

— Перед мужем. Скажите, а шуба мутоновая вашей маме не нужна? Она почти не ношеная. Показать?

И снова — кровь к щекам, к вискам, ко лбу, будто чашечку фарфоровую жгучим кофе наполнять стали.

Вдруг сильный треск раздался, а за ним — звон. Ирина Олеговна сразу вся тетивой натянулась и из нее же стрелой вылетела — вперед, к дочке. Должно быть, разбила дочка копилочку — добрая душа.

Волынку с себя снял, аккуратно на вешалку повесил и решительно за угол пошел — в детскую. Оказалось, просторнейшая комната. Ирина Олеговна у окна стоит, дочурку на руках держит и что-то ласковое ей в ушко шепчет. А девочка славная, понятливая — все головкой кивает. А сама во все глаза на Чукчу глядит, как та по паркету шарит, нос свой в глиняные черепки, монетки и пуговицы тыча. Нет, не одиноко собачке будет здесь!

— Доченька — ну? Что ты дяде Альфреду хотела сказать?

— Спасибо, — и вздохнула, будто большая.

— А еще что, Леночка?

— Если я захочу, мне папа тридцать десять таких свинок купит! — И спинку напрягла, в Ирину Олеговну уперлась, чтоб на пол соскользнуть. Должно быть, сильно уперлась, потому что Ирина Олеговна вскрикнула даже:

— Лена!

А девчурка, на паркете оказавшись, кудряшками тряхнула и стала Чукчу гладить — от осторожности плотно сжатыми пальчиками.

— Ирина Олеговна, у меня вам денег занять нет...

— Ну что вы? Разве я...

— Тихо, тихо, — и для секретного разговора низко-низко в ее медо-

вый дух голову опустил.— Я вам колечко привезу с бриллиантиками. Прямо завтра — меня подменят.

— Нет, что вы! Вы меня совсем не знаете!

— А я с корыстью. Дело у меня к вам,— он хотел было хохотнуть, но мысль о грядущей разлуке с Чукчей больно кольнула сердце.

— Вы мне лучше травки от нервов! — и вдруг громко, звонко: — Лена! Не трогай собаку! А волынка, по-моему, замечательная. Я могу в какой-то мере оценить — музкомедию кончала... Лена, не три глаза! Ты же только что трогала со... Извините! Я поставлю чай! — и прочь из комнаты в кухню быстро и гибко ушла.

Сердце кольнуло больней, и только тут А. И. понял, что не сердце это, а мамаша, прорвав уже подкладку и рубаху, грудь царапает.

Почуяв неладное, заметалась, запрыгала вокруг Чукча. А Леночка напугалась, прижалась к стене, глазищи рыжие, мамины растопырила.

— Проголодалась собачка,— соврал А. И., стараясь под улыбкой скрыть сморщенность лица.— Очень морковку любит. Ты уж запоминай. По утрам — яичко сырое. Это непременно.

В груди садинило все нестерпимей. И кровь грозила закапать в любой момент. Да и мамаша могла сил не рассчитать — надорваться!

— Я, Леночка, дверь пока прикрою. Ты только ее не бойся,— и на цыпочках по коридору красться стал. Пустые кошелки взял, замок повернул и бегом, забыв о лифте — вниз! Скорей из подъезда, скорей из двора — точно от погони. Только через дорогу перебежав, в гулкую арку кинувшись — на детской площадке дух перевел. В домик бревенчатый залез, мамашу вынул... Рубаха, понятно, в крови, но рана терпимая и даже совсем не глубокая оказалась рана — ясное дело, какая мать родное дитя не пожалеет? А он упрекнул ее все же:

— Эх вы! — резко упрекнул, грубо.

А она и не обиделась даже:

— Больно тебе, сынок? Подорожник сыщи. Подорожник!

— Ладно, послюнявил — пройдет,— и от нового упрека не удержался: — А пиджак вон попортили!

— Зато колечко сберегла. Я не для нее — для тебя наживала! У ней свое дитя, у меня — свое! И тоже малое.

А. И. кивнул и всхлипнул вдруг. Тут она и того ласковей сделалась:

— Бог все видит. Нельзя тебе без меня. Ну да уж теперь вовек с тобою буду.

— Как же это «вовек»?

— Кончилась моя болезнь. Ощущаю: кончилась!

— Точно ли, мамаша? Так ли?

— И не сомневайся теперь!

И хоть сказала она их тоненьким, едва слышным голоском — всею душой поверил А. И. этим словам, только ими себя и веселил. И пусть через неделю мамаша уж меньше мизинца была, надежда теперь не покидала обоих. Ведь даже в научных журналах сказано: сколько килограммов веса человек сбросил — настолько свою жизнь и продлил. А кроме того, давно известно: муравьи и мелкие насекомые дольше всех на планете живут, вирусы же — те вообще неистребимы!

Одна беда: приходилось теперь с мамаши глаз не сводить. Отпуск взять и не сводить. Потому что в клеточке или аквариуме жить мамаша наотрез не хотела. Стол кухонный всему другому предпочитала. Может, крошечки рассыпанные подбирать полюбила, а может, клеенка — где с цветочком полинялым, а где до сеточки уже истертая — веселила осязание ее и глаз. Однако без дела и сейчас обойтись не могла: то крупу перебирала, спичкой черные зернышки обособляя, а то витамин облепиховый задумала к зиме надавить: в чашечке вымылась и что тебе винодел кавказский давай ее ногами месить. Сахар под ноги пригоршнями в желтую ягоду подсыпает и туда-обратно по тарелке ходит. Всем матерям славный пример!

Но из дома теперь выходить стало невозможно. И с собой ведь уже не возьмешь — в любую прорешку выскользнуть может. А обернувшись, вдруг на столе ее не увидеть — это было всего страшней: наступил, придавил и писка не расслышал!

А ей усладно. Радостно ей такое доказательство заботы сыновней. За солонку, бывало, спрячется, а то еще лучше выдумала: прямо в булке норку себе выгрызет, наестся и дремлет внутри. И уж пока А. И. ее там отыскивал, пока движениями замедленными остальные предметы приподнимал — весь в испарине оказывался. И долго еще после того бровь дергалась и руки дрожали.

И вот однажды — в тот самый день, когда Альберт Иванович решил все же поселить мамашу в коробку из-под рафинада, потому что уже таракана меньше стала мамаша — Ирина Олеговна приехала. Чукчу привезла. В дверь звонила, кулаком стучала. Чукча, бедняга, лаяла, скреблась. Потом соседи на шум сбежались: судили-рядили и на время к себе их увели. Но из всего топота и гвалта различил А. И. ее каблучков ход: плавно шла, грустно и плавно.

В кухню вернулся, банку с белым липовым медом открыл — и сразу с косичками ее увидел, всю фарфорово-прекрасную. Тут он и последнюю бдительность растерял: закружил по квартире, заохал... А она через час опять пришла, звонить стала, а потом вдруг тихо так говорит — словно не сквозь дверь, словно глаза в глаза:

— Вы не бойтесь, я не за обещанным кольцом. Я вас прошу болонку взять. Она не ест фактически ничего. Вы меня слышите?

А. И. кивнул. Хотел насчет Чукчи совет дать и — двумя ладонями рот себе пришлепнул.

— За волынку вам деньги начислили и переведут по почте...

Постояла еще немного молчком. И Чукча тоже осипла, сникла. Только когда ее обратно в кошелку совать стали, взвыла прощально. Была бы человеком, ту же Дездемону могла бы петь. Да что об этом?

Ударил А. И. себя одною ладонью по левой щеке, другою — по правой. Из пухлых губ глупо пузырь прыснул. По затылку себя треснул — ну и что? Зуд один. Нет, мамаша куда лучше умела драться: и вроде всего раз саданет, а главное есть — запечатленность.

Только тут спохватился, обратно в кухню пошел — да так и замер: опустела коробочка! И хоть, конечно, не в первый раз, стал он испуганно ложки и чашки приподнимать, а только сердце уже знало: все зря.

— Мамаша, вы где? Мамаша!

В сторону шагнуть хотел — побоялся. Решил ждать.

Так дотемна и простоял, шелохнуться не решаясь, лишь глазами водил — по полу, по шкафчикам, по стенам. А как совсем стемнело, на спинку стула подул, для равновесия руками в нее уперся — последнюю надежду на рассвет имея. И утром опять, с места не сходя, долго и ласково звал ее. А потом в дверь позвонили, взломали и ворвались — с участковым и понятыми.

— Назад! Назад! Мамашу затопчете! — кричал он диким голосом.

А они не слушались, не верили — вперед перли, будто «Жигули» да «БелАЗы». Но было, было еще кому за мамашу вступиться!

Только они к нему вплотную подошли — кулачищи сжал, кусаться и пихаться начал. Да много их, в две минуты скрутили. Дуся, хитрюга, голову к полу гнет, а сама будто жалеет:

— Миша, гляди — седой! Нет, ты сюда гляди: вошли — он же брюнет был! Положь скалку...

И — полный провал. Может, и долгий, а все равно как единый вздох. Опомнился — в зарешеченном месте: ночь, потолок, кровати. Одно у них в поселке место было зарешеченное — вытрезвитель. Однако за время провала его и в город могли перевезти. Что же это — тюрьма? Тюрьма! А он — убийца. «Родной матери убийца» — вот что кричала она ему в ясновидении своем. А разве могла добрейшая эта душа зря виноватить? «Скоро искать, звать будешь!» — как же хотела она его упредить, уберечь от нестерпимости раскаяния!

— Я убийца! — закричал А. И., потому что он уже буквально припомнил тот миг, когда руками отодвигая блюдце, но душою-то вслушиваясь в прощальный Чукчин всхлип, в каблучков ход — не заметил и — раздавил! Ведь неровно же стало блюдце и будто что-то хрустнуло под ним.— Я — убийца!

— Ты — псих,— вдруг брякнул кто-то из темноты, с соседней койки.

А. И. радостно хихикнул в тишину: все-таки очутиться в сумасшед-

шем доме ему было приятией. А под блюдцем, между прочим, хрустнуть могла хлебная крошечка. И мало ли куда за эту долгую ночь успела добрести мамаша — до той же гераньки, а что?

Дождь, точно птица, прошел по жестяному карнизу и отлетел. И вдруг среди полнейшей тишины звонко стрельнуло в ухе. А. И. ринулся к нему мизинцем — да так на полпути и замер.

— Мамаша?

В ухе стрельнуло сильнее.

— Мамаша! Вы ли?!

А сердце, ошалевшее от счастья, уже громыхало: а кто же, кто же, кто же еще?! И в самом деле, скажите на милость, зачем ей было перебираться на гераньку, когда среди кухни, будто атлант, надежно и недвижимо всю ночь стоял ее сын?!

— Мамаша! — выдохнул он с ликованием.

И, чтоб мамашу не утерять, на спину лег. Пожарная вышка поселковая в окне шпилем блеснула, а потом, должно быть, опять луну заволокло — ни зги. Дождик на жестяной карниз снова слетел, запрыгал... И уж так хорошо, так невыразимо было Альберту Ивановичу в ту ночь, даже умереть хотелось, покуда звон — праздничный, неостановимый! — насыщал мозг, искрил тьму. Больше смерти опасался в ту ночь А. И., что вместе со звоном покинет его и светлая надежда.

Низкое небо клубилось над жижей проселка, который он месил разбухшими войлочными тапками, бредя неизвестно куда — может быть, в черный лес, сургучом опечатавший горизонт и прочие дали? Как только он из вытрезвителя освободился, кто-то влек его вперед и вперед, будто за шиворот ухватил. Лишь посреди огорода себя обнаружив — ведь в прежней-то жизни век бы его не видеть! — сообразил наконец: мамаша. На помидоры, птицами исклеванные, глядит, почву неперекопанную носком давит, ягодку смородины, бесполезно усохшую, в рот кладет, слезы накатившие рукавом утирает, а в голове вместо мыслей бьется и бьется: «Только не сжата полоска одна — грустную думу наводит она». Потому что, кроме Некрасова, не признавала мамаша других поэтов.

С той поры что ни час умудрялась она и без звона о себе весть подать. Вот, например, в тот же день про Таюшкину самочинную кончину Дуся ему в жестоких подробностях сообщила. И что же? На стенку полез? На лестничную клетку без чувств рухнул? А может, хотя бы за голову себя схватил? Ничуть не бывало. Тихонько вздохнул и подумал кротко: «Что ж ты наделала, Таюшка? Такая, видно, тебе судьба, видно, нашей судьбе ты теперь не помеха». То есть, конечно, своим умом он до такого бы никогда не дошел — это мамаша мысль ему свою передала. Но Дусе-то невдомек. Дуся из себя выходит, наводящими вопросами в нем угрызения совести найти норовит.

— Или онемел? Или оглох?

А он молчит себе — нос хмурит. Потому что как только осознал Альберт Иванович, что мамаша в нем навек поселилась, не человеком — вместилищем себя ощутил, обителью, попросту говоря — домом. Чтоб сквозняков избежать, уши ватою законопатил. А чтоб не погубить мамашу звуками собственного голоса, который, и наружу вырываясь, безудержно дребезжал и не сразу рассасывался, а уж в черепной коробке резонируя, должно быть, грознее иерихонских труб громыхал — дал себе Альберт Иванович обет молчания.

— Правду мне мать твоя говорила: «Змееныша я, Евдокия, выкормила!»

Совсем отчаялась Дуся к сердцу его путь найти, платок на лоб надвинула, мусорное ведро подхватила — вниз, на помойку гнилостный дух понесла.

Улыбнулся ей вслед Альберт Иванович и так подумали они с мамашей: «Дуся ты, Дуся». А мамаша еще персонально от себя добавила: «Лучше за Мишкой своим приглядывай, пока не спился вконец и дом наш не пожег!» Потому что и до сей поры редкое неравнодушие к людям имела.

Так и началась — вместе с утренним ледком на лужах, вместе с тучами свинцовыми, белейший снег источающими — новая жизнь. Ведь вместилищем быть — это совсем не то, что человеком. Как и словами такое объяснить? Что ни день — все труднее вспоминались слова. И события внешней жизни тоже отслаивались, отпадали. Вернее так: все крошечней делались, потому что сам он в размерах вырастал и вырастал.

Поначалу, когда мысли еще имели некоторую внятность, больше всего тому был рад, что перестал наконец-то мелочно разбрасываться: на дудочки, газеты, письма, собачку, женщин — да разве посильно такое одному, если всем сердцем, если без верхоглядства? Конечно, непосильно, потому что самое-то главное и ускользнет. Вернее, из тьмы не выскользнет. А вот если на одной страсти себя собрать, на одном призвании сосредоточить, если зажмурить на остальное глаза и безоглядно вглубь ринуться, словно солнечный луч от света — в сплошную кромешность, может, самое главное наконец и откроется?

И пусть десятки световых лет на пути. И пусть риск огромный. Но если очень повезет, однажды что-то вдруг забрезжит из тьмы, потому что не может быть, чтобы столько усилий души — зря! Будет ли тот свет называться «искуплением вины» или «передовым мировоззрением» или же, наоборот, «эмпиреем», он не знал, знать не мог, да и с некоторых пор знать не спешил. Впереди — сколько хватает глаз — густела тьма. А он был только при начале долгого, нескончаемого пути.

Александр ЧЕРНИЦКИЙ

Подходящее место

Непредусмотрительные прилетают в Баку ночной лошадью; удобными дневными рейсами путешествуют ловкие. Экс-пассажиры шагают в черный нефтяной ветер, который всегда — зимой ли, летом ли — кажется теплым. Те, кто родился здесь, с грустью и наслаждением хлебают липкий воздух, и от его запаха убыстряет бег кровь; покинутая три часа назад славянская Москва более не напоминает о себе.

Размяв ноги на терпеливом трапе, люди отправляют сентиментальность на склад и начинают обдумывать путь из Бинá в город. Жулики и многосемейные предпочитают легковой транспорт, хотя это по-восточному дорого; прочие едут автобусом до Сабунчинского вокзала.

По дороге автомобили принимают парад у марширующих на месте нефтяных вышек, которые заполняют голые бесплодные пространства между аэропортом и южной столицей. Временами сочное небо и свет фар отпрыгивают вдруг от загадочно не высыхающих луж, наполовину состоящих из нефти.

У железнодорожного вокзала сонному населению автобуса предстоит решить, как добираться дальше. Если дом в центре и багаж нетяжел, то стоит стать пешеходом.

Глубокая ночь превращает восточные города в шикарные декорации сказочного спектакля. В оранжевом свете натриевых фонарей и тишине угомонившегося транспорта старые дома, текущие вдоль улочек, превращаются в рисунки, несмотря на дремоту. Их делают пастелью великие художники. Тут и там мерцают розовые витрины цветочных магазинов. Если предположить, что стоит осень, то на тротуарах близ перекрестков прохожий обязательно наткнется на груды арбузов, символически обнесенные деревянными ящиками. Будущее торжище освещается прицепленной к навесу лампочкой без абажура — сто ватт. Порой здесь же, на прилавке, спит, забравшись с ногами, продавец, который во сне полагает себя сторожем.

Наглые машины, страдающие бессонницей, иногда тормозят около зелено-полосатых куч и придирчиво выбирают пару штук покрупней: бесплатные арбузы тоже бывают вкусными.

От Торговой улицы свисают в сторону моря какие-то переулки, экономящие электричество. Там, где-то в темноте за проспектом Нефтяников, — бульвар с пальмами, оливками и магнолиями. Даже в изобилии размножившиеся среди пышной растительности аттракционы ловят сейчас короткие часы сна: в Баку у качелей-каруселей день ненормированный, и они

хронически не высылаются, ибо вся выручка идет в карман служителям. Отправленная на пенсию много лет назад парашютная вышка от безделья высвечивает с семидесятиметровой высоты попеременно температуры воды и воздуха. Вдали механически ворочается давно умерщвленное море.

У истоков бульвара посапывает серая махина Дома Правительства. Прилегающую площадь любила в дни престольных праздников Красная Армия, которую приветствовали генералы, от старости иногда прикладывавшие к виску дряблые пальцы левой руки; теперь на широком асфальте нередко собирается усатый народ.

Бессчетные лавчонки Торговой исчезают, едва встретив на пути район, улочки которого щедро усажены корявыми жаростойкими деревьями и поименованы в честь большевистских комиссаров. Отсюда довольно близка Девичья башня, а за нею — жалкий муравейник старого города, стиснутый темнокаменной крепостной стеной. Здесь же, недалеко, на роскошном ступенчатом Парапете — христианский храм, где раньше тихонько венчали, крестили и отпевали армян. Работы было много, ведь часть города так и называется — Арменикенд...

...Тетушка Сильва прилетела весной, когда арбузы напоминают о себе лишь цукатами, сваренными из корок расторопной хозяйкой. Внизу, у трапа, с помощью фонарика проверяли паспорта. Армян отсылали налево подождать; к зданию аэропорта тащили пожитки азербайджанцы, а также русские и евреи, которые пытались угадать, не прикажут ли в следующий приезд встать слева и им.

Привычная схема отчего-то не сработала, и тетушку Сильву с одноплеменниками не заставили оплатить обратную дорогу и убраться восвояси ближайшим рейсом. Через несколько часов, под утро, пятерым армянам разрешили ходить по родной земле. Четверых из них встречали на автомобилях мужественные друзья, и седая Сильва скоро осталась одна. Украдкой она набросила когда-то кем-то подаренный женский платок из тех, что носят азербайджанки — черный с белой каймой. Небольшая кошелка была при ней, и выдача багажа могла происходить на другой планете.

Сев в автобус, тетушка надвинула край платка на глаза, и в тысячный раз мысленно поблагодарила давно покойных отца и мать за почти азербайджанские черты своего лица и равное знание трех языков. Но от них же, верно, передалось и пожизненное ее нежелание быть кому-то обязанной, ведь стоило позвонить из Внукова, и ехала бы сейчас в комфорте и безопасности.

Она неслась по нефтеносной равнине и думала о том, что человеку свойственно недооценивать степень риска. Разве недостаточно поучительна была сумгаитская катастрофа? Вот если б сразу тогда и уехать! Кто знает, возможно удалось бы даже обменять квартиру: в запасе было время. А уж все нажитое — к шестидесяти-то годам! — вывезла бы точно. И не пришлось бы возвращаться в город, вселяющий ужас; в город, где прошла жизнь; возвращаться за утюгом, чайником и полотенцами...

Но кто мог предположить, что последуют продолжения? И страшное землетрясение тоже как-то успокоило: не верилось, что кто-то посмеет плеснуть еще страдание в и без того полную горькую чашу ее народа.

Посмели. Но в Баку было еще относительно спокойно, даже когда на границе вовсю занималась война. И опять-таки, еще можно было успеть подготовить как следует отступление, а не бежать; еще можно было отправить в контейнере мебель, книги и китайский сервиз доисторического производства; еще можно было подыскать более подходящее жилье...

Приоткрывая глаза, она видела впереди, за стеклом, едва освещенную фарами летящую навстречу черноту. От усталости в многолюдном салоне никто не гомонил, и глухой шум мотора на больших оборотах делал дорогу еще опасней. Для тетушки Сильвы навсегда осталось загадкой, как водители ухитряются не слетать с узкой ленты асфальта и не сталкиваться со встречными машинами. Пятнадцать лет назад она единственный раз побывала за стальной границей — знакомые помогли с путевкой — и запомнила чехословацкое шоссе, обрамленное с двух сторон столбиками с отражателями; повороты таких дорог издалека видны даже в тумане. Отечественные же шоферы, казалось, рулили вслепую, и в тетушке Сильве жило бескрайнее уважение к героям.

Упали тяжелые веки, и утомленная память решила отдохнуть от себя; тетушка отключилась. Увы, скоро она проснется, чтобы продолжить путь...

Кутаясь в спасительный платок, она вышла из автобуса и направилась к таксующим машинам — маленькая, сухая, в потертом коричневом плащике и тупорылых черных туфлях.

— До старого универмага довезешь? — спросила она по-азербайджански с деланной небрежностью.

Пожилой коренастый водитель внимательно и быстро оглядел ее, включил мотор «Волги» и сказал:

— Садись.

Проезжая близ фонарей, он посматривал на тетушку Сильву в зеркальце; она заметила это и вконец утонула в своем платке на заднем сиденье. Неужто от волнения ее слова прозвучали с акцентом? Что его насторожило? Или дело просто в том, что этот человек осуждает женщин, в одиночку решающихся выходить ночью на улицу? На азербайджанца это очень похоже; в бакинских хашных и чайханах вы не встретите женщин, разве что приезжих; деревенские же чайханщики вообще дадут вам вместе с дамой спокойно умереть без питья.

В последнее тихое лето сын Артур приехал на каникулы, и она достала недельную путевку в село Бильгя, на турбазу-пансионат Бакинского метрополитена. Рядом со скучным приземистым корпусом в инжировой роще стояли домики; в одном из них поселился ее мальчик. По утрам он отворял дверь и протягивал руку за висящими над крыльцом плодами, спешно добирающими янтарь, а по вечерам случались танцы. Артур познакомился с девушкой-москвичкой, отдыхавшей здесь с родителями. Както молодые люди отправились в Бильгя, чувствуя себя последователями Миклухо-Маклая. Ничего привлекательного, впрочем, они не увидели: вероятно, все мало-мальски интересное было спрятано за высокими белыми дувалами. Провалилась и попытка купить домашнего вина — ребятам объяснили, что на Апшероне растет лишь столовый виноград. Артур, как коренной бакинец, разумеется, знал, что винные сорта проживают на склонах азербайджанских гор, но надеялся, что кто-то выращивает их и внизу... Путешествие по выжженной солнцем белой пыли оборачивалось страстной жаждой, и обсаженная тутом центральная площадь деревни показалась раем. Они бросились в чайхану, но невозмутимый усатик в дверях заявил об отсутствии воды. Будет ли? Возможно, через час.

Артур с девицей принялись ждать, сидя в тени на лавочке.

Вскоре тот же дядька в белой куртке работника общепита подошел к ним и, слегка замявшись, назвал причину ухода влаги из Бильгя:

— Вы знаете, у нас так не принято. У нас женщина дома должна сидеть. Работать. В чайхане женщине нечего делать.

Патологический акцент не скрыл извиняющихся ноток в голосе: односельчане никогда не простили бы, обслужи он в и х чайхане даму. Это восприняли бы осквернением заведения.

Ребятам в результате пришлось удовлетворяться кислым теплым рислингом из соседнего магазина...

— Лекарство пила? — идиотский вопрос, заданный по-русски, раскроил тетушкины мысли от плеча до бедра.

Какое еще лекарство? Она решила молчать. За окнами мелькали до боли знакомые дома и вывески, недоучившиеся в институте культуры. Ехали пока правильно.

Остановившись у спятившего светофора, который забыли выключить на ночь, шофер, не поворачивая головы, вновь резко спросил по-русски:

— Лекарство пила?

Боже! Что он имеет в виду? Что ему надо? Ну, допустим, он разглядел недавний герпес на ее верхней губе. И что? «Лекарство пила?»! Бред. В который раз она бессильно пожалела, что нельзя вооружиться. Если что — Сильва бы не позволила над собой издеваться. Полгода назад, в октябре, она раздобыла на работе трехлитровую банку спирта и поставила в прихожей. Там же постоянно лежали спички и самодельный тряпичный факел: пусть только сунутся!

Но сейчас... Завезет куда-нибудь, а там заставят показать паспорт, и их подозрения подтвердятся... Она напряженно молчала, считая переулки.

Водитель вдруг произнес что-то по-азербайджански, и от неожиданности Сильва вначале не поняла, но спустя несколько секунд смысл достучался:

— Лекарство пила?

Взвинченная, она огрызнулась очень естественно. На том же языке, конечно:

— Отстань, да!

Странно: теперь водитель промолчал и вообще не издал ни звука до самого БУМа. Огромное здание, выстроенное в сорок шестом году, расползлось одновременно на четыре улицы и содержало в недрах, помимо универмага, поликлинику четвертого управления, несколько десятков высокопоставленных квартир и ряд мелких заведений вроде пункта приема стеклотары.

Тетушка расплатилась и с облегчением посмотрела вслед красным фонарям злой машины. Она стояла у «Оптики» на улице Мясникова — это уже ближние подступы к дому. К бывшему ее дому. Нарочно остановила калымщика за километр до него.

Сильва пошла, стараясь не стучать каблуками. При приближении редкого автомобиля прижималась к стене и замирала. Стремительно атаковал южный рассвет, и морды тысяч кондиционеров с фасадов уже неплохо различали крадущуюся по родному городу маленькую немолодую женщину. Переждав фургон с горячим чуреком, она свернула под низкую арку и мимо мусорных баков почти бегом преодолела финишную прямую.

Квартира очень походила на ту, которую она оставила три месяца назад. Крупные детали в основном сохранились: полосатые обои разных тонов в столовой и спальне; красного дерева резной буфет-долгожитель и комод, его родственник по древесине и ровесник; кухонные шкафчики, табуретки... телевизор. Сильва вставила бездумно шнур в розетку, но экран остался равнодушен к пище. Она подошла к балкону и открыла дверь. Едва впихнутые, здесь лежали зачем-то ее полуторка-кровать и Артуркин диван, обивка которого рассказала о февральском двухдневном снеге.

Мелкие изменения резали глаз на каждом шагу: погнутая на сороковом году жизни ножка торшера, грязная внезапная пепельница, подмотанный изолентой телефон, как человек с больным зубом... Счастье, что успела развезти по родственникам-азербайджанцам библиотеку и китайский сервиз. Счастье, что почему-то не застала жильцов, пару юных азербайджанцев, также родню покойного мужа, которую в те панические дни угораздило бракосочетаться. Не то набросилась бы на молодых с бранью и кулаками, и неизвестно, чем бы дело кончилось.

Квартира походила на многажды изнасилованную женщину: казалось, она с трудом переставляет ноги во времени. Квартира опустилась и вела себя, словно приличный человек, потерявший вдруг жену и оттого запивший и ставший неряшливым. Платяные и постельные дверцы открывать было страшно.

Стараясь не смотреть в ванну и раковину, облепленные жесткими вороными волосками, тетушка Сильва кое-как умылась и, не раздеваясь, прилегла на кушетку, которой, вероятно, просто не досталось места на балконе. Она укрылась ворсистым пледом, нашедшимся вдруг на своем месте в шкафу. Оставалось непонятным, где соитийствует скоропостижная чета: из спальных мест, кроме узкой кушетки, имелся лишь потолок. Впрочем, этот вопрос тут же отлетел за незначительностью. Кажется, побаливало сердце — тупой, иррадиирующей в плечо болью, вскормленной бессонной ночью. В медленно остывающем мозгу в обратном порядке стал раскручиваться проделанный за сутки путь, и по мере удаления отсюда он становился все безопаснее, все спокойнее, все тише. Тише...

Но усталость не одержала полной победы, неглубок и неполон был сон, и где-то на дне его метались последние проклятые полгода, а в них — беснующиеся толпы, страшные газеты, уличные танки и проверки документов, в вязкой дреме копошились маршрутные автобусы, в которые на остановках вскакивали пятеро-шестеро чернявых молодчиков и хватали таких же чернявых армян, отличая их по носам, по губам, по паспортам, по незнанию языка, по массе второстепенных подробностей, которые с детства для чего-то известны всем, кто вырос в смешанных городах и весях, и после издевательств армян выбрасывали избитыми, на ходу растаскивая руками упирающиеся двери, и бывшие люди хлюпались на асфальт проспектов, улиц и площадей, а на базаре армян истязали до смерти, и подсознание услужливо выдавливало сценки, пропитанные кровью, хрустом костей и криками, а еще тетушке грезились нечеткие контуры знакомых улиц и тысячи неясных лиц, бывших недавно своими, а теперь чужие сплошь, среди которых вышагивала в те дни она, замотанная черным платком с белой каймой, избегая транспорта, по три километра ежедневно с работы и на работу, и магазины, ненавистные магазины, где хлеб и молоко, а потом дом, который не крепость, и прихожая, где спирт, факел и спички, и две одинокие комнаты, и грохот сердца от телефонных звонков, и смертельная готовность от звонков в дверь, и ожидание часа ночи, благословенного часа, комендантского, и репетиции перед тем, как уснуть, бесконечные репетиции того, как смочит тряпичный конец, как выльет спирт у порога, как зажжет спичку, как... а утром опять, и нет облегчения, и нет просвета, и не хочется просыпаться — боже, полгода не хочется просыпаться! — и на работе никто будто ничего не знает и не подозревает, чертова работа, на которую надо ходить, ходить до первого января — ах, как долго еще — что-то там неладно в бумагах, хоть ей и шестьдесят почти, а пенсию станут давать, если проработает до первого — и надо терпеть и ждать, ждать, ждать, и распухает чувство, что не успеть, так всегда кажется, что вот-вот освободишься, но это ложь, свободы нет и не бывает, всегда что-то держит, а на кону жизнь, и если что с ней, то как там сын, как Артур, вот и писем два месяца нет — не пишет или не доходят, но слава богу, хоть он не здесь, а в России, в безопасности, далеко, но каково ему будет без матери, и надо бежать к нему, а она пока не готова, даже после наступления нового года не готова, ведь не сразу это делается, да попробуй найди психа, который согласится на обмен сюда, в ополоумевший город, так что вряд ли у нее с Артуром будет квартира с удобствами, запущенный дом где-нибудь в русской деревне — максимум, на что хватит сбережений, не ехать же в переполненную Армению, где никакой родни, и где сбежавшие от убийц старики спят на кухнях, а в Америке, кому она нужна в Америке, только кажется, что многие спасаются там, но она-то знает, абсолютное большинство рассасывается по Союзу, а перепуганные американцы ввели квоту и принимают только близких родственников своих граждан...

В десять утра она очнулась на полусвоей кушетке в полусвоем доме, маленькая и седая. Горько скривила губы в ответ усмехающемуся солнцу, которое и вовсе не признало в ней свою. Приходилось жить дальше.

Звонки знакомым — евреям, русским. Поочередно в разных концах города вспыхивало удивление, разгоравшееся испугом. Пугались не за себя — за себя был особый, давно укоренившийся, тлеющий страх. Они слишком ясно знали, что́ ее может ожидать:

— Господи, Сильва! Откуда?.. Каким образом?! Впрочем, нет-нет, ничего не объясняй по телефону... Артур с тобой?.. Ах, конечно, конечно... Сейчас я позвоню зятю на работу, чтобы заехал за тобой и отвез к нам... Не сейчас? Вечером?.. Хорошо, хорошо, я позвоню предварительно... Сильва, дорогая, как самочувствие?..

За пять дней она не сделала больше ни шагу в этом городе и перемещалась пешком по-министерски — из дверцы автомобиля в дверь подъезда, всегда с сопровождающим. Друзья перевозили тетушку Сильву, как эстафетную палочку, из одной квартиры в другую только на личных автомобилях, даже такси вызывало недоверие.

Почти повсюду она заставала приготовления к отъезду, кто-то собирался за рубеж, кто-то — в Россию; немногие решившие остаться выглядели обреченно. Сильва, как могла, уговаривала их бросать все, не жалея; других — разумных — просила не затягивать сборы. Впрочем, те и так поторапливались, и лишь в семьях, среди членов которых были азербайджанцы, порой имелись заминки. Гасли хронические внутрисемейные распри, а поспешные браки заключались даже между теми, кто давным-давно был в разводе. Один пожилой русский, оставивший семью двадцать лет назад из-за невыносимого характера еврейской супруги, вновь привел жуткую избранницу в мэрию, чтобы спасаться вместе. Ящики из неструганых досок для отправки скарба на Ближний Восток стоили по шестьсот рублей; процветала таможня. Люди, знавшие друг друга всю жизнь, проводили рядом последние недели и месяцы, превратившись в отъезжантов трех категорий в зависимости от места назначения — Штаты, Израиль, Нечерноземье.

Друзьям, за десятилетия дня не прожившим без встречи или основательной телефонной болтовни, предстояло расстаться навсегда. «Бегунки», в которых заботливыми первопроходцами изложена последовательность действий при расставании с выдающимся гражданством и отправке багажа — десятки пунктов — стоили не ниже красненькой за штуку и стали Библиямн. От изумления собиралась воскреснуть убитая вода бакинской бухты.

Тетушка Сильва побывала и на бывшей своей работе. Четверть века в одной небольшой комнате трудилась она среди нескольких женщин, которые теперь едва здоровались с нею и спешили раствориться в конторских закоулках; иные сухо кивали, иные с трудом цедили кислые слова и только одной азербайджанке достало смелости обняться с неожиданной Сильвой и расцеловать ее изможденные щеки.

Мужниным родным она лишь позвонила, не желая их компрометировать визитами. Полуоккупанты ее квартиры сочли за благо не встречаться с полухозяйкой, но дома она все равно старалась бывать реже, занимаясь лишь упаковкой вещей.

Накануне отъезда сын одной из подруг привез ее на кладбище. У входа в мертвое царство тетушка замешкалась, чтобы нырнуть в финансовые расчеты. Наконец, презрев здравый смысл, она купила охапку тюльпанов и тщательно пересчитала: не дай бог, продавец ошибся, и надгробные плиты примут нечетное число цветков!

Еще далеко было до изнуряюще-душной жары бакинского лета, когда сама мысль о выходе на улицу из кондиционированного воздуха вызывает отвращение. Под легким солнцем, среди новорожденной зелени Сильва пробиралась лабиринтом тонюсеньких тропок к могилам своего клана.

Невзирая на приличия, вокруг тесаного гранита и мраморных обелисков пели и размножались птицы, лазали какие-то паучки, жучки и гусеницы, по-южному рано забывшие зиму. У плоского камня с барельефом мужа, давно погибшего при аварии на заводе, она беспомощно посмотрела по сторонам: здесь уже жило запустение и бороться с ним было бессмысленно — никто больше сюда не придет пропалывать, сажать, поливать, подметать и плакать. Она сама, вероятно, видит все это в последний раз.

Прощаясь, тетушка ходила меж могил и раскладывала цветы; памятники стояли так часто, что казалось, будто она на ходу беспрерывно кланяется остающимся дома. Последние подарки приникли к свежим еще холмикам безо всяких украшений, которым суждено зарасти первыми. У коекак оструганного деревянного креста Сильва задержалась. Двадцать первого января здесь закопали ее тетку, а девятнадцатого Сильва видела, ка́к все произошло.

Она не успела тогда миновать пахнущую сырыми кошками подворотню, когда слева из подъезда толпа выволокла семидесятивосьмилетнюю тетю Марго и растоптала посреди двора. Мстители прыгали по тощей старухе и приговаривали: «Вот тебе... Вот тебе за отца... Вот тебе за брата...» Дети отложили свои игры на сером дворовом булыжнике и превратились в глаза, а Сильва рванулась назад, к перекрестку, где видела армейский патруль.

Курносый лейтенант и два солдата, все с автоматами и в касках, были на ме́сте. Она рухнула на колени, и вопли не смогли пробить брешь в запретной мощи приказа не вмешиваться, и скоро она вместе с военными проводила глазами вывалившую из подворотни громкую толпу, довольную проведенной акцией. В азербайджанскую милицию звонить было незачем.

Соседи тети Марго, еврейская пара преклонных лет, рассказали потом, что погромщики вначале пришли к ним по лестнице черного хода. Усомнившись в армянстве хозяев, молодые люди потребовали паспорта. Документы пошли по рукам: каждый лично хотел удостовериться в ошибке, и дюжина пар глаз старательно сверяла фотокарточки с оригиналами. У главаря в бескрайней кепке и драповом пальто с тяжелыми карманами имелся список, и он принялся выяснять, где на самом деле живет такая-то. Ему объяснили, и двум пожилым евреям позволено было пока жить дальше. Соседи сказали, что тетя Марго кричала, когда к ней ворвались; на улице криков уже не было, только хряпало под ногами...

Тетушка пошла прочь с кладбища, роняя сохранившиеся еще слезы. Сильва заблуждалась, думая, что они иссякли в дни, когда ее соплеменников швыряли из окон в костры, сложенные из предварительно сброшенной вниз мебели.

...Вечером она свяжет бельевыми веревками картонные коробки с утюгом, чайником, полотенцами... прочим барахлом, без которого, оказывается, так тяжко жить. Больше никогда сюда не вернется. Артур встретит во Внукове и проводит до покосившейся рубленой избы в постепенно вымирающей Охотнице, что под Вязьмой. Там она снимает комнату с тараканами у скупой, быстро маразмирующей бабули. Сын отправится затем дальше, в Смоленск, где учится в областном пединституте и живет в общежитии, а ма́ленькая хрупкая Сильва, радуясь весне, станет путешествовать по окрестным деревенькам, приглядывая дом для покупки. С этим ей следует поторопиться, пока не растаяли по пустякам сбережения, да и цены все растут. А там уж как-нибудь: здоровье еще ничего, будет огородничать и выращивать фрукты. К тому же в январе она захватила, помимо смены белья, швейную машинку, на которой, право же, неплохо шьет. Даже постоянные клиенты уже появились в Охотнице; они расплачиваются с Сильвой картошкой, яйцами и маслом и улыбаются ей при встречах на разбитых улочках. Ей почему-то кажется, что, когда Артур получит диплом, жизнь вновь наладится. Как это произойдет, Сильва не знает, но и не гонит надежду. В конце концов, все уже идет к лучшему: бабка-домовладелица перестанет попрекать тетушку своими полотенцами, утюгом и чайником, а Артуру остался год до защиты. И она увидится еще со многими из тех, кто приедет провожать ее завтра в Бина. Предстоят своеобразные «ответки» — на Смоленщине еще сохранилось кое-где это белорусское слово, — она «в ответ» будет провожать старых друзей. Будут последние слова, последние объятия, последние поцелуи, а потом привычные к аншлагам лайнеры будут уносить ставшие родными семьи одну за другой в Сидней, Тель-Авив и Нью-Йорк. Она будет приезжать в «Шереметьево-2» с термосом сладкого чая, сыром, рогаликами и колбасой, и все будут благодарны ей за то, что скрасила последние мучения в диких предтаможенных очередях на родной земле — правительству важно, чтоб не вывезли лишнюю табуретку; спасти людей — задача чужих правительств. Под рев турбин одиночество будет захватывать все новые пространства вокруг Сильвы, и когда-нибудь поездки в аэропорт упразднятся за ненадобностью. Впрочем, об этом лучше не думать...

Поднималась «моряна», ветер с моря, который несет мазут на пляжи к югу от Баку. Сейчас это всем безразлично, потому что купаться еще холодно. Тетушка невольно ускорила шаги.

Она шла среди множества смертей к ожидавшей машине; мальчик, привезший ее, деликатно остался за оградой. Беспокоясь, он напряженно вглядывался в кладбищенские глубины и прислушивался к ветреной тишине. Он помнил, как ребенком гулял с Артуром и его мамой вдоль фонтанов бульвара. Завидев постаревшую бывшую няню, мальчик распахнул дверцу. Усаживаясь сзади, тетушка Сильва продолжала держать руку в кармане плаща: ее пальцы грели равнодушный металл ключей от потерянной квартиры.

«Надо завтра снова здесь побывать, — решила она, — и вырыть прутиком углубление под мужниной плитой, чтобы оставить в нем эти ключи. Не забыть бы смазать сливочным маслом и обернуть полиэтиленом. Самое им тут место».

г. Новополоцк

Александр ПОЛЯКОВ

Сразу за поселком—степь

За три пачки чая — кастет, а за пять — финка с наборной ручкой. Зона была рядом, метрах в пятнадцати от школьной ограды проходила колючая проволока, натянутая в два ряда: сперва высокий ряд, а внутри — пониже; и между ними — самая строгая запретная полоса. Если, бы-

вало, туда падала пачка чая, брошенная сплоховавшей рукой, то все, плакали денежки неумехи, и кастет, и красавица-финка, и авторитет на поляне за школьной уборной с выбитыми в досках сучками, где басили отроки, раскуривая вкруговую бычки, и наяривал в зоску на крученые шалабаны народец помельче.

Мы бросали в зону чай, нам оттуда — свинцово-стальные поделки, завернутые в ветошь. Солдаты на вышках зевали, устало покрикивали и смотрели в заветную дембельскую даль.

Зеки строили кинотеатр «45 лет Великого Октября». А до этого они же построили школу, целую улицу домов, на которой мы жили с Витькой Григорьевым, или попросту Гырой, и многое другое в нашем степном поселке. Если в каком-то месте вкапывали столбы, натягивали между ними «колючку», сколачивали вышки по углам — значит, быть тут стройке. Серые колонны заключенных, дерзко насвистывавшие девушкам бодрые автоматчики с дисковыми, времен войны, ППШ, как-то по-особому крытые грузовики — все это было знакомо с первых дней, привычно, как буран на неделю, пыльные смерчи, терриконы шахт, пузырящий в степи сатиновые штаны и рубахи полынный ветер.

Зеки строили кинотеатр и, что-то, должно быть, вспоминая, посматривали на школьные окна. Мы доказывали теоремы, писали диктанты и смотрели на них, поскольку все равно больше смотреть было не на кого.

И вдруг на большой перемене бабахнуло: пугнул наскоком воробьиную округу нетерпеливый автомат. Мы с Гырой и еще несколько ребят, ясное дело, побежали на выстрелы.

От колонны, замершей на дорожной развилке под стволами охраны, отделился и уходил мимо крыльца хозмага человек в линялой зековской амуниции. Он был высок, худ и уходил размашисто и бесстрашно. За ним двинулся, перетаптываясь, мелкорослый, в длинной, как платье, гимнастерке солдат; он снова, к нашему восторгу, пальнул в небо и крикнул с неотлаженной хрипотцой: «Стоять!» Зек обернулся: на сером лице крутанулись большие больные глаза. Махнул рукой: «Да иди ты...» И опять повернулся узкой спиной и уже миновал последний перед степью палисадник. Колонна тем временем по команде двинулась обычным маршрутом.

Мы, обтекая солдата почтительной подковой, семенили сзади, подхватывая горячие гильзы, толкались, а солдат, удивительное дело, не прогонял нас, только ругался как-то странно, вполголоса, налегая то на «с» («С-с-стой, С-с-спазма!»), то на «х» («Во, блях-х-ха мух-х-ха!»), и все чего-то шарил в левом кармане галифе — инструкцию, что ли, искал, как выйти ему из положения, и не находил никакой инструкции. Впрочем, наверное, инструкция была, и он ее знал: побег, он и есть побег, стрелять надо, и не в небо вовсе...

Вот этого-то мы втайне и ждали, обмирая душой: сейчас выстрелит, сейчас.

Так близко еще никто не умирал. Смерть, в которую мы и не верили толком, являлась тоскливо-парадной: медленная процессия в сторону горы Майской, где кладбище, яркие венки, обязательная музыка, кривляющийся под нее добрый Коля-дурачок, надменный лик мертвого в гробу на машине с открытыми бортами, лик и отрешенный, и одновременно так цельно, в последнем предельном усилии устремленный в небо, от которого его вот-вот упрячут навсегда... Но процессия, музыка — это все же привычно: поселок вообще жил как бы нараспашку: хоронили, водили колонны зеков, дрались на освещенной клубной площади, любили в открытой вечерней степи — все на виду. Степь диктовала способ существования.

Но сейчас, под этот глухой стук сапог, шарканье наших сандалий, под сдавленный переброс: «Стой, Спазма!» и «Да пошел ты, щеня!» — могло случиться что-то новое, пугающее, нехорошо манящее. Недаром закатывались под пыльные листья заячьей капусты обжигающие гильзы.

Прошло, быть может, с полчаса, как началось это странное преследование в степи. Спазма поднялся на гору Майскую и спустился к кладбищу, мы повторили за ним каждый шаг. Дома поселка все уменьшались позади, и нарастали над ними пепельные отвалы шахт, и распахивалась впереди, безбрежно надвигалась зеленая с проплешинами степь.

Раз или два мы отстали, ища в траве гильзы, и солдат, беспомощно оглянувшись на нас, тоже затанцевал на месте с пятнистым потным лицом

и даже шевельнул словно бы сведенными несуществующим морозом губами: «Эй, ребя... Вы того... Подтянись...» И снова без надежды уже чиркнул раскатистой очередью по низкому небу. «Да стой же, стой!» Мы подтянули ему: «Дяденька Спазма, вернись, стой!..» Тут зек будто бы споткнулся, будто бы что-то вспомнил напрочь забытое; он развернулся всем корпусом, замер, и острый подбородок заходил у него маятником под чернотой хватающего воздух рта.

— Вот и постой, постой...— Солдат с нацеленным автоматом стал подкрадываться к зеку.

— И-и-э-х, пацаны мои... Зачем? — сказал тот и зашагал дальше.

— Убью же, убью счас! — рыдающе крикнул солдат.

— Убивай, убивалка...— спокойно и жутко как-то ответил зек.

Уходящий от нас человек в мрачном бушлате говорил хоть и отрывисто, но не зло, а даже печально, но мы его совсем не жалели, мы были горой за солдата, за своего: у него — звезда на пилотке, послушное оружие в руках, он один на один преследует опасного преступника,— хорошие люди, по разговорам старших, в зоне не сидят, а сидят все больше за столами учреждений и вычисляют, как сделать, чтобы жизнь стала лучше и чтоб построить материально-техническую базу не за двадцать лет, а пораньше. И всем быстро уйти на эту базу. Не зря же ходит туда через день цветущая тетя Ида, буфетчица...

Где-то была школа, там заканчивался урок ботаники, и хрупкая ботаничка («наша ботаничка тонкая, как спичка»), наверное, давно поставила против наших фамилий грозные жирные знаки. А мы шли и шли.

Трудно понять: что же толкнуло заключенного на этот отчаянный шаг? Ведь он не убегал, не прятался, не готовился заранее. Просто взял и пошел. Что же? Несчастье в родном полузабытом доме, измена близких людей, опустошающая сердце обида, открывшаяся страшная болезнь, невозможность с сегодняшнего дня жить под конвоем, за проволокой?.. Не знаю и не узнаю никогда. Кажется, он хотел умереть и ждал оголенным затылком, лопатками, гнутым позвоночником, готовой к отлету осенней душой последнего удара. Если так, то он был самым свободным человеком. Он был свободнее второгодника Витьки Гыры, который всегда делал, что хотел. Он был свободнее директора школы Шугаева, а уж кто ему, директору, может приказывать?

Перезаряженный этой немыслимой свободой, зек шел, пыльно загребая в редкотравье сапогами, шел, не останавливаясь, лишь иногда отчего-то замедлял шаг, как бы в задумчивости, но, подхлестнутый новым разрядом внутренней боли, дергался на взгорке и опять устремлялся вперед.

Солдат уже не покрикивал: «Стой, Спазма!» — он тихо и трудно выворачивал языком приросшие слова:

— Возвращался бы ты, а? Возвращался бы...

Жилистый решительный Гыра посоветовал:

— Ты пальни, дядь, по ногам. По ногам-то можно...

Солдат только бросил на него слепой взгляд.

Теперь я понимаю: солдат не прогонял нас еще и потому, что он спасался нами, прикрывался; мы своим присутствием оправдывали его нестреляние, смягчали вину, если она была. «Я не мог стрелять в него, рядом бежали дети»...

Зек освободил себя, мы освободили от последнего выстрела солдата. Мы все были связаны. И солдату было важно, чтобы мы семенили рядом, потому он и поторапливал:

— Подтянись!..

Он не умел стрелять человеку в спину. И в грудь не умел и даже по ногам.

Странные, запутавшие меня позднее, в юности, стихи:

Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Полюбил? Не слишком ли?..

С каждым шагом мы все больше презирали солдата, который не мог такой малости — задержать беглого безоружного преступника. Гыра захотел помочь солдату — рванул наперерез зеку; тот остановился, погрозил

кулаком, потом нашел камень и, метко бросив его, подбил Гыре ногу. Тот сел, закрутился, матерясь и скуля.

Ниже обычного прогремела над головой Спазмы очередь.

— Ты чего мальчишку-то? Завалю гада...

— Блевал я на тебя со второго без фикуса, завалялка хренова, — спокойно прозвучало в ответ.

Зек смешной пробежкой, вразброс нагоняя ногами тело, спустился в овраг, вскарабкался по противоположному склону, посмотрел направо и остановился: от поселка по дороге пылила машина. За борта ее кузова цепко держались люди с автоматами. Спазма стукнул себя по ноге и застонал тоскливо, развернулся к нам. Солдат остановился тоже, а мстительный Гыра стал искать камень, но не нашел.

Грузовик (было уже слышно, как он, прыгая, гремит бортами) съехал с дороги и катил по степи в нашу сторону, с небольшим упреждением, чтобы отсечь отход беглецу. Тот заметался. Солдат вскинул ППШ. Деваться зеку было некуда, и он невольно шагнул к нам — мы уж почти как свои; мы стали близки какой-то тягостной и устойчивой близостью, и в этом долгом степном движении под перебранку, выстрелы и уговоры выработался свой порядок, свои правила, о которых активные парни с готовым к стрельбе оружием знать не знали. Да и не хотели знать...

— И давно бы так, давно бы... — ломким голосом зачастил солдат. — А то... Хорошо, сам сдаешься...

С запада потянуло зябким ветром. Все кончалось. Сейчас Спазму отвезут назад в зону, после суд, добавят срок, но немного: все ж таки осознал, сдался сам, вернулся. И Спазма опять будет чифирить нашим чаем, строить кинотеатр «45 лет Великого Октября», точить финские ножи и лить кастеты, а после выйдет и продолжит все это на воле.

Бортовушка приближалась. Зек, пятясь, коротко глянул на нее, потом долгим потрошащим каким-то взглядом посмотрел на нас, — у меня от этого что-то лопнуло под ложечкой и пушистый холодок переполз из живота под сердце.

— Так... Ладно... Руки давай, на затылок... Куда уйдешь, дурень, — степь. Степь да степь кругом... — не умолкал солдат. Так, наверное, уговаривает взрослый подошедшего к обрыву ребенка, одновременно боясь и опоздать, и испугать, будто зыбкой нитью непрерывных слов надеется удержать от гибельного шага до той поры, пока сам не подбежит на гнущихся ногах, не подхватит, не спасет...

Зек достал мятый конверт, помедлил и мелко изорвал его, швырнул в сторону. Потом, согнувшись, как в желудочном приступе, похабно переломил сжатую в кулак руку в сторону подъезжающего грузовика и — побежал. Впервые побежал, молча.

Солдаты, уже спрыгнувшие с бортов, полезли на ходу в кузов. Машина взяла левее и стала быстро нагонять Спазму. Тот не оглядывался. Казалось, его не интересует воющая на низкой передаче бортовушка, брань из кузова, пляшущие за спинами солдат толстые рыбьи хвосты автоматных прикладов, их беспощадные юные лица. Он бежал без шапки, и легкая бритая голова с мишенью-лысиной была неподвижна, и все тело было оцепенело-равнодушным, только ноги совершали гнутые клоунские движения, а правой, оскорбившей преследователей рукой он все что-то стирал с лица — пот, слезы, не знаю что.

Через минуту его взяли. Грузовик газанул и преградил ему путь. Плечистый сержант прыгнул на зека сверху, но промахнулся, зато другой солдат, веселый и хлесткий, борцовским подкатом свалил Спазму. Спрыгнули еще четверо и, возбуждая себя матерками, раскачав, закинули зека в кузов. Мелькнула над высоким бортом оголившаяся серая спина, вздыбленный горбом бушлат, над провалом живота напряглись готовые прорвать кожу ребра; тело ударилось о доски кузова. Солдаты, торопя и выщучивая друг друга, вскочили следом, машина набрала скорость на развороте и помчалась к поселку.

Вцепившись в борта, солдаты что-то кричали и месили ногами середину кузова. Там лежал зек. Машина ехала все быстрее, и они все быстрее били Спазму...

Московская область

Владислав ОТРОШЕНКО

Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ, ЧИТАННАЯ В ЗИМНЕЙ СТОЛИЦЕ КОРОЛЕВСТВА БУТАН ВО ВРЕМЯ МУССОННЫХ ДОЖДЕЙ

Да благоденствует древняя Пунакха, ее окрестности и все царство Друк-Юла, пока стоят Гималаи!

Дамы и господа!

Великих тамбурмажоров было всего четверо. Принято считать, что все они — итальянцы. Хотя один из них, Сальвадор Романо, граф Сальвадор Антонович, не только родился в России, но и, будучи ярым противником всяких вояжей, никогда не покидал ее пределов без чрезвычайной надобности. Его первый и, по всей вероятности, наиболее осведомленный биограф, Степан Харузин, настойчиво подчеркивает, что даже из своего излюбленного имения на юге России, в Малом Мишкино, где, кроме его небольшой усадьбы, заброшенной дачи атамана Платова и дюжины накрепко вросших в пологий холм куреней, обретался еще выстроенный на его пожертвование, предусмотрительно обнесенный высокой стеною из пиленого ракушечника приют умалишенных — затейливой архитектуры дом, густо обросший с фасада дикой лозою и кучерявым плющом, — он выезжал крайне редко. В Венеции, на родине Антонио Романо, своего непоседливого батюшки (так называл его сам Сальвадор), он побывал лишь однажды, уже незадолго до смерти, в 1900 году. Вернувшись домой — зачем-то окольным путем, на пароходе «Санкт-Петербург», ходившем в Россию через Атлантический океан, с трехдневной остановкой в Гавре, — он заявил в коротком интервью корреспонденту «Южного телеграфа», что город, «возросший по прихоти деятельного разума на островах лагуны», произвел на него «удручающее впечатление своей назойливой красотою» и что если он и мечтает о чем-нибудь (корреспондент стал расспрашивать его, девяностошестилетнего старика, о мечтах!), так это о том, чтобы больше не ездить в Венецию... в Рим, в Петербург, в Стамбул. «И куда бы то ни было, сударь. Ибо склонность к путешествиям — порочна!» «После этих слов, — пишет удивленный корреспондент, — он, как бы салютуя, вдруг вскинул к полям цилиндра необычайной длины указательный палец, украшенный ослепительным солитером, нетерпеливо махнул перчаткой моложавому кучеру, и его легонький фаэтон, запряженный парой рыжих ганноверанов, быстро помчался по Михайловской площади Новочеркасска в сторону почтового тракта...»

О своей ненависти к путешествиям и путешественникам Сальвадор говорил почти во всех интервью и с особенной пылкостью, с какой-то грозной настойчивостью, — «прямо-таки с апостольским жаром», замечает Харузин, — в тех, которые он давал летом 1898 года на Всемирном состязании тамбурмажоров в Фонтенбло. На этом поистине историческом состязании — самом продолжительном в XIX веке и по числу участников не превзойденном до нынешних дней (2300 тамбурмажоров из 49 государств, включая Заскар, Бутан и Мустанг, оспаривали первенство!) — Сальвадор, как известно, последний раз в жизни облачился в расшитый золотой канителью, щедро украшенный искрящимися галунами мундир фельдфебеля музыкальной команды и взял в руки тамбурмажорский жезл. Французские газеты писали тогда, что он вращал и подбрасывал его, маршируя в течение десяти часов на плацу с отрядом неуемных барабанщиков и ротой неутомимых гренадеров, уже с нечеловеческой ловкостью — «с обезьяньей ловкостью», как выразился более определенно корреспондент бостонской спиритической газеты «Herald of Truth»: «Я не видел зрелища более вос-

хитительного и ужасающего в своей непостижимости, — писал американец, — чем то, которое явила нам в Фонтебло эта яростная и человеколюбивая горилла в позументах, воздвигнувшая где-то в сарматских степях России сумасшедший дом для военных музыкантов. Полагаю, что именно в этом доме, среди свихнувшихся валторнистов, флейтистов и трубачей, Сальвадор и закончит свои дни, ибо искусство его уже давно достигло тех лучезарных высот, выше которых простирается сфера чистейшего идиотизма!»

Этот велеречивый корреспондент из Бостона был, кажется, единственным из всех газетчиков, кто сумел взять интервью у Сальвадора сразу же после его десятичасового выступления на плацу. Во всяком случае, французские репортеры писали потом в свое оправдание, что нужно было иметь такие плечи, как у «le spirite de Boston» *, и обладать закалкой жителя Нового Света, чтобы, во-первых, протиснуться к Сальвадору сквозь толпу почитателей и частокол из двухметровых гренадеров, а во-вторых, стерпеть неучтивость маломишкинского камердинера — скуластого горца в малиновом казакине с огромными эполетами, сопровождавшего своего прославленного господина в поездках и на предыдущие состязания и позволявшего себе на этот раз производить при виде знакомых ему репортеров уже совершенно оскорбительные телодвижения и звуки. Преодолев на зависть субтильным французам эти «les obstacles fâcheux» ** и оказавшись рядом с Сальвадором на маленьком островке, омываемом шумной, подвижной толпой, то и дело накатывавшейся ритмичными волнами на широкие спины и крепкие ягодицы невозмутимых гренадеров, американец задал великому тамбурмажору вопрос, с которым корреспонденты «Herald of Truth» обращались в тот год беспрестанно ко всем выдающимся людям, не исключая банкиров и знаменитых лореток: «Do you believe in astral travels of spirit?» ***. Сальвадор, хорошо владевший английским — «не хуже, чем русским, тибетским и итальянским», утверждает Харузин, — сумел, очевидно, расслышать в разноязыком гомоне только словечко «travels». Но этого-то как раз и было достаточно, чтобы желчный и своенравный старик, каким предстает Сальвадор в сочинениях авторитетных биографов и всевозможных воспоминателей, — в 1910 году даже его необузданный горец, не отличавшийся многословием и страстью к сочинительству, выпустил в Санкт-Петербурге увесистый томик своих беспорядочных воспоминаний, озаглавленных несколько фамильярно для бывшего графского слуги: «Мой бешеный Сальвадор», — чтобы старик, тяжело переживавший всякий выезд из дома, да к тому же еще возбужденный всеобщим к нему вниманием, повергся в то болезненное состояние, которое Харузин, повинуясь правилам исследовательской деликатности, назвал «апостольским жаром».

— Что?! Что?! Путешествия?! — закричал Сальвадор по-английски, подняв над головою жезл. — Да будут прокляты путешествующие! И да сгинут они с лица земли! Ибо они внушают нам, что мир бесконечно разнообразен! Они, уязвленные жаждой странствий, побуждают нас верить в ничтожество духа и невозможность покоя!.. Я проклинаю вас, путешествующие на верблюдах! на слонах! на ослах! на воздушных шарах!..

. . . .

Боже мой, сколько лет я не был в Бутане! Сколько воды излилось с гималайских небес на царство Друк-Юла с тех пор, как я покинул его! Впрочем, здесь немногое изменилось. Подданные друк-гьялпо — да приумножатся дни его в этом мире! — по-прежнему носят пестрые кхо, перехваченные широкими поясами и отороченные парчой; так же улыбчивы и приветливы монахи в пурпурных тогах, неразговорчивы и медлительны горделивые воины гьялпо в шелковых длинных халатах, перетянутых накрест шарфами изумительной белизны! Все с тем же неумолкаемым рокотом течет по наклонной долине бурноводная Мачу; как и прежде, загадочны и торжественны каменные чхортены по ее берегам; и все так же трепещут на башнях дзонга молитвенные флаги во славу Просветленного... О, Бутан, Бутан!..

Мачу еще не вышла из берегов: муссонные дожди только начались. Однако весь королевский двор, множество монахов, тримптон и нерчьен

* бостонского спирита (фр.)
** огорчительные препятствия (фр.)
*** Верите ли вы в астральные путешествия духа? (англ.)

Пунакхи уже переселились в летнюю столицу. Уехал в Тхимпху и король. Очень жаль! Жаль, что его величество друк-гьялпо не изволил — хотя бы еще на день! — задержаться в Пунакхе. Его присутствие на лекции наверняка привлекло бы в дзонг всю окрестную знать — влиятельных треба и почтеннейших рамджамов. Накануне я пытался уговорить одного из королевских секретарей, чтобы он убедил монарха посетить лекцию. Но молодой вельможа, отлично говоривший по-русски, был непреклонен. «Мачу через несколько дней превратится в ревущий поток, — сказал он, — а дорогу размоет не сегодня-завтра. Я не могу допустить, милостивый государь, чтобы его величество король-дракон слушал здесь звуки ваших речей до окончания муссона, тогда как у него есть и более важные дела в Благословенной Крепости Веры...» Разумеется, я не стал выказывать королевскому секретарю своего неудовольствия, тем более что он тут же, без всякого перехода, но и без малейшей принужденности, как это умеют делать только бутанские придворные, чья обаятельность ничуть не уступает чудовищному высокомерию, сменил суровое выражение лица на самую теплую улыбку и вручил мне с почтительным полупоклоном долгожданный кашаг, скрепленный печатью его величества с изображением молнии и двух драконов, в котором говорилось, что мне, «ученому человеку с Запада», дозволяется изложить в дзонге Пунакхи, «пока будут шуметь в долинах Друк-Юла большие дожди», свои размышления о любом предмете. На деревенского рамджама, замещающего на время муссона тримптона зимней столицы, бумага произвела неотразимое впечатление. Старик долго охал и цокал языком, рассматривая ее, а затем объявил мне с чрезмерной торжественностью, что он предоставляет в мое распоряжение самую пышную залу — в южной части крепости. При этом он стал заверять меня, впадая в необычайное воодушевление, что в этой гигантской зале с оранжевыми потолками и целым лесом разноцветных колонн все способствует углубленному размышлению — и огромные статуи будд, покрытые золотом, и яркие фрески, и тибетские вазы, и воспроизведенный сто восемь тысяч раз на вазах, колоннах и статуях текст священной мантры: «Ом мане падме хум» («Благословенно будь, о ты, сокровище лотоса»). «Я позабочусь, — сказал он, — чтобы ни одна душа не проникла в залу, пока вы там будете размышлять, досточтимый!» Мне стоило немалых усилий объяснить рамджаму, что я вовсе не намерен размышлять в одиночестве и что я вообще не намерен р а з м ы ш л я т ь. В силу того, что в его тщательно выбритой и бугристой, как перезревший гранат, голове безнадежно отсутствовали некоторые понятия, а в моем тибетском — некоторые слова, я никак не мог преодолеть того тягостного и непростительного, хотя и отчасти вынужденного косноязычия, которое с каждой минутой утомляло меня все больше и больше и приводило в замешательство старого рамджама, уже начинавшего сомневаться в моей учености. Мне не хватало на первый взгляд пустячка — слова «лекция» по-тибетски. Нет, конечно, латинские «lectio» — чтение и «lectito» — читать часто, усердно, внимательно — вполне поддаются буквальному переводу на сино-тибетские языки, как, впрочем, и «lector» — читатель, чтец. Но тибетского слова, которое обозначало бы а к т п у б л и ч н о г о в ы с т у п л е н и я н а к а к у ю-л и б о т е м у, я никак не мог отыскать в своей памяти. В конце концов, уже совершенно отчаявшись, я сказал рамджаму по-тибетски, наперед осознавая всю нелепость и неуклюжесть наугад построенной фразы: «Я буду произносить слова, которые нужно слушать множеством чутких ушей, исполненных пустотою усердия». К моему изумлению, рамджам просиял. «О, да! О, да!» — воскликнул он...

. . . .

— Проклинаю и вас, — кричал Сальвадор исступленно, — вас, карабкающихся по горным склонам, подобно вьючным животным! И вас, путешествующих на пароходах, в экспрессах и экипажах! Я говорю вам: противны Единому ваши жалкие устремления к неведомому! И говорю вам: не отыщите вы неведомого во веки веков, куда бы не перемещали вы свои непоседливые задницы и алчные глаза, опьяненные зрелищем форм!..

Приступ грозного и темного словоизвержения, писали потом газеты, длился не менее часа. Не менее часа вещал Сальвадор неистово о порочности путешествий. Но этим не ограничился. В течение двух недель, как утверждает парижская «Siecle», он разъезжал по Фонтебло на «Штевере», купленном им еще по пути во Францию (горцу в малиновом казакине

до того полюбилась самодвижущаяся карета, что он, по его же признанию в мемуарах, жестоко избил на публике графского кучера, когда тот в простоте душевной попытался занять его место за рулевым колесом), и повсюду, собирая толпы зевак и репортеров, поносил путешествия и путешественников.

Те из репортеров, которые знали кое-что об отце Сальвадора, прославившемся в начале XIX века именно благодаря своей страсти к путешествиям и блестящим географическим трудам, искренне удивлялись мрачной ненависти Сальвадора ко всякого рода странствиям — ненависти, доходившей порою, как это было в Фонтебло, до пароксизмов безумия. Впрочем, некоторые журналисты, более осведомленные или менее поверхностные в суждениях, высказывали предположение, что Сальвадор на самом деле ненавидел вовсе не путешествия, а своего родителя, Антонио Умберто Романо, «ученого венецианца», как пишет о нем Харузин, военного инженера, «члена многих академий», состоявшего восемь лет в русской службе — сначала в свите императора Павла Петровича, а затем — Александра Павловича. Последний произвел его в чин подполковника Генерального штаба незадолго до того, как Антонио (накануне Аустерлица) неожиданно исчез, чтобы затем объявиться как ни в чем не бывало в штабе Наполеона. Харузин со свойственной ему прямотою и пылкой верой в непогрешимость выдающихся личностей решительно отвергает «досужие домыслы казенных борзописцев» (имеются в виду статьи в австрийской прессе и небольшая заметка в «Санкт-Петербургских ведомостях») о том, что отец Сальвадора захватил с собою при этом кое-какие штабные бумаги, кое-какие чертежи, а главное, составленные им же оригинальные проекты полевых и долговременных фортификаций русской армии.

По заверению Харузина, основанному не столько на фактах, сколько на его собственном запальчивом благонравии, Антонио перешел к Наполеону «с пустыми руками» и исключительно потому, что «служба французской короне давала в то время больше возможности путешествовать не только по странам христианского мира, но и по отдаленным и отрезанным от европейской цивилизации, не посвященным в новейшие достижения наук, хотя и озаренным в достатке светом учения царевича Гаутамы, гималайским государствам», куда Антонио, присягнув на верность Бонапарту, тотчас же и отправился в качестве секретного агента Французской империи с целью исследовать подробно высокогорные королевства Заскар и Мустанг и по возможности проникнуть в королевство Бутан. В Бутане Антонио неожиданно попался, хотя и продумал он, как ему представлялось, все до мелочей. Выдавая себя за паломника, он прятал в посохе термометр (по ночам, запалив костер, поднимавшийся ровным, почти неподвижным столбом к гималайским, белесым от звезд небесам, «ученый венецианец» опускал прибор в кипяток, определяя таким способом высоту над уровнем моря караванных дорог и пограничных перевалов), в молитвенной мельнице хранил записные книжки, в ритуальных сосудах — чернила и перья, а под просторной тибетской чубой — чертежную готовальню и штуцер. Разоблачил агента один наблюдательный странник, сосчитавший приметливым глазом количество костяшек на молитвенных четках Антонио. Их было сто вместо ста восьми. О том, что это число священно в буддийском мире, Антонио, вероятно, не подозревал, как не подозревал он и того, что странник, перед которым он начал было ломать комедию, изображая внезапный приступ удушья и надеясь в удобный момент (дело происходило в заброшенной горной хижине близ бутанско-сиккимской границы) исправить свою оплошность при помощи штуцера, был кавалером ордена Подвязки, офицером английской Ост-Индской компании, выполнявшим, в свою очередь, секретные поручения короля Георга, который не меньше, а может быть, даже и больше, чем Наполеон, желал иметь подробные карты маленьких и непростительно беззаботных монархий, счастливо затерявшихся в солнечном поднебесье среди гималайских вершин.

Между двумя агентами после короткого единоборства, в котором верх одержал англичанин, — из-под непальских одежд бритоголового странника, обвешанного амулетами, вдруг выглянул к изумлению Антонио, чей устаревший за время странствий дульнозарядный штуцер мгновенно был выбит из рук точным ударом ноги, граненый ствол револьвера Коллера, — произошел, по-видимому, довольно бурный и откровенный разговор. Состоялась, вероятно, и дружеская, если не сказать государственная, сделка. Иначе как объяснить тот факт, что обширные сведения о маленьких, прозябавших в блаженной беспечности королевствах Антонио доставил, минуя штаб Наполеона, прямо в Лондон — одному из тайных королевских комиссаров по делам Индии, который, между прочим, отрекомендовал венецианца на аудиенции у Георга III как человека мужественного, ученого и вместе с тем преданного всем сердцем интересам британской короны. Произведенный в скором времени в чин инженер-полковника королевских войск, Антонио вновь отправился путешествовать, на сей раз по диковинным, разнообразно цветущим, исполненным всяческих колдунов и идолов землям, коими Англия уже владела и коими только намеревалась завладеть при помощи дерзкого флота, бывалых карабинеров, вкрадчивых дипломатов и неутомимых агентов. Где только не побывал Антонио Умберто Романо! И в тропиках Южной Америки, и в Новой Зеландии, и в Австралии, и на бесчисленных островах трех океанов, и, конечно же, в Африке.

Но вернемся, дамы и господа, к России.

Российская корона, как и французская с английской, поощряла по мере сил своих склонность Антонио к перемене мест. «За восемь лет безупречной службы нашему Отечеству, — пишет Харузин, — отец Сальвадора и двух месяцев кряду не прожил в Петербурге; подвергая себя опасностям, часто рискуя жизнью, он много и яростно путешествовал — по европейской Турции, Греции, Албании, Далмации, Истрии, Польше, Германии, особенно же — по России, в которой проехал 30 000 верст, исполняя различные поручения русского правительства».

И вот благодаря одному из таких поручений (чтобы его измыслить для неугомонного венецианца, юному самодержцу Александру пришлось долго в унылый послеобеденный час водить по меркаторской карте империи увесистой лупой на длинной самшитовой ручке, вздувая ею то устье Днепра, то зачем-то заливы Карского моря и даже — совсем уж без мысли, а только ради забавы — острые зубчики фьордов пустынной Новой Земли) Антонио оказался на юге России, в Малом Мишкино, на даче атамана Матвея Платова, где и был зачат летом 1803 года, — «в гувернантской комнатке с круглым окошком», уточняет Харузин, — снискавший всемирную славу российскому тамбурмажорскому искусству Сальвадор Романо. Отправился же Антонио на юг России с целью «защитить, — как говорилось в рескрипте на имя Платова, — путем инженерных работ, как то: наведение каналов, возведение дамб, устроительство гидравлических систем и проч., столицу Области войска Донского Черкасск от весенних и летних разлитий Дона, кои затопляют ежегодно сей воздвигнутый невежественными пращурами на пологом острове город по окна, а в иные лета и по самые крыши домов, похищая тем самым множество жизней любезных Нашему сердцу казаков». Поручение это, надо сказать, было не то, чтобы совершенно бессмысленным, — оно было до крайности лукавым, ибо накануне Александр одобрил проект переноса казачьей столицы на новое место, представленный атаманом Платовым, который, как пишет один малороссийский историк, «страх як мрiяв стати фундатором нового граду, та ще такого, котрий затьмарив би аж Санкт-Петербург пишнiстю будiвель та чудовною геометрiєю вулиць» *. Так или иначе Антонио, приехавший в Черкасск осенью 1802 года и ничего не знавший ни о проекте Платова, ни о страстных его мечтах, рьяно взялся за дело. Платов наблюдал за ним с насмешливым любопытством. Ожидая со дня на день высочайшего указа о возведении на самом величественном холме южнорусских степей, в пяти верстах от Малого Мишкино, Нового Черкасска, атаман, разумеется, не оказывал венецианцу ни малейшего содействия, но и не мешал ему выполнять поручение Государя. И только уже в начале лета, когда Антонио, затратив огромные усилия, произвел-таки наконец все подготовительные работы, то есть объездил в распутицу и непогоду донские озера и гирла, назначил места для строительства дамб и плотин и умело разметил пути каналов, усеяв весь город колышками, Платов вызвал его в атаманский дворец и в торжественной обстановке, восседая с насекою и перначом под войсковыми знаменами среди разодетых в парчу и бархат старшин (оба, и розовощекий безусый император, и бла-

* страстно мечтал стать основателем нового города, да притом еще такого, который затмил бы аж Санкт-Петербург пышностью зданий и блистательной геометрией улиц (укр.).

городно седеющий усатый атаман, конечно, созорничали, когда за ужином в Петергофе задумали смеха ради этот явно неделикатный и несколько театральный финал), объявил, что 100 000 рублей серебром, отпущенных казною на инженерные работы, издержаны без остатку, третьего дня в Азове, на покупку племенных жеребцов для станичных конезаводов, без процветания коих, сказал атаман сурово, немыслимы мощь и проворство Войска Донского. Выслушав это, Антонио, человек по природе своей необидчивый и умеющий применяться к любым обстоятельствам, неожиданно для себя вспылил. Не думая о последствиях, он надерзил атаману; в сердцах даже выдернул из петлицы свою инженерскую шпажку, и, разумеется, тут же был взят под стражу — но отправлен, к своему изумлению, не в тюремный подвал Воскресенского собора, где сиживал Стенька, а в Малое Мишкино, на атаманскую дачу, под домашний арест — до особых распоряжений из Петербурга.

Тут-то, на даче, Антонио и познакомился с будущей матерью Сальвадора, гувернанткой дочери атамана Платова, француженкой Эрнестиной Бессанн — бесовкой — Эрнестинкой Бессан-бесовкой — называл ее в шутку Платов, поглядывая не без волнения на ее свежие щечки в мелких, табачного цвета веснушках, рыжие кудри и гибкую спинку... Да, господа бутанцы! мать российского тамбурмажора была женщиной необычайно обворожительной и — что бы там ни писал о ней благонравный Харузин, что бы он там ни мямлил в смущении о «маленьких шалостях» Эрнестинки, прибегая на каждом шагу то к застенчивому многоточию, то к жеманному эвфемизму, — эксцентричной и сладострастной!..

. . . .

Бутанцы — удивительно деликатный народ! До чего же внимательно, с каким почтительным выражением лиц они слушают лекцию! Всякий, кто хотя бы однажды поднимался на кафедру (здесь, конечно, кафедры нет: я, как и все бутанцы, сижу на циновке и лишь иногда встаю и прохаживаюсь, заложив руки за спину, между двумя колоннами, одна голубая, другая зеленая), поймет мое восхищение этой аудиторией, ибо знает, сколь важна и желанна для лектора атмосфера благожелательности. Благожелательность же бутанцев — безгранична! Они даже не потребовали от меня — хотя и имели на то все основания, — чтобы я читал на тибетском или на местном дзонг-кхе — «языке крепостей». Признаться, это было бы для меня весьма затруднительно. Гораздо труднее, нежели втолковать старику-рамджаму, в чем состоит то существенное различие между лекцией и медитацией, которого он, кажется, так и не уловил, ибо вот он теперь сидит в укромном местечке за широкой пилястрой и беспрестанно вращает молитвенную мельницу, погруженный в свои раздумья... Зала, конечно, создана для медитации. Что и говорить! Все в ней дышит торжественным покоем. Кругом блестит, наполняя воздух дремотным свечением, старинная позолота; поднимаются из курильниц тончайшие струйки ароматного дыма; нежно потрескивает масло в бронзовых светильниках. И хотя здесь ходит свободно всяческая живность — вдруг прошагает, высоко поднимая лапы и что-то старательно высматривая по сторонам, невозмутимый фазан или пробежит, нагнувшись, догоняя мелкую ящерку, курица, величавый покой Благочинной Палаты Раздумий (так называется в переводе с тибетского эта зала) ничуть не нарушается.

Рамджам, вероятно, собрал здесь всех, кто остался в дзонге на время муссона. Даже воины гьялпо соблаговолили явиться на лекцию, хотя они и большие гордецы; многие из них хорошо образованны — иные читают в оригинале не только английских поэтов, но немецких мистиков: я видел у одного офицера томик сочинений Майстера Экхарта, изданный в Мюнхене. Однако по-русски они не знают ни единого слова. Увы, ни единого, как и все в этой славной аудитории. Впрочем, вон тот монашек, вполне сумасшедший с виду, со сморщенным светло-коричневым личиком и неким подобием бакенбардов, — пучочки жестких волосьев мышиного цвета топорщатся странным образом из-под самых мочек ушей, — знает, Бог весть откуда, одно русское слово: «барабан».

Перед самым началом лекции рамджам зачем-то подвел ко мне этого неопрятного, отвратительно кривляющегося (в силу какого-то нервного расстройства) монашка и, указав на меня кивком головы, стал ему объяснять, что я из огромной страны — рамджам сказал «с необъятного острова в Белом океане, к северу от Лхасы» — и что я-де умею говорить на диковинном языке, одни звуки которого способствуют размышлению. Тут-то монашек и выговорил старательно, удивив и меня, и рамджама:

— Ба-ра-бан!

Напрасно я пытался выяснить у него, знает ли он еще какие-нибудь слова по-русски. Монашек только улыбался в ответ да высовывал язык в знак приветствия и дружеского расположения. Единственное, что мне удалось от него добиться, так это то, что он произнес с таким же старанием слово «барабан» на тибетском:

— Шнабук! — сказал он. И тут же удалился очень довольный нашей беседой.

Однако на этом наше общение с ним не закончилось. Теперь, на лекции, он то подмигивает мне, то, как бы подбадривая меня, одобрительно кивает, возбужденно жестикулирует и вообще ведет себя так, будто он хорошо понимает «диковинный язык» «необъятного острова в Белом океане». А когда мне случилось по ходу изложения произнести слово «барабанщики» в родительном падеже (я сказал: «...с отрядом неуемных барабанщиков и ротой неутомимых гренадеров...»), монашек и совсем уж раздухарился. Он вскочил с места и, безобразно извиваясь всем своим непослушным телом, размахивая посохом, закричал по-тибетски:

— Ох апа! Ох апа! (Совершенно верно! Совершенно верно!) Барабанщиков... ох апа!

Эта выходка, обратившая на себя внимание всей аудитории, несколько озадачила меня, и я, признаться, решил больше не употреблять ни слова «барабан», ни его производных, несмотря на то, что мне просто необходимо рассказать кое-что о детстве Сальвадора, рассказать о том чудном, калмыцкой работы, с малиновым корпусом и медными ободочками военном барабане (я воспользуюсь французским словом «тамбур»), который был подарен маленькому Сальвадору — явно по промыслу Божьему! — атаманом Матвеем Платовым...

. . . .

Это случилось, дамы и господа, уже после того, как француженка Эрнестина Бессан, легко соблазнившая в то пыльное, ветреное лето 1803 года штабного инженера Антонио Романо, скучавшего восемь недель под арестом на платовской даче (а потом уж, в иные лета и весны, когда инженер колесил по свету, позабыв о присяге на верность царю и о маленьком сыне на юге России, и уланского обер-офицера, дальнего родственника атамана, гостившего в Малом Мишкино, и войскового казначея, и даже одного генерал-губернатора), скончалась во временном женском госпитале бурно строящегося Нового Черкасска, нет, не от скоротечной чахотки, как пишет Харузин, дошедший в пылу застенчивости до грубого передергивания, а от потери крови: атаманский денщик, давно домогавшийся ласк молодой мамаши — Эрнестине было тогда двадцать восемь, а Сальвадору — шесть, — рассек ей албанской саблей бедро, о котором он грезил в минуты мрачного возбуждения и которое она обнажила напоказ для его торопливого и постыдного облегчения за десять рублей в каретном сарае.

Мальчика взяла на воспитание дочь атамана Платова Анна Матвеевна (в замужестве Харитонова). «Мне было так жаль, — вспоминает она, — этого маленького, несчастного иностранчика, никогда не видевшего своего родителя и потерявшего мать по вине отцовского денщика Якима, что я готова была подать прошение об его усыновлении Государю Александру, на что получила — хоть и с большим трудом — согласие моего мужа Константина Ивановича. Однако папенька мой не позволил мне этого сделать. Во-первых, говорил он, Государь никогда не простит отца Сальвадора, подло сбежавшего к Бонапарту, а во-вторых, и я не могу допустить, чтобы сын перебежчика носил фамилию моего зятя». Платов, по свидетельству его дочери, ненавидел инженера Антонио лютой ненавистью: встретив его в 1814 году в Лондоне в свите принца-регента Уэльского, он до того был взволнован и удивлен, что не мог сдержать своих чувств — схватил его за обшлаг, на Антонио был уже не полковничий, а генеральский мундир, украшенный Большим крестом ордена Бани, и процедил сквозь зубы:

— Так ты и от Наполеона сбежал, прохвост, сучий выродок!..

— Да, ваше сиятельство, — ответил Антонио спокойно. — А вы, я

слышал, город воздвигнули и... сына моего приютили... как бишь его?.. Сальвадор?.. Очень признателен.

(Больше они никогда не виделись: Платов, которого целый месяц чествовали в Лондоне, воздавая ему за геройство в войне с Бонапартом, отплыл под салюты и фейерверки из Дувра на русском фрегате, а Антонио спустя два года, выйдя из того же порта на английской шхуне с секретным поручением принца-регента, утонул в Бискайском заливе.)

Однако к сыну перебежчика атаман относился со сдержанной, но все же заметной для всех теплотою — то ли потому, что он чувствовал вину перед ним за гибель его матери, — недосмотрел за развратным Якимом, вовремя не высек сластолюбивого денщика, — то ли потому, что ему пришелся по сердцу гордый, вспыльчивый нрав маленького Сальвадора: както раз, когда атаман сгоряча хлестнул его плетью за какую-то шалость, Сальвадор побледнел, затрясся от боли, но не обронил ни единого звука, едва сдержав слезы, а на следующий день поджег атаманскую конюшню.

Вскоре после этого случая, который Анна Матвеевна описывает в своих мемуарах довольно подробно и живо, Сальвадор заболел воспалением легких. Оно было вызвано не столько простудой, сколько нервным потрясением во время пожара: запалив конюшню, Сальвадор сам остался в ней, и, вероятно, сгорел бы заживо, если бы его не вынес из огня расторопный платовский кучер, ставший впоследствии управляющим южнорусским имением Сальвадора. «Болезнь была жесточайшей, — вспоминает Анна Матвеевна. — Сальвадор ничего не ел, никого не узнавал в бреду, и надежд на его выздоровление было мало, хотя папенька и посылал беспрестанно за лучшими докторами то в Новый, то в Старый Черкасск, то в Ростов...» Анна Матвеевна не сообщает, а потому и я не могу вам сказать, дамы и господа, как и почему доблестному атаману Матвею Платову пришло в голову подарить семилетнему Сальвадору Романо, умиравшему от воспаления легких на постели своей ветреной матери в жарко натопленной гувернантской комнатке с единственным круглым окошком, смотревшим на аксайское займище, военный тамбур, да притом еще подарить в тот день, когда доктор Альберт Тизенгаузен, приехавший из Новочеркасска с целой свитой озабоченных ассистентов, объявил, осмотрев Сальвадора, что мальчик отдаст Богу душу не сегодня-завтра, но я берусь утверждать, и утверждать наверняка, что этот нехитрый подарок не только спас Сальвадору жизнь, но и определил всю его дальнейшую судьбу. Вот что говорил на этот счет сам Сальвадор, уже будучи старцем, корреспонденту мадрасской браминской газеты «New Reformer», посетившему его в Малом Мишкино за несколько недель до его кончины (интервью это, между прочим, свидетельствует, что Сальвадор находился в совершенно здравом уме и ясной памяти, хотя и лежал привязанный к койке ремнями — по его же собственной настоятельной просьбе — в отдельной палате маломишкинского сумасшедшего дома):

«САЛЬВАДОР. Все формы в мире, видите ли, случайны, непрочны и в общем-то смехотворны, их балаганное разнообразие просто нелепо, если узрить Единое...

КОРРЕСПОНДЕНТ. О да, несомненно!

САЛЬВАДОР. Но я привязался к *этим* формам... Степь хороша! И донские разливы, сударь, чудесны!.. Я не хочу изменений, движений, утрат, обновлений. Это болезненные процессы бытия — блажен, кто их избегает усердно, и поэтому я...

КОРРЕСПОНДЕНТ. Простите великодушно, дорогой Сальвадор, вы, кажется, хотели рассказать о тамбуре?

САЛЬВАДОР. Да-да, тамбур!.. Тамбур — это тоже случайная форма, обретенная звуком. Единое породило звуки. Из звуков возникли, нет, не возникли, а вспыхнули, расцвели, точно салюты в ночных небесах, литавры, валторны, тамбуры, тамбурмажорские жезлы и флейты!.. Надеюсь, вы меня понимаете? А тот незабвенный тамбур... Я помню, мне показалось сначала, что он возник сам собою в сумрачном воздухе, где-то у печки. Однако потом я заметил фигуру атамана. Он был в распахнутом кителе, нижняя рубашка на нем мерцала бело-лунным светом. Он стоял неподвижно и держал на ладони тамбур, и эдак, знаете ли, грозно улыбался, как он улыбался всегда: одними глазами и левой бровью, вот так. Потом он приблизился ко мне на цыпочках; осторожно, будто картонку с дамской шляпкой или тортом, поставил тамбур на тумбу у моего изголовья и так же, на цыпочках, удалился, поскрипывая сапогами... А спустя некоторое время я услышал голос: «Смотри, Сальвадор! Вот предмет, порожденный самыми гордыми, самыми бодрыми звуками во Вселенной! Это подарок тебе. Мой подарок!» Я приподнял голову — в комнате не было ни души. Тамбур стоял среди склянок с лекарствами — я протянул к нему руку, и он вдруг качнулся, поплыл на меня, и, прежде чем он заполнил собою всю комнату, я кое-что успел разглядеть в его начищенных медных ободочках...

КОРРЕСПОНДЕНТ. Вы хотите сказать, драгоценный Сальвадор, что вам открылось тогда ваше предназначение?

САЛЬВАДОР. Нет, тамбурмажорский жезл не явился мне тогда в моем минутном видении. Я увидел чудесным образом только то, чем он потом одарял меня, меня, безродного иностранца, сударь! Я увидел ордена Святой Анны всех степеней, золотые империалы, эполеты лейб-музыканта Его Величества... Я выздоровел очень скоро, потому что мне захотелось шагать, шагать! и ударять в тамбур упругими палочками — тум-туру-рум!»

Это интервью, перепечатанное после смерти Сальвадора многими русскими и некоторыми европейскими газетами, было последним в его жизни и, пожалуй, самым задушевным... Впрочем, дамы и господа, достопочтенные бутанцы, я обязан сказать вам, что и это предсмертное интервью, «проникнутое», как заметил мечтательный «Крымский курьер» госпожи Лупандиной, «светлой грустью воспоминаний и предчувствием близкой кончины», не обошлось без выспренних инвектив, — я имею в виду то желчное, грозно-витиеватое, напитанное безумной злобой и, конечно, не соотносящееся ни с одним из вопросов мадрасского корреспондента, благоразумно уклонявшегося от болезненной для Сальвадора темы, высказывание о Миклухо-Маклае (совершенно фантастическом злодее, в представлении Сальвадора, встречавшегося с ним, оказывается, в 1886 году в Одессе).

. . . .

Монашек, кажется, успокоился. Он даже как будто бы задремал. Однако сухонькая и тусклая рука его, уже просвечивающая от немощи, точно горящая свеча или тонкий фарфор, бодрствует — не забывает перебирать четки. Отполированные костяшки — каждая в свой черед — проходят через подвижные пальцы, и каждая как бы рождается на мгновение для безотчетного осязания, — рождается и снова умирает — уходит в область неосязаемости, но не выходит из круга... снова рождается... «Я прошел через сансару многих рождений и скажу тебе, о Ананда, рождение вновь и вновь — горестно!», потому что рожденных ждет смерть, а умерших — рождение. И так бесконечно и безначально и без исхода из круга...

Об этом ли думает теперь монашек, перебирая четки? Ему положено думать об этом. Даже во сне. Но я подозреваю, что он все же не спит. И я подозреваю также, что он знает по-русски не только слово «барабан»... Ба-ра-бан... Барабанщиков... Ох, апа... О, комедиант! Он слушает, он внимательно слушает — понимает все до единого слова!.. и ждет, затаившись, веселой и разухабистой минуты скандала. И если он оттягивает ее, лукавый прозорливец, то вовсе не из жалости ко мне, а для собственного удовольствия... Наблюдает за мной, как бывалый крупье за неопытным шулером... Наблюдает с торжествующим и злорадным наслаждением, ибо давно уже догадался — не мог не догадаться, — что я боюсь позорного разоблачения. Боюсь, что вот сейчас, сию минуту он встряхнет костяными четками, поднимется и решительно воскликнет — и не по-русски, нет, не по-русски! а на тибетском или дзонг-кхе, чтоб понимали все:

— Вы лжете, господин лектор! Вы бессовестно и изворотливо лжете!! Ни о каком Миклухо-Маклае не было речи и в помине в этом, как вы выразились, «предсмертном интервью»!.. Но было в нем сказано то, чего вы, ничтожный ученый червь, не решились сказать даже в бытность свою Гаутамой излюбленному ученику — Ананде!..

И тут он, быть может, извлечет из-под тоги номер мадрасской браминской газеты «New Reformer» от 25 августа 1901 года и, кое-как нацепив на нос непослушной рукою очки с отломанными оглобельками, процитирует те безумные высказывания Сальвадора, напечатать которые не сочли для себя возможным ни «Русские ведомости», ни «Крымский курьер» Лупандиной, ни даже «Московский листок» Пастухова:

«САЛЬВАДОР. Вы спрашиваете о Едином, сударь... Я вам скажу:

Единое вовсе не безгранично, как учат у вас там, в Индии. Его едва хватило на весь этот пестрый балаган воплощений. И поэтому, сударь, все зримые формы исчислимы и ограничены... Да-да! Мир так устроен, что в силу самого факта его существования при ограниченности Единого и полной завершенности Истории Воплощения мы уже были и будем бесчисленное количество раз всем и вся, что однажды породило Единое в случайном порыве — барабанами, Цезарем, флейтами, звездами. И не думайте, сударь, что форм, порожденных Единым, так уж и много! Увы, это извечная и обольстительная иллюзия. Даже если бы в этом мире существовало время, нам бы его хватило, чтоб пройти миллиарды раз Полный Круг Воплощений. Но времени нет места в замкнутом круге. Часовые механизмы Единое породило лишь в угоду нашей трогательной фантазии. Движение же частиц Единого сквозь зримые формы не измеряется ни минутами, ни столетиями, оно происходит, и это все, что можно о нем сказать. И я бы сказал еще вот что: движение это таково, что мне уже примелькались иные формы, и таково, что я уже успел присмотреться к иным воплощениям. Я не раз был вами, как, впрочем, и вы — мною, и осмелюсь доложить вам, что вы мне совершенно не нравитесь. Но пусть вас это не оскорбляет: если бы это было возможно, я хотел бы избежать не только вашей безалаберной, суетной и в общем-то неприметной жизни, но и жизни Христа, апостола Иоанна, Будды, Ананды и той благочестивой жизни, которая ждет меня теперь — жизни больного монашка, одержимого «пляской святого Витта», в королевстве Бутан, и следующей, увы, несчастной жизни — одного безумного валторниста, вообразившего себя — ну кем бы вы думали! — ПРОФЕССОРОМ ИСТОРИИ ТАМБУРМАЖОРСКОГО ИСКУССТВА... да-да, я не шучу, вы даже можете его увидеть, если хотите, прямо сейчас: он здесь, в сумасшедшем доме, на втором этаже — читает уже лет пять подряд со все возрастающим возбуждением нескончаемую и фантастическую лекцию обо мне... Словом, сударь, я должен признаться, что мне опостылели эти бесконечные путешествия — из формы в форму, из жизни в жизнь. И если уж мы не можем выйти из круга смертей и рождений, то я хотел бы по крайней мере являться в этот мир кем-нибудь одним...

КОРРЕСПОНДЕНТ. Но кем?

САЛЬВАДОР. Я понимаю ваше любопытство. Но не скажу вам ничего нового, ничего сверх того, что говорил вам всегда при этом стечении обстоятельств и в этой точке мироздания: я привязался к настоящему воплощению, и всякий раз, когда я рождаюсь российским тамбурмажором Сальвадором Антоновичем Романо, я думаю, что всегда хотел бы рождаться именно Сальвадором Антоновичем Романо, ну или, быть может, Барабанщиковым... Барабанщиков! Такую фамилию придумал мне граф Платов в одной из своих бесчисленных жизней после того чудесного исцеления, о котором я, кажется, уже вам рассказывал... Да... так вот, сударь, мне всегда грустно расставаться с Сальвадором Антоновичем, и я хотел бы оставаться им навеки. Но дело в том, что мне так же грустно бывает расставаться и с вашей никчемной жизнью, и будучи вами, я часто думаю, что хотел бы всегда рождаться мадрасским журналистом. И даже к жизни безумного валторниста я иногда привязываюсь и с удовольствием читаю его идиотскую лекцию, искренне сокрушаясь, что ее не почтил присутствием бутанский король...»

А потом монашек скажет все то, что известно ему и всякому, уже побывавшему в свой черед великим тамбурмажором.

— Никогда, — скажет он, — Сальвадор Антонович не поносил земных путешественников и не испытывал ненависти к земным путешествиям! И вы, господин лектор, хорошо знаете об этом, потому что сами были множество раз великим тамбурмажором. А теперь, когда вам, затерянной частичке Единого, удалось обрести покой, когда исполнилась ваша мечта, то есть мечта Сальвадора! и вы овладели счастливой способностью рождаться всегда только одним человеком — ПРОФЕССОРОМ ИСТОРИИ ТАМБУРМАЖОРСКОГО ИСКУССТВА, вы готовы оклеветать Сальвадора, вы готовы свести всю драму его жизни к пошлейшему психологическому этюду, для чего и выдумали бессовестно, что он будто бы ненавидел всякого рода путешествия и всякого рода путешественников и что якобы батюшка его, почтенный инженер и домосед, благородно погибший при строительстве дамбы в Черкасске, был путешественником и шпионом!.. А потом вы нам скажете с ученой многозначительностью, — я знаю наперед, что вы скажете: «Дамы и господа! Достопочтенные бутанцы! К сожалению, я не могу ответить сколь-нибудь однозначно на главный вопрос нашей лекции — почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия? Однако считаю, что из всех предположений на этот счет наиболее обоснованным и правдоподобным остается предположение, что эта ненависть была вызвана враждебным отношением к отцу, который в угоду своей неуемной страсти к перемене мест ступил на путь вероломства...» О, как просто у вас все сходится и объясняется, господин ничтожнейший лектор!! — воскликнет монашек...

Но он молчит, выжидает, перебирает четки. И, быть может, дает мне возможность исправить мое положение — повернуть лекцию иначе. И я поверну. Непременно поверну, дамы и господа! У меня есть еще время. Муссонные дожди в Бутане только начались!..

Николай БАВРИН

Солнце для Небыкова

Еще не морозит, но уже предупреждает с ночи паутинным налетом быстро сохнущего инея: готовьтесь. По склонам сопок, набрав последнюю силу, осыпается брусника, в низинах стареют осиновые грибы. Недавно на соседнем болоте перестали волноваться журавли — улетели.

Небыков согнулся взять воды из озера и задержался так, удивляясь, куда пропали бойкие гольяны. Все лето бестолковые стайки рыбешки молча катали под мостками придонный сор, а нынче ушли в потайную глубину, и близкая, прозрачная толщина воды сделалась пуста, в ней отразилось такое же пустынное небо.

Стоять над водой неуютно. Небыкову видятся на дне живые черные пятна. Он хмурится, черпает ведром с поверхности озера, разгибается. Вода в ведре мертво шлепает о стенки.

В сухих камышах захлюпало. Оттуда плывет взрослый утиный выводок — тревожится. За кряквами из камыша на берег выходит инженер Кислый, говорит:

— Смотрите.

В руках у него жерлица, с нее свисает громоздкая щука.

Рыба ухватила приманку недавно, в ней остались силы, она колотится, гремя упругими мышцами.

— Прибей, — отвечает Небыков.

Ему жаль порушенного одиночества и еще чего-то постороннего.

Щука срывается в песок, скачет, уходит к воде. Инженер замешкался, не зная, что с этим делать. Небыков медленно прыгает с мостков и наступает сапогом ей на голову. Кислый вглядывается в него — не думает ли он что-нибудь обидное, но ничего не находит.

Мертвая рыба повешена на зябкое деревце у котлопункта. Таежное утро тянется и тянется. Завтрак. Во время еды Кислый ощущает на своих руках хищный запах озерного дна, от которого сжимается горло. Инженер принюхивается и ест, ест.

Редкое тепло больного солнца достигло нижней границы подлеска. Ошеломленные инеем травы вспыхивают и гаснут. На дым засыхающего костра прилетел пестрый дятел и принялся с треском кружить по соснам. Рабочий Юкин — молодой, но уже морщеный человек, страдающий болями в спине — грозится:

— Что тебе надо, уходи отсюда.

Небыков о чем-то вспоминает:

— Это душа.

Юкин подозрительно косит глазами, выбирает из-под ноги палку, машет на птицу. Словно догадавшись, дятел плетется ныряющим полетом в ближние окрестности, откуда покрикивает

Дед Евтеев уводит поить лошадь Куклу. Небыков берется полоскать в котле с горячей водой миски.

— Посуда моется мылом,— произносит задевающим голосом техник Живина.

Небыков молчит, Юкин выпучивается и делает квакающий звук. Техник раздраженно оборачивается к Кислому, но тот уже отошел от стола и пробует пальцем размякшее щукино тело — ему интересно.

Из корявой избушки выбирается начальник полевого отряда Лазутин — жилковатое лицо тронуто сном, возле глаз теплится занятная мысль.

— Ну, погода настала,— говорит он и быстро уходит к озеру умываться.

Через пять минут возвращается и ненароком замечает для Небыкова:

— Что делается! Кряквы косяками бродят — как бы не улетели.

— Улетят — и хорошо,— отзывается Небыков.

Лазутин издает внутри шеи слабый клекот. Только что ему приснился шум выстрела и почудился протяжный толчок ружейного приклада в плечо, поэтому ответ рабочего ему не нравится.

— Как ты сказал?

— Никак: пусть летят.

Лазутин делает вид, что озадачен.

— Я думал, ты охотник, а ты так себе. Значит, одолжи мне ружье.

Небыков смотрит в сторону, помалкивает.

— Что молчишь? Ружье, говорю, одолжи.

— Да нет, ни к чему. Постреляешь, а без лодки не возьмешь. Или собака была бы.

— На мелководье словлю,— не сомневается начальник отряда.

Небыков отказывает. Лазутин видит, как шевелится жирная вода в котле, и вспоминает: этот рабочий всегда донимал его своим подозрительным существованием.

— Ружья пожалел,— бросает он Живиной.

— Посуда у него пахнет,— замечает техник.

— Он такой,— шепчет Кислый, прислушиваясь к дохлой рыбе: что-то в ней шуршит.

Начальник отряда садится за стол. Небыков ловит в котле миску, добирает из кастрюли кашу и ставит миску перед Лазутиным.

— Еще.

— Больше нет.

Лазутин в течение короткого времени объедает Небыкова глазами и с тяжестью спрашивает:

— Интересно мне: куда делась моя порция, если я не питался?

Юкина от этих слов потрясает злорадный восторг, он изо всех сил оглядывается на инженера.

— Кастрюля была неполной,— оправдывается Кислый.

Все замолкают, слышно, как уныло саднит под навесом последняя комариная маета. Утро еще тянется, еще поблескивает холодом лесная земля. В тишине Лазутин съедает кашу и пьет из кружки чай — горький.

— Когда же приедет машина? — произносит наконец Живина.

Никто не отзывается; они давно устали видеть друг друга и только ждут времени, когда будет можно стронуться с места, вывозя из тайги имущество и накопленный за экспедицию материал.

Кислый вдруг перестает интересоваться рыбой:

— По плану, для подведения итогов полевого сезона надо провести общее собрание.

Живина несладко зевает, вслед за ней Лазутин жмет плечами — слова инженера его почему-то совсем расстроили. Он приказывает Юкину:

— Эй, малый, сделай пальму.

Юкин морщится — улыбается, поднимает топор, выбирает молодую елку, рубит ей вершину и три четверти ветвей, начиная с низа. «Тык. Тык. Тык.» Делать пальмы он начал от скуки.

Все смотрят, как сухо опадают еловые ветки.

Небыков странно слышит свое сердце: «Тык. Тык. Тык.»

Живиной становится больно в голове, она требует:

— Прекрати стучать, сопля.

— Бородавка,— отвечает Юкин.

Пальма выросла и замерла. О собрании забыли.

Сидели тихо, глядя, как Евтеев провожает с водопоя лошадь. Старик обернулся на ходу ореховым лицом, словно хотел запомнить интересную картину, но кобыла тянется дальше, и оба они — старик и лошадь — пропадают в своем скромном времяпрепровождении. Небыков тоскует — сильно, глубоко. Он не знает, отчего эта тоска: от пальмы, от лошади или она появилась сама по себе вместе с таежным воздухом.

Где-то, со стороны озера, жирно крякает, доносятся хлопки крыльев по воде и одномерный свист. Все поворачиваются туда. Лазутин не выдерживает и спрашивает угрюмо:

— Ну зачем тебе ружье? Может быть, ты и стрелять не умеешь. Дай мне.

Небыков не соглашается — молча, упорно.

— Стоерос нетесаный, я же тебя премии лишу.

Кислому нравится такой разговор, он кивает:

— Это будет совершенно правильно.

Небыков оглядывает неласковые лица возле себя. Ему обидно, хотя он и раньше догадывался о том, что эти люди для него чужие. Оставив котел с посудой, он уходит в избу. Лазутин, понимая, что победил, веселеет:

— Сейчас принесет, или сам заберу, надоело упрашивать.

Внутри изба темна и безуютна. Подняв на руки ружье, Небыков невпопад задумался о тех, кто проживал здесь до него. Это были суровые отшельники. Поставив на берегу приполярного озера рубленый скит, они рассчитывали выжить, но случайно перевелись. Теперь каждую весну в каменном очаге собирается новая вода, сложенные в стены бревна дряхлеют, из них прорастает тайга, и никто не сечет ее железом. У Небыкова не хватает воображения представить тех людей, какими они могли быть, поэтому он заменяет их бледной фигурой, похожей на него самого и отчасти на Евтеева. Фигура движется и пропадает в дверях.

Выйдя на живой свет, Небыков коротко слушает ближнюю тайгу, откуда доносятся тишина и внимание. Начальник отряда и Кислый стоят рука об руку, словно собрались куда-то, но вот задержались. Не давая им сказать лишнее, Небыков вяло наставляет двуствольную машину на Лазутина. Тот не сдерживается и все-таки произносит:

— Гляди, что придумал.

И опять, громче:

— Гляди, что дурак придумал.

Слабое местное эхо звенит:

— ...умал...

Первым движением Лазутин хочет продвинуться вперед, чтобы отвести от себя глупые ружейные стволы, но со стороны шипит Юкин:

— Все пропало, начальник. Не подходи к нему.

Задумываясь, Лазутин остается рядом с удивляющимся Кислым, но ему обидно находиться в таком положении, поэтому он недружелюбно кричит:

— Бросай оружие!

— ...ужие...

— Скучно от тебя,— отвечает Небыков.

Ему хотелось бы сказать более важное и сокровенное, но таких слов у него нет, хотя он понимает, что скучно здесь не столько ему, сколько кому-то другому, стоящему сейчас в лесу.

— Бросай,— повторяет Лазутин.

Он перестает сомневаться и шагает к ружью. Небыков трогает курок.

Вместе с выстрелом начальник полевого отряда клонится назад и вбок, упираясь в Кислого. Инженер толкает его от себя, Лазутин смотрит на вершины сосен и падает в направлении стрелка.

— Мне ничего не надо,— говорит Кислый, собираясь уйти.

Второй выстрел тих, почти ласков. Инженер опускается на мертвую хвою, недолго сидит и, влекомый редеющим сознанием в правильное положение, укладывается возле Лазутина.

Юкин убежал, осталась Живина. Она кричит — грустно, одним голосом. Небыков ищет ее опустевшим ружьем. Живина понимает это и гнется книзу до тех пор, пока вся не достигает земли. Тогда, не затишая крика и безоговорочно ожидая горячего выстрела, она ползет по разрушающейся

траве за дерево. Небыков наблюдает спелые ягодицы, заряжает наново ружье, но тут ему — или тому, другому, — делается неинтересно, и он не стреляет. Загребая коленями бурый прах, годами оседающий на землю, Живина долго продвигается по тайге, стараясь превратиться в очень маленькую женщину.

Первый дневной ветер шевелится в верхнем пространстве, летят с воздуха свернутые листья. Щукино тело, соединенное с гибкой веткой, совершает беззвучные покачивания. Под деревьями лежат два посторонних предмета: один — долгий, раскинутый, другой на боку. «Вот, — думает Небыков, — котел опрокинули, а воды нет». Он подвешивает ружье на сук, собирает миски в стопу и ставит на стол.

Пришел и ушел Евтеев; опять пришел — с лошадью и телегой. Лошадь радостно гнет худую шею: предметы ей кажутся мешками с тяжестью значит, после работы дадут хлеб.

— Помогай, что ли, — говорит старик.

Они грузят в телегу сначала Кислого, потом Лазутина. Начальник полевого отряда приникает губами к щеке инженера. Небыков тянет его за твердые, перетруженные икры ног, но тот не поддается. Евтеев просит:

— Не мешайся, зачем тебе? Пусть лежат, нак охота пришла.

К бурым пятнам на земле налипла лесная труха: иглы, мелкие куски почвы.

— Куда ты едешь? — спрашивает Небыков.

— Куда же?.. К дому ближе.

— А мне чего?

Старик думает, потом отвечает осторожно ласкающим голосом:

— Тебе нельзя. Беги за границу. Пойдешь отсюда по солнцу, до вечера будешь там.

Небыков отчего-то не доверяет:

— Так думаешь?

— Беги, не спрашивай.

Евтеев стучит вожжами, кобыла тянет телегу: теперь она недовольна — фырчит, пугается. Старик берет ее за морду и ведет мимо широких сосен на проезжую колею.

Небыков думает о том, что было бы хорошо взять за границу Живину, но не находит ее взглядом.

С ружьем в руках он бредет по пустому, набитому шорохами лесу. Где-то впереди, в последнем зените висит обмороженное солнце. Небыков тянется к нему лицом, но не верит в него. Час назад он взобрался на круглую сопку и решил, что никуда не пойдет: будет всегда сидеть на этих камнях под этим небом и думать о легкости этого воздуха. Плешивый верх сопки был алым от густого брусничника. Чтобы отбить во рту какой-то соленый вкус, Небыков хотел набрать ягод и не смог: оказалось, что спекшийся цвет брусники его сильно беспокоит. Он убрал руки в карманы, нашел там твердые патроны и стал уходить дальше, говоря вслух:

— Тут нехорошо; видно, что наши.

Из века в век проложена лесная дорога. Брошенная, не зарастает долго. Кричат тележные колеса. Кобыла привыкла к своему грузу, ровно топчет песчаное ложе пути. Евтеев редко бьет ее вожжой по спине:

— Ходи.

Ему нестрашно и неудивительно, он весь из этого леса, из этой жизни, от которой в нем не осталось никаких воспоминаний, кроме памяти о перемене времен года. Дорога, по которой он движется, лежала здесь до него и будет лежать после того, как его не станет. Евтеев понимает это, но не выражает мыслями. Его мысли о другом: кобыла остановилась и мочится в колею — значит, полдень проехали, пора готовить на зиму топку, покойники тихие, словно люди во сне, и он таким же будет или не будет...

Пустая дорога сливается с накатанным трактом. Лошадь начинает торопиться самостоятельно. Евтеев перестает думать и только смотрит вперед, ожидая, когда там появятся огороженные колючкой домики заставы.

На лавке возле ворот сидит сам капитан Стужа. Он строг, дорога перед ним далека, тайга необъятна. Часовой на вышке неподвижно спит, глаза — открыты.

Евтеев задерживает лошадь и ждет. Стужа устало говорит:

— Ты опять ездишь без пропуска. Сказано: не ездить, а ты ездишь.

— По важному, командир. Гляди сюда.

Капитан смотрит в телегу: там обнимаются незнакомые мужчины. Он тычет в одного пальцем, ощущает глубокий подкожный холод и понимает:

— Мертвые.

— Чипе у нас, человек за границу пошел, а дорогу у меня спрашивал. Если не раздумает, близко тут появится.

— Не раздумает.

Капитан приказывает Евтееву отъезжать куда-нибудь в укрытие, а сам отправляется доложиться по команде. Проходя вышку, зовет:

— Часовой! Мамаев! Завтра ответишь мне устав караульной службы.

Солдат просыпается, в его глазах разум. Сверху он видит командира заставы, лошадь, телегу, что-то в телеге, видит пришлого старика, потом оборачивается на холодное, неродное солнце и опять засыпает — стоя, молча.

Под солнцем летал вертолет — сложный механизм. Но: солнечный свет глубоко осел, сделался мохнатым, почти слепым, и сквозь него стал валить снег. Вертолет еще приближается и тихнет за пределом видимости.

Возвращается прочная скука. Снежный разряд сметает тайгу в сон, будто уже зима. Небыков поднимается из-под куста, слушает, как ложится на его место снег, слушает нависающее небо и шагает дальше. Он тяготится собой, своей заметностью в этом внезапно чистом мире, своей обидой, своими руками. Он устал и движется только за солнцем, хотя и солнца не видит — иногда скользкое пятно в деревьях. Его уже не покоит бесконечность воздуха, но есть желание оказаться в темном месте с углами, в котором все было бы прошлым.

Через много времени ему кричат:

— Стой! Руки вверх!

Это неожиданно, это больно. Развернувшись, он торопится в сухой, опадающий снег. На ходу оглядывается и видит позади себя цепочку зеленых бушлатов: они жмутся к онемевшим соснам и целятся в него из оружия. Он бежит с рыхлыми следами, бежит в яму — заросшую низину, где полно скрипящих листьев, бежит из ямы наверх и не успевает: бушлатов вокруг прячется много.

За спиной открывается новое солнце, тайга от него горит кристаллическим светом. Небыков отступает обратно в низину, в гул и шорох.

Сверху приказывают:

— Сдавайся.

Голос без ласки, с одной угрозой истребления и тайной усталостью.

— Обожди, — тихо просит Небыков.

Он подбирает случайную — или не случайную — палку, заводит курки, ставит ружье прикладом в землю и ложится на него грудью с другой, ненадежной стороны. Ломаются сучья, в яму кто-то лезет, но Небыкову жаль оторваться от своего занятия: увлекаемый интересной тоской, он толкает курки палкой. Выстр...

г. Санкт-Петербург

Виктор УЛИН

Триста лет

I

Попугай был очень старый.

А может, и не был. Сам он своего возраста не ощущал и нимало им не интересовался. Но люди уважительно разглядывали его белые перья и красный хохолок, криво сомкнутый клюв и литые когти. Они говорили, что попугаи живут страшно долго — целых триста лет! — и этому, верно, около того.

Попугай слушал вполуха. «Триста лет» для него было пустым звуком: он не представлял, что значит хотя бы один год; не различал даже суток. Новый день начинался для него всякий раз, когда в гостиной вспыхивал золотосветный хрусталь. И ночь приходила внезапно, едва сверху падала черная бархатная тряпица. Попугай не ведал своего возраста, но чувствовал, что знает немало таких вещей, о которых никто и не догадывался.

На исходе дня гасли люстры, потускневшие в хмуром утреннем свете, нехотя текущем из расшторенных окон; попугай тихо дремал на жердочке, и в его отуманенной голове скользили странные и зыбкие картины. То ли ранний сон, то ли обрывки людской болтовни. Или, может, то была генетически глубокая, доставшаяся от дальних предков память — общая для всего попугайного племени...

Так или иначе, но когда свинцовый полусвет затоплял опустелую гостиную, когда тусклая горничная принималась шуршать по углам, собирала на совок раскиданные обрывки салфеток, складывала стопкой белевшие на столах блюдца и, выудив размокшие окурки, допивала прозрачную жидкость из захватанных бокалов — в эти некрасивые минуты пробуждения от угарной ночи попугаем владели смутные и сладкие грезы.

Он видел кипящее в воде солнце. Чувствовал, как качается окружавший его мир. Слышал смолистый скрип старой древесины, посвист ветра в рваных парусах, плеск золотой волны под высоким бортом... И забористую речь жутковатых загорелых людей в лохмотьях поверх сине-белых нательных рубах.

И откуда-то всплывали слова, вроде бы слышанные не однажды в дальней-предальней юности или в детстве — или, быть может, проникшие еще сквозь тонкую скорлупу яйца. Они были яркие и красивые: «пиастры», «ром», «каррамба»... И еще, кажется, «вздернуть на рею».

Было то или не было? Вспоминал он или просто фантазировал, наслушавшись небылиц? Попугай не задавался такими вопросами: это не входило в круг его жизненных интересов, строго очерченный условиями службы у людей.

Служба заключалась в том, чтобы висеть с важным видом на жердочке вниз головой, по-змеиному вывернув шею, и, уставясь то одним, то другим глазом, выдавать налево-направо раскатистые французские ругательства.

Попугай был мудр. В глубине души он прекрасно сознавал, что занят сущей чепухой; но чепуха эта приводила в восторг его слушателей. Чернобородых мужчин, менявшихся каждый вечер. И шумных дам, разодетых в прах, сверкающих фальшивыми драгоценностями. От них разило цветочными духами и дешевой пудрой, и это раздражало тонкое обоняние попугая даже среди плотных запахов гостиной: душистого дыма и хмельного аромата той жидкости, что пузырилась в бокалах, которыми по утрам пробавлялась горничная, — и он ругался от души. Мужчины сдержанно посмеивались, пуская сизые кольца, а женщины визжали и просовывали в клетку янтарные ломтики ананаса.

Попугай же любил ананасы пуще белого света и ради них был готов на все. И лишь в очень-очень удачные вечера ему удавалось блеснуть настоящей службой.

Гостиную изредка навещали люди в синей форме с белыми полосками на плечах. Едва заметив их среди привычной пестроты, попугай переворачивался в боевую стойку, хлопал крыльями и, встопорщив на маленькой головке жесткий хохолок, пронзительно орал:

— Девки, тикайте — полиция!

Эта фраза тянулась из глубокого прошлого, когда он жил в каком-то мрачном заведении, где приход фигур в синей форме действительно не сулил добра. Нынче все было по-иному; хорошо надушенная и украшенная натуральными бриллиантами хозяйка сама выплывала навстречу гостям, держа на блестящем подносе рюмки с прозрачной жидкостью; никто не суетился и не бежал прятаться — но попугай все равно кричал громко и самозабвенно, и все кругом смеялись, включая людей с погонами, и ему перепадала добавочная порция заветных ананасов.

Золоченая попугаева клетка стояла на бордовой бархатной скатерти, тяжелыми складками падавшей с громадного стола о восьми резных ногах. Стол этот, важный, как генерал, стоял посреди гостиной, а вокруг него толпился целый полк маленьких диванчиков-раковин и крошечных столиков низкого чина — тех самых, где сидели в золотом свете бородатые кавалеры и неприятно пахнущие дамы, а утром хозяйничала горничная. Стены были сплошь зашторены тем же бархатом, и новый человек не сразу бы разобрался, где тут окна, а где двери. Одна из дверей, спрятанная пыльными портьерами, вела в хитрую сеть коридоров и коридорчиков, лестниц, лесенок и лестничек и крошечных, как соты, номеров. Вторая, не столь тайная, выходила на устланную красным ковром мраморную лестницу, которая двумя пологими коленами спускалась к тяжелой, с бронзовыми ручками в виде драконов, парадной двери. За дверью шумел и искрился один из проспектов города с чарующим именем «Петербург».

Там день-деньской стучали шаги, гремели колеса и цокали подковы по брусчатке. И ни один из проходивших или проезжавших не оставлял дом без внимания. Гимназистки с муфточками, в зеленых юбках и хрупких черных ботиках стыдливо краснели, торопясь проскользнуть мимо высокого крыльца. Молодые люди в модных шляпах понимающе перемигивались, косясь на непроницаемо важное парадное. А солидные отцы семейств, проплывающие на рессорах в тесной мякоти собственного экипажа, заполненного анемичной женой, парой откормленных чад, сонным мопсом и гувернанткой-француженкой... — эти отводили глаза в сторону, делая вид, будто знать не знают ни этого дома, ни всего происходящего за укромной дверью бордовой гостиной.

Когда это было? В начале нынешнего века? в прошлом? или даже в позапрошлом?.. Попугай не знал, не имея понятия о ходе времени. Да и возможно ли знать об этом вообще? Это могло быть и в нынешнем, и в прошлом, и в позапрошлом веке. Ведь попугаи — не зря же говорят сведущие люди! — живут триста лет.

II

Сколько воды утекло? Сколько лет? десятилетий? Попугай не умел сосчитать. Только жизнь его, вроде бы такая устоявшаяся и готовая — как казалось — длиться еще добрых триста лет, вдруг ни с того ни с сего начала меняться.

Еще по-прежнему вспыхивали по вечерам золотые люстры, по-прежнему собирались вокруг стола-генерала пестро разряженные женщины — но нечто тревожное повисло в самом воздухе; да и чернобородых мужчин стало бывать все меньше и меньше. И шампанское, ждущее наготове в пузырчатых темных бутылках, частенько оставалось нераспечатанным, и горничной нечего было допивать по утрам. Впрочем, и сама горничная незаметно исчезла. Попугай по-прежнему ночи напролет качался вверх тормашками, старательно сыпя руганью, но ананасов ему больше не давали.

Потом вдруг настало время, когда люди отчего-то перестали зажигать люстры и сидели при свечах. Гостиную окутывал нервный желтый сумрак; и женские лица казались мертвыми, точно смотрели на попугая уже с того света.

Про бархатную накидку не вспоминали; целыми сутками теперь попугай плыл в мутном полусне и тихо бредил своими реями и пиастрами. И лишь изредка вздрагивал и просыпался, когда с улицы доносились неприятные звуки. Они резко хлопали, отдаваясь длинным эхом под сводами невидимых подворотен, а иногда сливались чередой, точно где-то поблизости драли на полосы сухую парусину. Попугай втягивал голову в перья, и ему казалось, что это трещит, разрываемый в лохмотья, весь прежний, привычный, полный света и ананасов старый мир.

А однажды, в один прекрасный день — или ночь, или утро, или вечер? — попугай вдруг ощутил холод, который тек из растворенных окон. Он встряхнулся, затанцевал на жердочке, попеременно поджимая озябшие лапы, затем почесал собранные на затылке перышки и внезапно осознал, что уже много... — он не подумал «дней» или «ночей», не зная, что это такое, — много времени к нему никто не подходит, не меняет воду и не чистит клетку. Попугай закричал, требуя внимания, но никто не отозвался из опустевших коридоров, и лишь уличный ветер с шуршанием тащил вдоль стен какую-то грязную кружевную рвань. И тогда он понял, что коварно

предан людьми, что хозяйка веселого дома и все его обитательницы тихо сбежали, бросив его на произвол судьбы.

В отчаянии попугай не сразу расслышал, как внизу послышался властный стук, потом раздался грохот, зазвенели сыплющиеся стекла, по лестнице тяжко забухали чьи-то торопливые шаги — и в гостиную ворвались темнолицые черноусые люди в черных одеждах и плоских черных шапочках с подвязанными черными лентами. Они оглушительно топотали по паркету, грубо перекликались в коридорах за дверью; от них веяло страшноватой, неведомой силой, и попугай забился на самое дно клетки в надежде, что его не приметят.

Один из людей высунулся в окно, потом с треском рванул бархатную штору и обернулся, приложив ее к своему плечу; на его выпуклой груди попугай увидел синие и белые полоски. Он тут же вспомнил сладкие грезы прежних дней и успокоился, приняв человека за одного из тех, кто давно и привычно окружал его в дремотных видениях. Расхрабрившись, он вспрыгнул на жердочку и попросил пить, и даже ругнулся по-французски для придания веса словам.

— Гляди-кось, какой бе-лый...— восхищенно проговорил черный человек, заметив попугая.

Шагнув к столу, он ловко просунул внутрь клетки коричневый палец и ткнул попугая в грудь. Тот отродясь не ведал столь грубого с собой обращения и обиженно вцепился кривым клювом в этот наглый предмет, противно воняющий незнакомым железным маслом.

— Кус-сается, контра! — Отдернув руку, человек приложил еще какую-то короткую фразу.

Она состояла вроде бы из привычных звуков и частями своими напоминала известные русские слова, однако общего смысла попугай не понял. Но построение фразы и яростный напор, с которым вытолкнул ее из себя черный человек, страшно понравились попугаю, и он смекнул, что непонятное выражение явно сродни тем, французским, стоившим ананасов.

Он нахохлился, выбормотал чудесную фразу вполголоса, не будучи увереиным в незнакомом материале,—и, убедившись, что не уступит черному человеку, хлопнул крыльями и проорал ее во всю глотку.

— Слышь, он и по-нашему умеет!!! — воскликнул тот.

Обрадованный вниманием попугай повторил то же самое. Черные люди сбежались в гостиную, столпились вокруг, навалились на стол, уставились чумазыми лицами, дохнули тяжелым — совсем не таким, как у прежних посетителей,— табаком и дурманом, напоминающим шампанское, только гораздо более крепким. И попугай почувствовал, что, кажется, нравится им, незнакомым и страшным, и закричал еще, еще и еще. Он будто надеялся, что ему воздастся по заслугам, что его старания оценят и предложат ананасов или хотя бы воды. Но люди ничего не предлагали, только хохотали белозубо — так, что могучий стол ходил ходуном,— и тыкали в него корявыми пальцами.

А потом вдруг схватили клетку и, завернув ее прямо в душный бархат скатерти, понесли куда-то с собой, прочь из гостиной, из этого опустелого дома — к новой, еще неизвестной ему жизни.

Попугай не знал, сколько прожил с матросами. Клетка его, изрядно ободранная, болталась в воздухе, прицепленная к потолку, серому и железному. Такими же были и стены. Иногда попугаю удавалось просунуть голову между покореженных прутьев — скосив глаз, он видел, что и пол внизу тоже железный. Все кругом было из серого железа; все день-деньской качалось, и дребезжало, и стонало, и повизгивало. Звуки эти, и качание, и обилие людей в полосатых рубахах опять напоминали попугаю сладкие сны из прежней, тихой и беззаботной жизни. Только там, в видениях, все было спокойно и светло, настоящее же оказалось грубым и страшноватым. Временами замкнувшее попугая железо гулко сотрясалось от ударов чего-то тяжелого, ворочавшегося где-то снаружи — там, где остались небо и солнце,— и это было жутко.

Люди любили собираться возле попугая; и он по старой привычке переворачивался на жердочке и изрыгал непонятные самому, но приятные по звучанию, заученные наизусть ругательства. Матросы хохотали до икоты и в награду пихали ему всякую дрянь: каменные хлебные крошки вперемешку с остатками махорки, замусоленные осколки сахара, какие-то крупы

и тощие рыбьи хвосты. Попугай в былые времена и не понюхал бы такую гадость, но он быстро понял, что ананасов здесь не дождешься, и поневоле освоился с грубой пищей, боясь умереть от голода.

Но однажды среди матросов появился новый человек, абсолютно на них не похожий. Высокий и стройный, с аккуратной черной бородкой, он напомнил попугаю давно известных мужчин, только в отличие от тех, розовых от сытости, был худ и бледен. Человек ни с того ни с сего принялся рассказывать матросам про сумрачные дворцы и заросшие липами парки, про гранит берегов и гулкие колоннады соборов и еще про что-то мирное и вечное, совершенно не связанное со скрипучей стальной коробкой, тупыми ударами и гулкими криками. Слова его, тонкие и негромкие, звучали призрачно среди корабельного железа, но, как ни странно, черные люди притихли и слушали чутко, разинув белозубые рты. А когда бородатый смолк, они благодарно загалдели, потом поднялся один и сказал, страшно стесняясь, что революционный экипаж низко кланяется товарищу красному профессору за рассказ о городе Петрограде и в знак душевной признательности хочет поднести немного харчей,— он вытащил мешок, где, как догадался попугай, лежало несколько буханок сырого хлеба,— и еще вот это, чтобы веселее было дожидаться победы мировой революции...

Вздохнув, он отцепил от потолка клетку и протянул гостю.

Попугай нешуточно испугался: несмотря на тяготы корабельного бытия, он свыкся с матросами, да к тому же успел накрепко уяснить, что изменений, ведущих к лучшему, в жизни не бывает. Он пронзительно вскрикнул, выдернул перо из груди и принялся изощренно ругаться, мешая французский арго с матюгами. Но его никто не слушал; чернобородый благодарно принял подарки и, сопровождаемый матросами, выбрался из железной тесноты на ветреный простор серой и мокрой набережной.

В прогнозе на новый этап жизни попугай, к счастью, ошибся: у профессора оказалось лучше, чем на корабле. Здесь было светло и почти тепло, не пахло никакой гадостью, клетка стояла твердо и над головой не раздавалось угрожающих звуков. Да и еда была поприятнее. Профессор голодал вместе со всеми, об ананасах не было речи, но он по крайней мере размачивал корки прежде, чем предложить их попугаю, и за одно это стоило сказать спасибо. Кроме того, профессор быстро ввел попугая в нормальное течение суток. И тот наконец узнал, что день приходит с солнцем, а ночь наливает окна иссиня-чернильной темнотой.

Единственной неприятностью было то, что профессор с первых же дней стал отучать его от ругани.

Попугай и сам прикинул — он был далеко не глуп! — что русские изречения, освоенные на корабле, не привьются в этом старом и чинном, мало тронутом временем доме. Хвастая образованностью, он решил выложить свои познания во французском, но новый хозяин не принял и этого. Метод борьбы с руганью отличался простотой и надежностью: стоило попугаю произнести хоть одно из любимых словечек, как профессор тотчас же бросал на клетку черный платок, погружая его в сон.

И попугай смолкал, и дремал на своей жердочке, и опять видел сны. Только теперь это был уже не пиратский бриг, а веселый дом с бархатными шторами, золотыми люстрами и смехом беззаботных женщин...

Ругань была для него столь же необходимой вещью, как еда, питье и солнечный свет. Но профессор оставался неумолим, и попугай смирился: он быстро научился складывать крылья перед жизненными обстоятельствами.

Вскоре он ко всему привык. Забыл свою любовь к сквернословию и даже выучился у профессора нескольким латинским фразам, которыми тот встречал приходивших коллег.

Жизнь тут текла с вялой неторопливостью. Профессор обитал вдвоем с женой, тихой и бесцветной женщиной; дом никогда не оглашался ни заразительным хохотом, ни звонкими голосами, и ничто не нарушало покоя. В клетке попугай только спал, днем же свободно прыгал по комнатам, по буфетам и книжным шкафам. Больше всего он полюбил сидеть на профессорском плече и заглядывать искоса в большие книги с яркими, прикрытыми папиросной бумагой иллюстрациями. Книг всегда было вдоволь на громадном столе, уставленном бронзой, чернильными приборами, маленькими статуэтками и прочими забавными безделушками; среди картинок часто

встречались изображения красивых комнат, роскошных обнаженных женщин и еще чего-то подобного, что могло бы напомнить попугаю его собственное прошлое, но... Но он сам уже вообще ничего не помнил, и картинки вызывали у него лишь праздное любопытство.

Времени попугай по-прежнему не считал, но, наверное, так прошло немало дней, недель, месяцев и лет. Потому что тихая хозяйка незаметно ушла из жизни; и профессор сделался иным, острый клинышек его бородки из черного превратился в серебряный. Да и попугай ощущал, что он уже не тот, и сны его, ставшие совсем непонятными, начали понемногу терять цвет и осязаемость.

И вдруг однажды ясным, солнечным утром в квартире раздались торопливые шаги, резко зазвучали голоса профессорских коллег, потом жутко захрипела черная тарелка — и попугай понял, что в жизни людей, а значит, и в его собственной судьбе случилось нечто непоправимое.

Правда, его никуда не уносили, и профессор не убежал. Все осталось на прежних местах, но висящая за окнами пустота набрякла зловещей, черной угрозой. Жизнь словно убавила громкость, на улице стих веселый гомон — зато резко проявились новые, жуткие звуки. Попугай смутно вспоминал, что нечто сходное уже было много лет назад, но сейчас все вернулось гораздо страшнее.

С улицы неслись не хлопки и не треск раздираемой парусины. Там дрожал тяжелый слоистый гул, что-то противно выло и ныло где-то наверху, потом все слои прошивал выворачивающий душу свист, что-то грохотало и рушилось; в комнатах лопались стекла, острыми перьями повисая на приклеенных бумажных полосках, а с потолка, заставляя попугая мучительно чихать, сыпалась едкая известковая пыль.

Затем настал день, когда в доме опять появились коллеги и принялись горячо уговаривать профессора ехать куда-то вместе с ними, но он говорил, что не покинет город ни за что; и те ушли и больше не возвращались. А профессор с попугаем остались вдвоем.

Некоторое время они еще жили словно по инерции, потом жизнь вдруг сорвалась и покатилась вниз, в черную яму.

В квартире почему-то стало холодно и темно; лишь в середине дня, когда где-то далеко в небе, наверное, показывалось солнце, комнаты всплывали из ледяного зловещего мрака. Профессор похудел и пожелтел и никуда не выходил из дому — молча лежал на кровати и лишь в светлые часы подходил к столу, перебирал книги с картинками, иногда рисовал что-то на больших белых листах. Потом, неумело размахивая тяжелым топором, крушил мебель и жег обломки в кафельной печи, что много лет без дела занимала угол кабинета. Тепла хватало ровно настолько, чтобы лечь, отогреться и уснуть — через некоторое время профессор поднимался, разбуженный холодом, и все начиналось сначала. И еще он почему-то почти перестал есть и редко-редко кормил попугая, давая ему каждый раз очень мало твердых и невкусных крошек.

Попугай понимал: это неспроста, и ему казалось, что он не доживет до весны.

А потом в один холодный день догорела последняя ножка кресла и кормить печь стало нечем. Профессор попытался выломать паркетину, но топор уже не держался в его прозрачных руках. Невнятно бормоча и роняя из глаз водяные шарики, которые катились по кожаным щекам и замерзали, не долетая до полу, он набил топку бумагами. Пламя вспыхнуло ярко и весело, очень жарко на вид, но в комнате не сделалось теплей; попугай был готов околеть, и ему стало все равно.

Словно поняв его страдания, профессор сунул попугая к себе за пазуху и лег на железную кровать, зарылся под кучу старых пальто и разного тряпья. На груди у профессора было темно и тепло, попугай быстро согрелся и даже уснул, но ему уже не снились ни море, ни веселый дом. Он видел лишь полчища хлебных крошек, которые уползали тараканами, не давая себя клевать.

Проснулся он оттого, что начал мерзнуть. Шевельнулся, открыл глаз — кругом было темно; профессор крепко прижимал его к себе. Попугай заворочался, забился, испугавшись сам не зная чего. Здорово помявшись и едва не сломав крыло, он выбрался наружу. И закричал от пронзительного холода, стоявшего столбом в напрочь выбитых окнах. Оглядевшись, он увидел, что все: кровать, тряпки и даже недвижное лицо профессора — покрыто налетом серебристой пыли, точно успело обрасти жуткой, ненастоящей бородой. Попугай вытянул шею — на полу трепетали еще живые хлопья горелой бумаги. А еще дальше, у самых стен, высокими горками сверкал белый сахар!

Попугай торопливо спрыгнул на пол и, давясь, бросился клевать — сахар оказался страшно холодным и совершенно не сладким на вкус. Натужившись, он вскочил на подоконник; ему жутко, до головокружения, до судороги во внутренностях хотелось есть. Попугай крикнул об этом, но хозяин даже не шевельнулся, будто не слышал и не понимал его. А внизу, за окном, расстилалось целое море белого сахара, который наверняка был, не мог не быть, должен был быть настоящим... Попугай обернулся к профессору — тот лежал плоско и немо, уже совсем незаметный под заиндевевшими тряпками. И тогда он наконец понял, что ему больше нечего терять. Перешагнув через зубья осколков, торчащие из пустой рамы, он ступил на карниз и обреченно оттолкнулся от ржавого железа.

Воздух принял в себя незнакомо упругой массой. Попугай ошалело захлопал крыльями, но летать он не умел — перекувыркнувшись несколько раз и разбросав потерянные перья, он неуклюже шмякнулся в белый сахар, до краев заполнивший глубокий двор.

Этот сахар оказался еще более холодным; он опалил грудь злым прикосновением, больно стиснул вмиг окоченевшие лапы. И попугай с внезапной ясностью осознал, что все это — страшный, коварный обман! Что какая-то жуткая и черная, лишь сверху прикрытая фальшивым сахаром сила ополчилась на весь мир, уже погубила профессора и теперь добралась до него. Он попытался высвободиться, вспорхнуть на торчащую поблизости обугленную деревяшку, но не смог. И ему стало ясно, что смерть уже рядом, что он действительно погибнет, убитый холодом и голодом посреди морозной пустыни.

— Бр-ратцы! — сам не зная почему, закричал он единственное оставшееся от матросской жизни слово. — Бр-р-ратцы-ы!!!

Никто не откликнулся. Ни единого звука не раздалось в гулком колодце двора. Все кругом уже умерли; он остался последним. Но он кричал, кричал, кричал, срывая на морозе голос,— кричал в слабенькой надежде, что его услышит какой-нибудь человек, ибо лишь от человека могло прийти спасение в этом страшном сахарном безмолвии...

И свершилось чудо! Откуда-то заскрипели редкие шаги — и, вытянув непослушную шею, попугай увидел, что к нему бредут двое, в толстых ватных куртках, ватных штанах, засунутых в валяные сапоги, и с худыми, точь-в-точь как у профессора, скулами под спущенными ушами шапок.

— Эвон кто тут кричит,— тихо сказал один.

— Ого, какой!.. Супешник мировой выйдет, на всю батарею! — лихорадочно обрадовался второй.— Сейчас шею скрутим...

— Бросьте! Люди мы или нет? — оборвал его первый, согнав с изможденного лица страдальческую голодную гримасу.— Тварь живая на помощь зовет, а вы — «супешник»...

Он наклонился, бережно поднял попугая костлявой рукой, осторожно отряхнул и сунул поглубже за пазуху. Там опять было тепло, от ватного человека исходил тонкий, бывший когда-то привычным железный дух ружейной смазки — попугай успокоился и впал в забытье.

Впрочем, ни на что иное у него не осталось сил.

Теперь он жил под землей, в тесном и душном деревянном пространстве, слабо освещенном коптилками. Клетки тут не было; вместо нее попугаю отвели зеленый ящик, набитый стружками, которые хранили свежий запах настоящей смолы и кисловатого металла. А кругом жили серо-черные ватные люди. Временами в попугаевой памяти вставала не до конца забытая жизнь на корабле, и он, смутно чуя былое, пытался веселить их руганью, от которой осталось-таки несколько бессвязных обрывков; но получалось плохо. Те, давнишние матросы, кипели детской радостью и хохотали до одури по любому поводу. Эти же были угрюмы и невеселы, говорили мало; на желтых костяных лицах томилась печать непонятного попугаю людского горя, точно что-то подспудное гнело их день и ночь, злобно высасывая изнутри. Кормили его редко — и всякий раз несколько

человек сидели рядом на корточках, молча наблюдая в жутковатом оцепенении, как он склевывает крошки с чьей-нибудь сухой ладони.

А иногда люди вдруг уходили из тесного подземелья, оставив попугая одного в своем ящике, — и через некоторое время над головой начинал перекатываться тяжелый каменный шар, что-то бухало и стонало, трещали бревна и с низкого потолка сыпалась труха. Это напоминало нечто, уже испытанное вместе с профессором, но тут, в сыром мраке земли, было гораздо страшнее. Попугаю казалось, что его вот-вот наглухо завалит прахом и он больше никогда не увидит света; он отчаянно вопил от ужаса, зовя к себе сбежавших ватных людей.

И вот однажды, поняв его жалобный крик, они взяли его наверх. И попугай увидел, что все кругом, налево и направо, куда доставал глаз, покрыто вздыбленными холмами холодного небесного сахара, который — он теперь знал — люди именуют «снег». Из-под снега торчали полузасыпанные кусты и разные обломки. Сунув попугая под ватник, один из людей поднялся на взгорок и громко выкрикнул несколько отрывистых команд. Другие быстро оттащили груды сучьев и серо-белые тряпки, и среди снеговых бугров вдруг открылось нечто чужое: в небо торчали странные штуки, напоминавшие то ли громадные сигары, то ли древесные стволы без ветвей, но явно сотворенные человеческими руками. Их было четыре, и около каждой торопливо копошились ватные люди. Потом тот, который держал попугая, — видимо, главный среди всех, — крикнул еще что-то, и все остальные разом отбежали прочь. Человек коротко рубанул рукой — и стволы дернулись туда-сюда, поочередно выплюнув из себя длинные языки пламени. Земля вздыбилась и дрогнула, до сердцевины расколотая тяжелым громом; волна горячего ветра достала и до попугая, и он едва не задохнулся. Что-то зазвенело и откатилось, блестящие железки с дымным шипением поскакали по снегу. Люди, уже не видные в едком пороховом дыму, снова бросились к стволам, потом снова отбежали, главный махнул еще раз — и снова полыхнуло красным огнем, и жаркий вихрь опять накрыл попугая, и он судорожно впился когтями в ватную куртку. Он моментально оглох и онемел, однако душа его пела; он переживал небывалое ощущение неведомой сладкой жути — словно заглянул ненароком через край манящей в себя пропасти.

С тех пор попугай не томился от страха в блиндаже: люди брали его на свои дела. Он быстро привык к артиллерийской работе и стал кое в чем разбираться.

И — странное дело... Жизнь была тяжка, голодна и безрадостна, полна грохота, и неудобств, и растворенной в каждом вздохе опасности. Но тем не менее попугай чувствовал, что еще никогда, никогда прежде ему не жилось так хорошо — никогда не доводилось испытывать такого счастья от каждого прожитого дня и от близости к людям, охваченным одной яростно горящей целью. Он не знал, что такое «война», но он воевал вместе с ними.

Так кончилась зима, настало лето — стволы из белых сделались зелеными, — потом опять пришли холода, потом снова вернулось тепло, и наконец однажды, уже в третью военную зиму, после одной ночи, когда рукотворный огонь бушевал до самого рассвета и, казалось, не только попугай, но и сами люди оглохли начисто от орудийного грома, все вдруг куда-то убежали, опять оставив попугая одного, а потом ввалились неузнаваемо шумной и веселой гурьбой. В деревянной тесноте дурманяще пахну́ло давно позабытым хмелем; костяные лица людей ожили и горели ярче коптилок. И попугай слышал, как они без конца, точно наслаждаясь катающимися по губам звуками, повторяли три слова: «блокада», «конец» и «на запад».

Попугай ощутил, что в жизни его хозяев нечто переменилось, и ждал очередного поворота собственной судьбы. И, как всегда, не ошибся. Прошло еще совсем немного времени, и люди вынесли его из блиндажа — судя по всему, навсегда. Людей вдруг стало очень много, и они отправились куда-то огромной шумной колонной — звучали возбужденные команды, ревели моторы, лязгало железо, и грозно тряслись на черных колесах опущенные орудийные стволы. Они ехали сквозь город — весь израненный, засыпанный злым снегом, алеющий кирпичной кровью развалин. Но люди, шагавшие по белым ущельям улиц, почему-то были веселы; они кричали что-то

звонкое артиллеристам, и махали руками, и показывали на попугая. И он заразился их настроением — и, не умея выразить иначе свою сопричастность с этой непонятной, но, несомненно, великой людской радостью, яростно выкрикивал слова артиллерийских команд.

А потом один из солдат спрыгнул с орудийного передка и, подбежав к случайному мальчику с зеленой сумкой через плечо, спросил, где находится дворец пионеров.

И опять у попугая началась новая жизнь. Впрочем, во дворце ему стало веселей. Там тоже было зябко и не слишком сытно, зато вокруг целыми днями толпились детишки — худые и большеглазые, с неподвижными взрослыми лицами. И попугай, как мог, старался принести им радость: вертелся на жердочке, показывая все свои умения, и без устали повторял незамысловатые пионерские дразнилки.

Он был вполне доволен этой жизнью, и жизнь, кажется, была довольна им; и так, наверное, могло продолжаться очень-очень долго, но через некоторое время попугая зачем-то переселили в большую клетку, где уже квартировало несколько птиц. Впрочем, он не ведал, как именуются его новые соседи, как и сам не осознавал себя птицей: обитая всю жизнь среди людей, он никогда не видел даже обыкновенного воробья. И в общей клетке ему пришлось несладко. Попугая клевали, щипали и трепали, не подпускали к кормушке и вообще всячески обижали при любом подходящем случае, а он не знал, как за себя постоять. Он, наверное, был уже слишком стар, чтобы заново учиться драться и говорить по-птичьи, а человеческие слова, которыми пытался оборонять свое достоинство, не имели на птиц воздействия. И он, переживший три блокадных зимы, сохранявший спокойствие на артиллерийских позициях, совершенно спасовал перед какой-то наглой пернатой мелкотой...

В конце концов люди поняли, что в коммунальной клетке он протянет недолго. Но снова заводить для него отдельное пристанище не стали, хотя это, как думалось попугаю, было бы самым разумным. Его просто отдали одной очень серьезной девочке с толстыми косичками, которая крепко притиснула его к груди и так, держа что было сил, унесла к себе домой.

Попугай понял, что судьба его опять сворачивает с прямого пути, но теперь уже не ожидал ни хорошего, ни плохого — не ждал вообще ничего. Он настолько привык к переменам, что они потеряли для него и вкус, и остроту.

Жизнь у девочки оказалась скучной и бесцветной. Или, может, это он сам постарел настолько, что уже не умел найти ничего занимательного? Его не учили новым словам и вообще ничему не учили, никак не развлекали и не просили служить. День сменялся днем, и каждый был неотличим от предыдущего, и попугаю казалось, что он медленно погружается в глухой омут, где само время остановило свой ход.

Попугай не заметил, как около него выросла девочка: превращаясь в девушку, обрезала косички; потом надела нарядное платье и сделалась женщиной. Как она исчезла из дому с молодым мужчиной без бороды — теперь бород не носили — и как вернулась потом, уже без мужчины, но зато с маленьким орущим свертком на руках. А вскоре пропала опять и больше не появлялась; и попугай остался втроем с мамой девочки — уже бабушкой! — и со свертком, который орал все меньше, зато рос на глазах, быстро обращаясь в девочку, девушку, женщину.... Женщина из свертка никуда не убегала — мужчины сами являлись к ней в дом. И новых свертков тоже не возникало: видно, люди научились-таки обходиться без них. Но внучке все равно постоянно чего-то не хватало, и она отчаянно ссорилась с бабушкой, требуя от нее какой-то непонятной вещи, которой — как смутно понимал попугай, — было чем больше, тем меньше, и никогда не бывало вдосталь. Каждая ссора завершалась тем, что бабушка молча брала какую-нибудь вещь и уносила ее прочь. Потом возвращалась с пустыми руками, неся взамен нечто нематериальное; между ней и внучкой воцарялось короткое перемирие, и они даже допивали вместе дешевое вино, которое оставляли сменявшие друг друга мужчины. Но потом это самое бестелесное нечто опять кончалось, и бабушке снова приходилось шарить по комнате в поисках товара, с которым можно уйти из дому, чтобы вернуться с миром.

И однажды взгляд ее упал на попугая. Трясущимися руками бабушка

сняла с подоконника ржавую проволочную клетку, много лет тому назад найденную на помойке девочкой с толстыми косичками, и куда-то понесла.

На этот раз в новую жизнь попугай попал не вдруг. Клетка целый день стояла на длинном столе среди других, малых и больших клеток, где ругались и дразнились, свистели, скорготали и чирикали другие птицы. Попугай не обращал на них внимания, потому что ему было все равно. Где-то невдалеке тявкали щенята, кто-то пищал и скулил, и совсем под боком гнусно шипели кошки, но попугай не знал, что такое «кошка», и это его не трогало; он глухо молчал, весь уйдя в себя.

И лишь в конце дня, когда краснеющее солнце уже собиралось нырнуть в щель меж высоких домов и бабушка подавленно бормотала что-то безнадежное, перед клеткой возник человек в желтовато-зеленом плаще. Он долго оглядывал попугая так и сяк, затем нагнулся ближе, сказал несколько слов, на которые тот не ответил, затем просунул между прутьями палец и потрогал клюв — попугай не шелохнулся, пребывая в полнейшей апатии. Потом бабушка приняла из рук в руки какие-то грязноватые бумажки, но почему-то рассыпалась в униженной благодарности. А зеленый схватил клетку под мышку и понес прочь — мимо деревянных столов и птичьего гомона...

Потом клетка долго стояла в незнакомом, неприятно пахнущем химией пространстве, которое, кажется, двигалось, время от времени мягко переваливаясь с боку на бок, — попугай, верно, мог бы вспомнить свои прежние сны, но он давно уже вообще ни о чем не вспоминал. Потом его долго тащили куда-то по громадному двору, потом по лестницам, но попугай даже не замечал куда: его это не волновало. И наконец внесли в громадную, полную гулкой пустоты квартиру, и из темноватых комнат вышел сухощавый мужчина в зеленых брюках с широкими красными полосами на штанинах. Человек в плаще протянул ему клетку и радостно доложил:

— Нашел! Точь-в-точь такой же, только постарше. Этот не улетит, товарищ генерал!

III

Генеральский дом был огромен, и в нем, как понял из разговоров попугай, когда-то жило много людей. Но все куда-то разлетелись подобно прежнему обитателю его новой клетки — и теперь здесь остались всего двое.

Хозяин каждое утро уезжал на службу и возвращался поздно вечером, а в праздники и по ночам под окнами всегда дежурила блестящая черная машина. Хозяйка же долгими пустыми днями слонялась из угла в угол, листала и откладывала книги, часами бормотала в пластмассовую трубку — и все время ждала возвращения хозяина, с печальной частотой подходя к окну. Гостей тут не водилось; приходили только иногда двое людей, но вряд ли их можно было так назвать. Человек в плаще цвета хаки, принесший сюда попугая, всегда являлся с ног до головы обвешанный какими-то свертками. И еще бывала одна женщина гораздо старше хозяйки, которая молча убиралась в квартире, смахивала пыль с тяжелой мебели, чистила попугаеву клетку и грохотала на кухне.

Говорить попугай перестал совершенно и даже не ощущал тяги к этому занятию, хотя все: хозяин, хозяйка, и молчаливая домработница, и особенно услужливый ординарец — пытались вызвать его на беседу. Попугай слышал, как они произносили слово «триста лет», и чувствовал, что это относится к нему, но не знал, хорошо это или плохо, — он вообще ничего не знал и ничего не помнил, потому что был теперь уже в самом деле очень стар. Он начисто утратил интерес к жизни; перья его вконец потускнели, глаза затянулись мутной пленкой, а хохолок на затылке выцвел и больше уже не вставал.

Сколько времени так прошло? Может, много — а может, и не очень. Попугай окончательно потерял ощущение перемен.

Но однажды хозяева вспомнили о какой-то годовщине, которую надо отметить: пригласить товарищей хозяина с женами, как следует подготовиться, заранее подумать об угощении и все прочее... Он увидел, как ожило, помолодев и зарумянившись, вечно грустное лицо хозяйки, и невольно представил, сколь весело бывало в этом доме в прежние времена; и в нем шевельнулось мгновенное живое сожаление, что он не попал сюда раньше.

О слышанном он тут же забыл: людские дела его больше не касались. Но когда настала эта самая годовщина и вечером в передней ожил звонок, раздались басовитые голоса мужчин и серебристо вспыхнул женский смех — попугай безо всяких на то причин ощутил в себе неожиданное беспокойство.

Когда в парадную комнату, где на круглом столе покоилась его клетка, одна за другой вошли нарядные дамы, и расселись по шелковым диванам, и защебетали наперебой, он насторожился.

Он уловил текущий от них терпкий аромат и увидел сотни крошечных каменных огоньков, которые вспыхивали на их шеях и руках, слепя его старческий глаз; и ему вдруг почудилось, что все это когда-то уже было: женщины, и запахи, и блеск камней... — только женщины были не столь красивы и нарядны, пахло от них проще, и камни блестели не так живо.

Попугай заволновался, уже не в силах сдерживаться. Он встревоженно затанцевал, выдернул пару перьев, потом принялся тереться клювом о прутья клетки.

В голове у него что-то мучительно работало, и он почувствовал, что сейчас — немедленно, сию же секунду! — обязан вспомнить и сделать нечто важное, от чего полностью зависит весь остаток отпущенной ему жизни...

Женщины болтали, поглощенные друг другом, а попугай исходил немой мукой, не в силах поддеть нечто в черных глубинах памяти — и вдруг... Зазвенели дверные стекла, и в комнату шумно вошли мужчины. Они были затянуты в формы — кажется, зеленые; но глаз попугая уже плохо различал цвета, и ему увиделись синие. А на плечах жарко горели широкие золотые погоны!

Попугай оцепенел, поняв, что сейчас произойдет...

Книга его памяти раскрыла желтые страницы, и дымчатая бумага сползала с хрустом, обнажая неправдоподобно яркие картинки. Где-то, когда-то — попугай еще не вспомнил, где и когда — он уже видел! видел!! видел!!! эту книгу и эти картинки под прозрачной бумагой, только то была просто людская забава, а сейчас перед ним разворачивалась, мелькая непотускневшими красками, вся его прошлая судьба.

И попугай вскочил на жердочку — и, захлебываясь, точно боясь все опять позабыть, принялся залпами выдавать все, чего успел набраться хоть и не за триста, но все равно за очень много лет своей бурной жизни.

— Гони чер-рвонец, стар-рая кар-рга! — заорал он, пробуя голос.

Люди непонимающе переглянулись; беседа прервалась.

— Попка-дур-рак-попка-дур-рак-попка-дур-рак! — на едином вздохе изверг он длинную очередь.

На него, кажется, обратили внимание.

— За Р-родину! За Ленигр-р-рад! По квадр-рату четыр-рнадцать! Угломер-р-р семь-ноль! Пр-р-рицел тр-риста! Зар-ряд полный! — бушевал попугай, роняя перья. — Батар-р-рея, беглым — аа-гонь!

Гости заволновались вместе с ним.

— Гаудеамус игитур-р, вива пр-р-рофессор-ри! — продекламировал он нараспев.

Кто-то привстал, склонился к клетке.

— Полундр-ра, в семь гр-р-робов твою мамашу! — осадил его попугай.

Потом всхлопнул крыльями, перевернулся вниз головой и громко выругался по-французски.

Страницы шелестели трескучим веером — и вдруг остановились, раскрывшись на самой последней картинке. Она была очень старой, совсем темной от времени, но на ней ясно виднелись фигуры в синем с блестящими полосками на плечах. И попугай понял, что наконец добрался до того, с чего, собственно, все и начиналось.

Он вытянулся в полный рост, вздыбил на затылке остатки хохолка и, закатив глаза, проорал неистово, громко и самозабвенно — прямо в лица обступившим его генеральшам:

— Девки! Тикайте!! Полиция!!!

г. Уфа

Елена ТРОФИМОВА

Московские поэтические клубы 1980-х годов

«Клуб в СССР — культурно-просветительное учреждение, имеющее своей задачей политическое развитие, производственное просвещение, повышение культурного уровня и организацию отдыха трудящихся»,— гласит Словарь иностранных слов. Бог мой, как строго и жутко это звучит сегодня! Зато на великолепном «новоязе», в который упорно превращался наш некогда «великий и могучий...»

Но жизнь парадоксальна там, где все должно было идти в строгом соответствии с предписанными сверху рецептами, и в конце 1970-х — начале 1980-х годов стали возникать и распространяться явления совсем иного рода. В театральных студиях, литературных кружках и объединениях, связанных с работой над словом, особенно художественным, начали проявляться тенденции, далеко отходящие даже от весьма широко тогда понимаемых рамок социалистического реализма.

Задачи литературных клубов, появившихся на рубеже восьмого десятилетия, отличались широкой гаммой целей и устремлений. У одних деятельность носила более просветительский и культурно-воспитательный характер (правда, с обратным официозу знаком). Другие сознательно и подсознательно стремились раскачать закосневшее сознание, дискредитировать привычные стереотипы, привить вкус к подлинной художественности и реанимировать утраченные ценности языковой стихии. Некоторые пытались добиться этого через возврат к архаичной лексике и стилистике (П. Краснoперов, В. Щадрин), другие, напротив, исповедовали поиск новых форм (Вс. Некрасов, Л. Рубинштейн). Однако наряду с чисто творческой и образовательной работой, необходимо отметить и особое качество литературных объединений этого времени — они, по сути дела, в те годы представляли организационную оппозицию, альтернативу официальным союзам писателей, где, по мысли «серых» кардиналов режима, только и дозволялась литературная и поэтическая деятельность. Поэтому, изучая историю российской прозы и поэзии предперестроечных лет, никак нельзя упускать из виду эти маленькие островки творческой свободы.

Конечно, сближение поэтов происходило прежде всего по тем или иным художественным принципам, которые они исповедовали. К классической форме рифмованного стиха тяготели, например, О. Седакова, С. Гандлевский, Д. Веденяпин, М. Айзенберг; напротив, В. Бурич, А. Макаров-Кротков, С. Моротская, Ян Шанли развивали пока еще экзотичный для России жанр верлибра. Большое место в этом потоке поэтического андеграунда занимали авангардисты различного толка: концептуалисты Вс. Некрасов, Л. Рубинштейн, И. Ахметьев, метаметафористы И. Жданов, С. Соловьев, Е.Даенин, А. Еременко, а также создатели советского поэтического соцарта Д. Пригов, И. Иртеньев, Н. Искренко, А. Туркин. Этих поэтов различает многое, но объединяет одно — полное игнорирование со стороны официоза, поскольку вне зависимости от жанра и манеры оппозиционность их всегда распознавалась, вызывая — во всяком случае, до середины 80-х годов — настороженность и неприятие со стороны литературного истеблишмента. Неудивительно поэтому чрезвычайно малое количество публикаций на родине.

Среди литературных клубов, о которых мне хотелось бы сказать, первым следует назвать клуб «Московское время», возникший в 1973 году и просуществовавший с перерывами, иногда весьма продолжительными, до 1988 года. Основателями клуба были студенты Московского университета Алексей Цветков, Сергей Гандлевский, Александр Сопровский, Бахыт Кенжеев, Татьяна Полетаева, Александр Казинцев. Свое поэтическое братство они как бы противопоставили официальной литературной студии университета, имевшей все необходимое для комфортного, но конформистского

существования — и хорошее помещение, и финансовую поддержку, и организованный распорядок занятий. Невольно вспоминаешь строки одного из членов этого клуба Дмитрия Веденяпина:

Как будто рай, а приглядишься — ад
Вокзал и тот похож на одиночку.
А между тем, никто ие виноват,
Что жизнь умеет съеживаться в точку.

Поиск такой «точки» жизни, а точнее, пространства поэтической свободы, весьма характерен для этой группы. «Мы дышим воздухом, непригодным для дыхания. Любая частная победа есть подвиг»,— говорит Михаил Айзенберг. И речь не только о творческих скитаниях и превратностях, но и о перемещениях пространственных. Из аудитории МГУ в конце 1970-х годов клубу пришлось переместиться на кухни московских квартир. В 1985—1986 годах «Московское время» ненадолго нашло приют в Музее архитектуры им. Щусева, откуда, несмотря на все поднимавшуюся тогда волну либерализма, члены клуба были изгнаны за то, что осмелились провести первый в России вечер памяти Александра Галича. В конце концов клуб нашел более надежное пристанище в Доме медиков на улице Герцена, который был известен своей фрондой.

Состав клуба за эти годы менялся. Из него ушел эмигрировавший в Соединенные Штаты А. Цветков, а также уехавший в Канаду Б. Кенжеев. Вышел из него и резко переориентировавшийся — и не только в творческом плане — Александр Казинцев, занявший кресло заместителя главного редактора журнала «Наш современник», хорошо известного своими специфическими взглядами, весьма далекими от того, что исповедовало «Московское время». В прошлом году трагически погиб А. Сопровский. К клубу в разное время присоединялись Елена Игнатова, Юрий Кублановский, Виктор Санчук, Татьяна Гутина, Дмитрий Веденяпин. Конечно, были попытки членов клуба достучаться, докричаться до отечественного читателя и слушателя, но их возможности были весьма ограничены. Публикации были редки и, как правило, случайны. Только в конце 1980-х — начале 1990-х гг. мы обнаружим следы этого клуба в журналах и сборниках. У Сергея Гандлевского, к примеру, есть несколько стихотворений в альманахе «Зеркала» (1989), в журналах «Юность» (1988), «Новый мир» (1988), «Огонек» (1990), «Октябрь» (1991); тонкая книжка его стихов появилась в серии «Аионс» в 1989 году. В журнале «Знамя» за 1989 год мы увидим стихи Бахыта Кенжеева и Алексея Цветкова в «Октябре» (1990), а в «Новом мире» за 1988 год — три стихотворения Дмитрия Веденяпина.

В 1988 году клуб «Московское время» распался. Сергей Гандлевский примерно так говорил мне об этом: «Поэты «Московского времени» считали, что все сделали для того, чтобы внести свою лепту в развитие общественного сознания, и не хотели уходить дальше в сторону политической борьбы; желанием каждого было сосредоточиться на поэтическом творчестве и заняться тем, чем мы и призваны заниматься. Получив своего слушателя, мы не получили своего читателя, так как последнее невозможно без публикаций».

Да, клуб распался как организация поэтов, как пункт сбора и как место встречи с аудиторией. Но он остался как феномен поэтической истории русской неподцензурной поэзии, как определение одной из сторон московской культурной жизни, и, произнося название клуба, мы мгновенно понимаем, о какой ветви поэтического андеграунда идет речь. При всей приверженности этих поэтов к традиционным формам рифмованного стихосложения образный строй их произведений заключает в себе тот излом внутренней формы и тот трагизм смысла — вполне соотносимые с реалиями современной российской жизни,— которые и позволяют рассматривать их творчество как явления постмодернизма.

Выйди осенью в чистое поле,
Ветром родины лоб остуди.
Жаркой розой глоток алкоголя
Разворачивается в груди.
Кружит ночь из семейства вороньих,
Расстояния свищут в кулак.
Для отечества нет посторонних,
Нет, и все тут,— и дышится так...

С. ГАНДЛЕВСКИЙ

Можно быть самозваным царем,
самочинным провидцем;
Номинальным ученым без знаний,
признанья и прав;
Представляться счастливым, уверенным,
мудрым, богатым,—
Но нельзя притвориться,
Что ты чемпион прибежав
Семьдесят пятым.

Дм. ВЕДЕНЯПИН

Известны слова Иосифа Бродского, что Андрей Платонов в своих произведениях писал о нации, «ставшей жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавший от него в грамматическую зависимость» [1]. Может быть, поэты этой группы, стремясь к классической гармонии в полном смысле этого слова, пытаются вернуть нормальную взаимозависимость между словом и жизнью, освежить, а не освежевать отечественную поэтическую традицию, через культуру языка и рифмы напомнить о возможности построения высокой человеческой культуры. И потому свой короткий рассказ о клубе «Московское время» мне хотелось бы завершить строками Александра Сопровского:

И, стало быть, понял я плохо
Чужой до последнего дня
Язык, на котором эпоха
Так рьяно учила меня.

[1] И. Бродский Предисловие к роману А. Платонова «Котлован». Анн-Арбор, «Ардис», 197В.

Совсем иную форму работы избрал организованный в 1986 году поэтический клуб «Кристалл». Его основатели вполне определенно заявили о просветительской направленности своей деятельности. Поэты, образовавшие эту группу — Ольга Постникова, Нина Габриэлян, Петр Красноперов, Нина Константинова, Фаина Гринберг, Григорий Кружков,— выразили в своем манифесте нравственный принцип своего единения. Их мысль заключается в том, что, как бы ни была тяжела выпавшая на долю человека жизнь, она дана Богом, и каждый должен жить по-христиански, выполняя свой долг и воплощая свое призвание, подавать пример нравственной жизни другим, более слабым. Время и питательная почва этого поэтического клуба — время начала перестройки, когда многим верилось, что победа нового неизбежна, что русский народ заслужил, наконец, право на подлинно человеческую жизнь, на свободу и счастье. И члены клуба активно прокламировали эти идеи в своих выступлениях.

Свежий ветер навылет откроет,
Обнаружит дрожащий каркас.
А теперь поглядим, чего стоит
Полый остов — душа без прикрас!

Н. КОНСТАНТИНОВА

Сознательно выбрав местом своих встреч библиотеку на окраине Москвы, Постникова, Габриэлян, Красноперов и другие считали, что нравственная задача русского интеллигента — помочь духовному, умственному и моральному развитию более отсталых, менее развитых и менее знающих.

От ненависти отведи,
Спаси меня от соблазна,
Гибели, когда в груди
Клокочет горькая плазма.
Дай остаться в слабости, в робости,
Дай терпенья, когда меня гнет
Злоба к тому, кто в автобусе
Пнет..

О. ПОСТНИКОВА. **В автобусе**

Боль Постниковой за ближнего непритворна, ее христианская проповедь нефальшива, а нести такой груз в мире тяжко, «возлюбить ближнего своего как себя» почти невозможно, но поэт — и в этом основа программы клуба «Кристалл» — должен помочь простому человеку переломить себя, победить свою нравственную слепоту и глухоту, продвинуться к новой, достойной жизни.

Конечно, при всей привлекательности такого подхода нельзя не заметить и значительного изъяна. Проповедь социального альтруизма и нравственной доминанты, несомненно, может быть важной составной поэтического творчества, но не может определять его всецело. Если брать за девиз кредо Н. Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», то поэтическое начало почти неизбежно будет отступать перед «темой», подтачивая художественную основу стиха, убивая поэзию, вызывая у читателя реакцию, обратную той, на которую рассчитывал сочинитель.

Задохнись перегаром вокзальной тоски.
Как небритые лица близки!

Эти строки Нины Константиновой довольно ясно демонстрируют, как лозунг, пусть и похвальный по своей сути, может свести даже лучшую моральную проповедь к некой иронической двусмысленности...

В то же время справедливости ради нужно отметить, что члены клуба в большинстве случаев все-таки избежали такой опасности.

Клуб «Кристалл» прекратил свое существование в 1990 году. Может быть, потому, что изменилась жизнь, что ушли многие надежды и иллюзии начала «второй оттепели», а может, и потому, что нравственная проповедь неизбежно подводила к мысли о ее практическом осуществлении. Члены клуба становятся членами демократических общественных организаций — «Демократическая Россия», «Армяно-русское общество»,— потому что и сегодня для них живы идеалы подвижничества, деятельного милосердия и помощи. Говоря словами Ольги Постниковой:

И какие помогут стихи да науки
Работяге,
коль водка до сердца прожгла!
Из грязи тротуарной ко мне узловатые
руки
Протянул,
чтоб я встать помогла.

Или обращение Нины Габриэлян к средневековому армянскому художнику Киракосу, который рисует «миньятюры»:

Спеши, ведь там, в грязи горячей умирая,
Стенают матери, прижав детей к груди.
И если ты сейчас не нарисуешь рая,
То после смерти им куда с детьми брести?

В 1986 году в помещении Дома учителя Таганского района начал функционировать клуб «На Таганке». Инициатором его создания был поэт Арво Метс, что в определенной степени и предопределило состав его участников — некоторые из них также выбрали свободный стих в качестве основной формы своего поэтического выражения. Самому Метсу присущи камерность и лиричность:

Вешая пеленки на балконе
Вдруг останавливаешься,
Ошеломленный мирозданием.
У кончиков пальцев
Мерцает звезда.

Клуб не декларировал какого-либо манифеста или общеэстетической позиции, главную задачу его члены видели во взаимном обмене взглядами на поэзию, общении, чтении друг другу своих стихов. Они, как правило, сознательно избегали политической тематики, стремились сосредоточиться на разработке художественной стороны стиха. Эта поэтика духовного очень хорошо просматривается в стихах Александра Макарова-Кроткова:

В больнице лица
вытянуты
как на портретах Модильяни

не в пропорциях дело
говорят мне
а в предвкушении воскрешения.

Несомненной заслугой клуба было то, что он способствовал популяризации малоизвестного у нас и упорно затираемого как поэтическими ретроградами, так и прогрессистами, верлибра,— стиха, открывающего для российской культуры большие поэтические перспективы.

Клуб организовал серию вечеров, называвшихся «Устная библиотека поэта», они проводились регулярно в течение трех лет — в Доме работников искусств, в Доме архитектора, в Доме учителя и в различных библиотеках. Такие вечера в какой-то степени компенсировали трудности с публикацией в печати, давали возможность московским любителям поэзии знакомиться с этими поэтами. Конечно, свободный стих не стал обязательным: рифмованная поэзия из клуба ни в коем случае не изгонялась. Более того — некоторые поэты, как, например, Ян Шанли, обращались и к рифме, и к верлибру:

Сосною пахнет карандаш,
Бедою лебеда,
Красногвардейцами Сиваш,
Дном впадины звезда.

И у него же мы находим:

Ты оглянулась так,
Словно услышала за спиной
Прошлогодние шорохи листвы.

В апреле 1990 года в Доме архитектора был успешно проведен 1-й фестиваль верлибра, в котором приняли участие поэты из 11 городов: Москвы, Ленинграда, Киева, Самары, Нижнего Новгорода, Свердловска и других. Фестиваль помог собрать разбросанных по стране поэтов, работающих со свободным стихом, выявил наиболее талантливых из них (хотелось бы упомянуть Проворова и Моротскую из Нижнего Новгорода, Маслова из Пскова, Шумилова из Ленинграда), а также показал, что интерес к верлибру весьма заметный, и несмотря на критику со стороны последователей рифмованного стихосложения он занимает достаточно прочное место в современной русской поэзии. В этом отношении показателен иронический пассаж Стеллы Моротской:

В борьбе
за язык общения
народы дружной державы
выходят
на поле нецензурной брани
находя
общий язык —
русский.

Завершая разговор о поэтах клуба «На Таганке», замечу, что количество их публикаций не поражает воображение. Арво Метсу, Игорю Болычеву, Яну Шанли удалось опубликовать по книжке стихов, причем первым двум — за свой счет. В журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Юность», в некоторых альманахах публиковались стихи, как правило, по два-три, Ольги Ивановой, Владимира Щадрина, Сергея Золотусского. Наконец, подборки стихов Александра Макарова-Кроткова и Яна Шанли опубликовал парижский «Континент».

К концу 1989-го — началу 1990-х гг. клуб стал собираться все реже. Заключительным аккордом его распада стало закрытие на ремонт помещения, куда поэты приходили на свои встречи. Видимо, желание исповедовать принципы «чистого» искусства без совпадения остальных творческих и человеческих интересов и принципов стало «ахиллесовой пятой» клуба, потому-то ослабление внешнего, организационного начала неизбежно вело к его самороспуску. Эта мысль подтверждается и тем, что, прекратив существование как место сбора, клуб «На Таганке» не сохранился и как некое поэтическое метафизическое единство, несмотря на то, что среди его членов было немало талантливых поэтов.

Наиболее известный и многочисленный клуб «Поэзия» организовался в 1985 году благодаря инициативе Леонида Жукова, сумевшего получить разрешение на проведение клубных встреч в одной из жилищных контор на окраине Москвы. Здесь сошлись наиболее яркие звезды московского андеграунда, разных поколений, такие, как Дмитрий Пригов, Нина Искренко, Игорь Иртеньев, Лев Рубинштейн, Евгений Бунимович.

Довольно быстро выявились три главные группировки, в основе образования которых лежали как эстетические, так и личностные пристрастия. Пригов, Рубинштейн, Айзенберг, Кибиров, Сухотин объединились в группу «Задушевная беседа». Искренко, Бунимович, Арабов, Иртеньев, Еременко, Строчков, Левин, Немировская составили «Третье объединение». Левшин, Кацов, Бараш, Байтов, Дарк назвали свой кружок «Эпсилон-салон».

Стихи многих участников клуба «Поэзия» позволяют проводить прямые сопоставления их творчества с тем течением в живописи, которое получило название «соцарт». (Здесь уместно вспомнить картины наиболее ярких представителей этого направления — Комара и Меламида, а также Эрика Булатова.) Мировоззрение большинства поэтов этой новой волны формировалось в отвратительную и смешную эпоху, которую нынче принято называть застоем, когда процветающее на всех этажах общества воровство прикрывалось лозунгом «Все — народу!».

Надо честно работать, не красть
И коррупцией не заниматься
Этим вправе вполне возмутиться
Даже самая милая власть.

Потому что, когда мы крадем
Даже если и сеем и пашем
То при всех преимуществах наших
Никуда мы-таки не придем
А хочется.

Так выразил шизофренический менталитет этой эпохи Дмитрий Пригов. Парадоксы безнравственной и безрадостной жизни, почти буквально списанной с романа Оруэлла, наложили печать на стилистику и характер текстов поэтов андеграунда, смеющихся и плачущих над жизнью, переставшей быть жизнью.

Мне надоело корчиться в строю,
Где я уже от напряженья лаю.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но не тревожьте хижину мою.

А. ЕРЕМЕНКО

Этими же чувствами исполнено стихотворение Бунимовича «Поколение»:

В пятидесятых — рождены,
В шестидесятых — влюблены,
В семидесятых — болтуны,
В восьмидесятых — не нужны.
Ах,
Дранг нах Остен,
Дранг нах Остен,
Хотят ли русские войны?
Не мы ли будем в девяностых,
Отчизны
верные сыны?

Поэтика стихотворного соцарта, как и его живописной параллели, исходила из специфического сюрреализма нашей действительности, из далеко отошедшего от нормы особого способа мышления того существа, которое сегодня принято именовать «гомо советикус».

Дорогая, разденься до пояса
Отклони кружева алый шелк и парчу
Давай покажем Егору Кузьмичу
В чем залог оптимизма советского
общества
В чем его неистребимые преимущества?
Правильно.
В доверии лечащему врачу.

Н. ИСКРЕНКО

О страна моя родная
Понесла ты в эту ночь
И не сына и не дочь
А тяжелую утрату
Понесла ее куда ты?

Д. ПРИГОВ

Цитаты — перефразированные и прямые — из Пушкина, Некрасова, Тютчева, Светлова, Михалкова, Евтушенко, из газетных передовиц, лозунгов легко понимаются слушателями и читателями. Прием центонной поэзии, которую очень часто используют эти поэты, был нужен и для того, чтобы очистить, оживить затасканные, затертые от частого употребления образы классической поэзии, высмеять и разоблачить вранье лозунгов и газетных статей о нашей самой лучшей жизни, самой лучшей литературе, самых лучших тружениках.

Стоит на страже часовой
Он склад с горючим охраняет.
О чем он в этот миг мечтает
Своей могучей головой?

Картины мирного труда
Пред ним проходят чередою
Вот он несет ведро с водою
Чтоб его напоить стада.

И. ИРТЕНЬЕВ

Несмотря на «групповое разделение», клуб «Поэзия» активно использовал устные выступления, что в немалой степени способствовало и клубной, и личной популярности поэтов у слушателей не только в Москве, но и в других городах страны. Читатели же у клуба появились лишь недавно: в последние два-три года многие члены клуба смогли, используя некоторую либерализацию издательской политики, опубликоваться в альманахах и сборниках. У некоторых — Иртеньева, Пригова, Арабова, Кибирова, Еременко — вышли небольшие сборники стихов. Ныне клуб «Поэзия» собирается нечасто, примерно один раз в месяц. Многие поэты из группировки «Эпсилон-салон» (Кацов, Бараш) эмигрировали из России; члены «Задушевной беседы», например, Пригов, добившись к 50-ти годам признания, получили возможность работать на Западе; иные разочаровались в такой форме поэтического и личностного общения. Наиболее сохранившейся оказалась группа «Третье объединение» (видимо, сказалось цементирующее женское влияние — ведь «душой» клуба «Поэзия» Андрей Вознесенский назвал Нину Искренко). Иногда они собираются для проведения так называемых акций, что совершенно в духе этого клуба, его соцартовской направленности. Например, недавно была осуществлена «заключительная акция по подведению итогов коллективного бездействия». Стоя в огромной очереди в московский «Макдональдс» (где потом прошла акция по приему столь трудно добытой пищи), надо было заполнить обычные с виду, но полные ядовитой иронии опросные листы. Через подобные акции поэты пытаются донести до публики — любой — исповедуемую ими поэтическую эстетику в духе хэппенинга, переводя ее, по сути дела, в форму изобразительного, пластического действия-события.

Несмотря на опасность сближения политики и искусства, чему примером — история отечественной культуры, художнику, декларирующему, как Иван Ахметьев: «Не нам разбивать бетонные стены; наше дело расти» и желающему уйти в область «чистого» творчества, в стране, предельно политизированной и привыкшей даже самые банальные проблемы выражать языком политического жаргона, сделать это не удается. Русская поэзия волей-неволей исполняет свой гражданский долг. Ведь, «прорастая через трещину в бетоне» и даже не разбивая стен, она их, как бы там ни было, расшатывает.

Довольно часто поэтов «Новой волны» называют поэтами-авангардистами, одновременно порождая неопределенность применения этого термина. Несмотря на это, в каждом конкретном случае можно установить принадлежность поэта к авангарду. По определению Максима Шапира («Даугава», 1990, № 10), «главное здесь — действенность искусства, и оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию человека со стороны». По моему мнению, большинство поэтов, о которых здесь говорилось, относится к современному поэтическому авангарду, несмотря на использование некоторыми из них традиционных стихотворных форм.

Завершая свой рассказ о московских поэтических клубах 1980-х годов, мне бы хотелось отметить, что именно они стали теми оазисами творческой свободы, экологическими нишами живой неподцензурной литературы, где существовал, выживал и развивался поэтический андеграунд. Клубы компенсировали своим членам то, чего они были лишены в рамках официальной литературной жизни: и возможности членства в Союзе писателей, и творческого общения, и выхода на слушательскую аудиторию, где восполнялся дефицит печатного слова.

Сейчас существуют другие клубы — «Кипарисовый ларец», «Вита лонга», «Этап»,— где группируется новое поэтическое поколение со своими мыслями, стремлениями и целями, иногда даже с отчетливо выраженной меркантильностью. Среди членов этих объединений, несомненно, есть яркие личности — Лена Ловер, Александр Орлов, Наталья Данциг, Татьяна Риздвенко. Ход их мыслей отличен от мыслей предыдущей генерации, мир образов совсем иной.

в земляничном животном не очень
понятном азарте
мы живем этот год
мы Америку ищем на карте
тормозим но на старте
мы азартно проказим
мы охотно способствуем связям
платонизменным
низменным
плазменным
хорошо не маразменным
связям
кого хошь приукрасим
кого хошь в черный цвет перекрасим
мир прекрасен вообще, но вот этот
конкретный — ужасен

Татьяна РИЗДВЕНКО

Но это уже другой рассказ, посмотрим, что принесут нам 90-е годы.

●

Из будущих книг

Евгений КАМИНСКИЙ

Женщина с веслом

Нет, не Бастилья — женщина с веслом,
почти крылом (где только раздобыла?),
идет, покорна времени, на слом,
как старый пес цепной идет на мыло.

Идет, про светлый путь еще трубя,
от головы до пят вся — показатель,
вся долг и цель... И гадко ржет предатель,
что заложил, невинную, тебя.

И в судный день державные верхи,
каменья собирая, бросить камень
в тебя спешáт нечистыми руками
и валят на тебя свои грехи.

Стерпи во имя сына и отца.
Помилуй их, в окне иная эра,
что ждет от них счастливого конца,
как ждут «Всегда готов!» от пионера.

Прости за то, что виноватых нет,
что фарсом отдает финал бульварный,
где на тебе сошелся клином свет,
отбив башку и номер инвентарный.

* * *

Ах соседи — счастливцы! Не видят, что дело — табак.
Им как будто плевать, что зима надвигается мрачно.
Их растущие дети в потемках ругаются смачно
и под вечер толпой для начала гоняют собак.

Надвигается ночь, и ложится воистину мрак
на веселый народ, на соколиков теплых ораву,
что, взалкав человечинки, цепью идут, как в облаву,
в тихий сад городской, приготовив «перо» и кулак.

Просто так, а не то, что в герои попасть норовя,
под разгул соловья захмелевшее в дым поколенье
в темном месте собрату по крови пускает кровя,
укрепившись в безверье, не зная ни капли сомненья...

Упаси меня Бог усомниться в тебе на мгновенье,
но ужели душою вот эта покинута плоть
и народ сей безумный тобою оставлен, Господь,
в помутненном рассудке, в звериной его разуменье?

Ну, воздать за хулу, за бессовестно лающий рот.
Ну, за алч наказать... Но, цепной уподобив собаке,
без любви, без надежды, без веры оставить народ?!
Не покинь его, Господи, трижды слепого во мраке.

Не оставь в этой тьме, где безумцем свистит соловей,
в ледяных временах, где безвременье холодом свищет.
Выжги плоть его грешную, пепел сурово развей...
но прими его душу, согрей ее над пепелищем.

Лена ЛОВЕР

Комсомольская площадь

почему непременно вокзал и играть на гитаре
про вокзал и про в-термосе-чай и про мать-перемать
и глаза золотить спецраствором в бутылочной таре
по перрону бежать голосить уезжать провожать

площадь в центре Помпеи безумия пепла и дыма
распроклятый острог суматошный слоеный пирог
разносящий свое окаянное семя и имя
по железным по ржавым попиленным венам дорог

выпить в-термосе-чай эликсир откровений помои
скорлупу с переполненных ребер содрать искромсать
и в мочой провонявшем прокуренном тамбуре стоя
в межвагонный летящий гремящий Аид побросать

где на рельсах на шпалах истертых изгаженных впалых
все заядлые самые самоубийцы легли
в мир стоящий на трех непутевых бедовых вокзалах
посреди океана пустой и унылой Земли

Серебряный холст

1

Смотри — идет работа не за страх.
Уже сомкнулась сфера грозовая,
и застывает время на губах,
дыхание почти перекрывая.

Смотри — не видно верного пути,
и мечутся, уйдя из-под контроля,
безумные штрихи на белом поле,
которым общей точки не найти.

2

Неведом сон, приснившийся под утро,
как тайна моря в бликах перламутра,
в чудесно освещенной темноте
волшебное движенье силуэтов —
священных кошек,
сказочных атлетов,
набросков на серебряном холсте,
все ближе, ближе,
и опять —
пейзаж,
где единицы времени свободно
стоят, как рыбы в реках полноводных,
шумит подлесок в утренних дубравах,
и затерялся
где-то в сочных травах
теперь уже не нужный
карандаш.

Денис НОВИКОВ

Т. Кибирову

* * *

Мы не вселенского, мы ничего, областного,
наши масштабы до той вон горелой березы.
Свяжется как-то, уцепится за́ слово слово,
тут и прихватят врасплох его наши морозы.

Мы кулики на болоте своем куликовом.
Этот шесток я в любом состоянье узнаю.
А перехожим каликам скажу: «Далеко вам,
если и впрямь подались к голубому Дунаю,

к Тибру надменному и легкомысленной Сене.
Не оставляйте в дороге вещей без присмотра.
Здесь мужики изъясняются бегло по фене.
Бабы нарочно таскают порожними ведра.

Коли воды зачерпнете Дуная и Тибра,
так самоходное вспомните слово с мороза,
нас, домоседов, районного скальдов калибра.
В проруби нашей дунайская выплывет роза».

Светлана ЗАГОТОВА

* * *

Не протестуй! Тебя родят.
Не спрячешься! Тебя родят.
Ты обречен! Ты обречен!
Доставит в жизнь тебя Харон

или другой, если не он.
А здесь хорошо. Тебя еще нет.
Здесь так хорошо. Тебя еще нет.
Тебе хорошо. Тебя еще нет.
Родись, родись, скорей родись.
Смирись, смирись, со всем смирись.
А станет жизнь тебе мешать,
аутотренингом займись.
Ах, хорошо!
Жить хорошо!
Шок — хорошо!
Смог — хорошо!
Рок — хорошо!
Рак — хорошо!
Ток — хорошо!
Так хорошо!
Умеешь писать — записывай:
Жизнь так удивительна и прекрасна.
Умеешь говорить — всем расскажи —
Жизнь хороша!
Красны девицы хороши,
Красны маки,
Красны флаги,
Красны пашни.
Кровью пахнет.
Смехи. Вздохи.
Страхи. Маты.
Ароматы. Ароматы.
Пахнут пухлые творенья.
Пахнет смиреньем, как сиренью.

* * *

Закатилась страна, как луна,
за тучу,
за красивую тучу,
за самую лучшую тучу в мире.
Есть мнение — это затмение.
И вскоре она
сверкнет несказанно,
привычно, желанно.
Только заменит свой желтый,
как жалкая старость, цвет
на зеленый
и больше не будет рядиться —
омолодится.
А рефлексующий народ
на зеленый свет пойдет...
А мне страшно.
Мне ночью всегда страшно,
даже при лунном свете.

Как держать молоток

У стола поехала крыша.
Стул сломал ножку.
У меня никакой сноровки,
и муж по командировкам.
Мало для вас значимая,
гвозди в себя вколачиваю.
Нечего пялиться,
забросив пяльцы,
хватаю пальцами
молоток да палицу.
По лицу слезы ручьем.
Ничего, попьем.
Попьем, попоем.
Эх, молоток, ты что ж, молоток?
Молока б глоток,
а тут слез поток.
И кран потек.
Потек мой дом,
что проку в нем?
Проклинаемом, промокаемом.

Молоток, молоток..
У соседа потолок взмок.
А когда-то в давнину
он молотком убил жену.
Сижу и жду — настанет срок,
зайдет ко мне на огонек.
Я — оголенный проводок.
Я — ток, я — несмышленый ток.
И даже знаю я про то,
как держать молоток.

Век ужасов

Красавчик Ужас!
Как уснешь?
Прижмет — не вздохнешь.
Два черных озера — очи —
музыка ночи.
«Спи, сыночек...
Дядя этот не дурак.
Дядя снимет черный фрак
и не станет тискать маму.
Спи, мой маленький, усни».
Красавчик Ужас!
Рубашка белая,
манишка-кружево.
Стой! Запишу!
Я оголтелая,
жена я мужева
в объятьях Ужаса
любви ищу.
Тоска к тоске — закатим смерч.
Рука в руке — станцуем смерть.
Погаснет старая Луна.
После нас — хоть Весна!

Стелла МОРОТСКАЯ

* * *

Когда ты пришла в мой дом
Принесла в него новый запах
Сменила на окне занавески
Передвинула в комнате кресла
Заварила по-своему чай —
Я тебе ничего не сказала.

Когда ты отняла у меня сына
Изменила его одежду
Научила своим словам
Переделала его привычки
Оградила от моей заботы —
Я тебе ничего не сказала.

Когда ты родила ему сына
Назвала его странным именем
Воспитывать стала мудрено
Маленького моего сыночка
Светлую головку, карие глазки, теплые ручки, смуглую спинку
Я подумала
Вырастет мальчик
И она придет к тебе в дом
Готовься, делись, плати
За свою любовь.

Я подумала...
...Я тебе ничего не сказала.

Наш дорогой соотечественник

Оказывается, он живет рядом с нами, среди нас! О чудо! О диво дивное! Слезы умиления навертываются на глаза, как подумаешь, что в то время, когда все — туда он — оттуда, уже многие годы здесь, среди нас, на своей всегда исторической родине, и — тихий незаметный, мужественный — борется с трудностями нашей жизни и смерти. Глубокая эрудиция ученого и причудливая фантазия поэта, насыщающая его творения, разбросанные там и сям по страницам печати, снискали ему заслуженную, хотя и тайную всенародную славу. Тайную — потому что весь период от раннего застоя до позднего принужден он был скрывать свое подлинное имя, а также имена своих достославных предков, подписывая свои разнообразные сочинения мало что значащими звукосочетаниями. Но час настал — и на Конгрессе так вовремя съехавшихся соотечественников многие дальние родственники и друзья, давно безутешно оплакавшие его трагическую гибель в морской пучине (слухи, все слухи!), смогли обнять его и прижать к своему конституционно-монархическому либерально-патриотическому горячему сердцу. Слава Богу (пусть только кто-нибудь попробует написать с маленькой буквы!), пришла, наконец-то, пора срывания всех и всяческих масок, вуалей и забрал и теперь мы смело называем столь редкое, но так исконно по-русски звучащее имя — и говорим: Алекс Сэндоу, дорогой соотечественник, позволь представить тебя, брат нашим читателям, и до поверят они в тебя, как поверили мы, и да возрадуются и посмеются слову твоему.

Алекс СЭНДОУ

О себе

Я был зарожден 1 апреля около 1916—17 года (точно не установлено) в Леннингтоне (Старая Зеландия). Там я и родился. Но оба моих прадеда были русскими. В середине прошлого века два молодых человека — сочинитель Зорский-Утренев и юнкер Шмидт — отбыли из Петербурга на Маркизовы острова, намереваясь построить там коммуну. О своих успехах они рассказывали мало, но так как, с одной стороны, их не съели, а с другой — Маркизовы острова до сих пор не стали коммунистическими, я полагаю, что частично их опыт был удачен, частично — нет. Точно известно, что к 1870-м годам они обосновались в Леннингтоне, соединясь семейными узами с коренными старозеландками. Сын Зорского женился на дочери Шмидта, а их дочь вышла замуж за сэра Майкла Сэндоу, следствием чего явился я. В семье говорили как на старозеландском спэрроу, так и на русском, много рассуждали о России, отчего с детства во мне жила русская идея. Поэтому, несмотря на то, что к 37 годам я имел порядочное место доцента Леннингтонского университета по кафедре истории редких литератур, несмотря на то, что старозеландские издатели охотно печатали как мои ученые комментарии к произведениям писателей прошлого, так и всякого рода безделки в стихах и прозе, я отважился в 1953 году отправиться в дальнее путешествие, пересечь тайно границу и поселиться под чужим именем в Москве. Хуже всего, что мне здесь понравилось. Старозеландцы умрут от стерильности, сытости и покоя, а Россия — никогда. Это очень родственно моей душе. Всякое, конечно, бывало, но в целом я доволен, хотя, разумеется, пожить год-другой по-человечески где-нибудь в родном Леннингтоне или в О-До я не отказался бы.

В России я стал сочинять по-русски и перевел на русский некоторые из своих старозеландских вещей, но до сих пор не публиковал их, удовольствуясь кругом немногих родных и близких, коих, впрочем, за время моей жизни в России появилось немало. К тому же я несколько смущался преждевременно раскрыть свое настоящее имя и происхождение. Нынешние свободы позволяют это сделать. Но к публикации выбранных мест окончательно подтолкнула меня статья некоего А. Розина в ежегоднике «Памятные книжные даты. 1991». Статья лестная, ничего не скажу, спасибо; но почему-то я назван в ней ново-, а не старозеландским автором и утверждается, будто я, покидая родину во время оно, уплыл на остров Папуа, причем на собственной яхте. Да у меня и яхты никогда не было! Была, конечно, небольшая шхуна с прицепным ледоколом — на случай плавания в полярных водах, но ведь шхуна — не яхта! Только в России можно услышать такое... Однако я благодарен А. Розину за явный абсурд в указании места моего пребывания — его ошибка невольно принудила меня впервые за долгие годы подписаться публично собственным истинным именем.

Пушкин

«Ну что ж? — Убит!.. Черт догадал!.. Всюду мрак... Все кончено... В гробу навек... Под грудь он был навылет... Чадо света... Цвет столицы... С безнравственной душой... Вижу тебя я там, куда мой падший дух не досягнет уже... Из раны кровь текла... Черт догадал!.. Зачем я пулей в грудь не ранен?.. Чего мне ждать?.. Застрелиться... попробовать... Плюнуть да бежать... Тоска, тоска... Боже! как грустна Россия!.. Цели нет передо мною... Не-ет! Легче посох и сума!.. Куда ж бежать?.. Душа полна тоской и ужасом... Убит?..— Убит... Слова, слова, слова... У гробового входа — жизнь... В мрачных пропастях земли... Черт догадал!..»

За ним приехали в девятом часу.

— По долгу моему...— начал вошедший.

— Я готов,— отвечал Пушкин.— Извольте.

Его доставили прямо к государю, несмотря на позднее время. Это было в среду, 27 января 1837 года. Дантеса, убитого на дуэли, похоронили в пятницу 29-го. В тот же день вышел указ о высылке Пушкина в Соловки — на покаяние, без права возвращения до именного повеления. Сочинения, написанные им в Соловецком монастыре, суть таковы: «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Война и мир», «Преступление и наказание», все рассказы Чехова, речь Достоевского о Пушкине, а также много чего еще. Он прожил до ста одного с лишним года и на своем столетнем юбилее, лысый и в очках, со сморщенной черепашьей кожей на голом сплющенном темени, сидел, потрясывая слегка головой и похлопывая редкими ресницами. Казалось, он ничего не понимал — ни приветственных речей, ни звуков юбилейного оркестра, ни оваций публики. А он все-е понимал, и только одно неясно было ему: что такое Пушкин?

На супостатов. К Нэмзэру

В молодые годы былые
Помню битвы твои удалые
Против гнусных глупцов, педантов,
Псевдо-гениев, лже-талантов,
Против неучей древних и новых —
Городничих и хлестаковых.
Помню, падали стены с треском
При рычаньи твоем нэмзэмэрзком,
Помню жертв твоих вопль унылый,
Помню в лицах их ужас застылый.
Но прошла боевая младость.
Где твоя лихая удалость?

Не вонзаешь зубов в супостата,
Как бывало прежде когда-то,
Ни дурных не крошишь диссертаций,
Ни чужих не бьешь репутаций.
Долго я гадал: что за странность?
Отчего такая гуманность?
Где былой оскал крокодила?
Наконец меня осенило:
Ты не трогаешь дураков,
Сберегая эмаль клыков!
Но на дне души крокодил
У тебя живет, как и жил!

Из переписки с О. Проскьюреном

Со старозеландского

Любимец аонид, наперсник нежных граций,
Скажи, Проскьюрен, мне без долгих декламаций,
Зачем который год бежишь от ямбов ты
И к рифмам у тебя не тянутся персты?
Согласен: ты был прав — ты муз оставил ради
Того, чтоб одолеть, к общественной усладе,
Непросвещенья зло. Ты победил его!
И разум чист у нас, и дышится легко.
Но стоило ли жертв? Во имя Аполлона
На жизнь, мой друг, взгляни! Нельзя смотреть без стона!
Глупцы побиты. Да. Зато и сами мы,
Ученостью пленясь, сдаем свои умы —
За-ради ста рублей — сдаем внаем, Проскьюрен!
Ведь как живем — кошмар! Хорош ли текст, халтурен
Иль вовсе ни на что не годен — наплевать,
Тисненью предаем (сюда бы рифму взять
Какую — ясно всем)... Не то бывало прежде...
На Сходне жил тогда я в сладостной надежде
Твой прочитать ответ на мой заветный стих...
Блаженны времена!.. Торжественен и тих
Был мой покой тогда: скреблася мышь за печью
(А может, за стеной); завороженный речью

Свободною твоей, я забывал о том,
Что вьюга на дворе, что снег метет кругом
И в стекла буйно бьет, и в щели лезет, тая,
За форточку попав. Я забывал, читая,
Что воет ветр ночной и что я сам устал.
Мне было холодно, но я душой пылал!
Цезуры тишина и женских рифм движенье
Заворожали так, что был от восхищенья
Я нем и недвижим... Блаженны времена!..
А снег кружил сильней и падал прямо на
Заборы, дерева, столбы, дома, сараи,
Сугробы громоздил, резвяся и играя...
Я зрел его в окно. Но думал о другом:
В иные времена, когда-нибудь потом,
Что скажет о тебе небрежный наш потомок? —
«Вот тот-то был поэт. Жаль, голосом негромок».
Из закордонных стран что засвистим в ответ? —
«Да, голос — не труба. Но то-то был поэт!»

На кой же надобно такое просвещенье,
Когда его вменить нам можно в осужденье?!
И скоро ль наконец, очнувшись и прозрев,
Для звуков и молитв отверзнем мы свой зев?

ИЗ СБОРНИКА «НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА»

Мечта

1-й вурдалак: — Здравствуй, братец, как живешь?
2-й вурдалак: — Ничего себе.
1-й: — Так что ж
хмуришь лоб
и супишь брови?
2-й: — Мысль решаю: жажду крови
чистой, свежей, как слеза.
1-й: — Чтоб повылезли глаза?
2-й: — Нет. Хочу отведать деву —
на примете есть одна.
1-й: — Чай, влюбился? Худо дело!
2-й: — Выпью всю ее до дна!
1-й: — Не губи души своей!
Аль ты сам себе злодей?
Будет заворот кишок!
2-й: — Нет. Хочу ее, дружок;
надоели мне старухи,
силачи-богатыри,
пусть пиявки пьют их, мухи
да лесные упыри.
Нет мне боле упованья —
страсть снедает сердце мне:
завтра, завтра с ней
свиданье
проведу наедине;
сумрак ночи лишь затянет
свод небес, проникну к ней;
на молитву дева станет,
станет взор ее ясней —
чище речки родниковой;
отойдет она ко сну;
тут, согнув свой рот
подковой,
я к плечу ее прильну...
Сон твой, дева, будет долог,
и, когда блеснет сквозь
полог
луч денницы золотой,
буду рядом я с тобой.

ИЗ «ДЕТСТВА И ОТРОЧЕСТВА»

* * *

В начале жизни детство помню ясно:
как на прогулку за руку водили,
как за обедом рыбий жир я кушал
и как кефир давали из стакана;
ходил я в школу много лет исправно,
спал на уроках, бегал в перемены
и в час недобрый уронил, столкнувшись,
директора; очки его разбились,
портфель упал, а галстук развязался;
он мне сказал, что очень жаждет видеть
моих родителей. Но я их пожалел
и вдаль ушел искать тех мест, где нету
ни школы, ни директора — и долго
я странствовал, пока на то же место,
где сорок лет назад беда случилась,
я не вернулся; и узнал я место:
бурьян высокий рос там, я раздвинул
его и обнаружил, что у корня
травы сидит директор в кабинете
и ждет моих родителей; и в страхе
бежал я вновь, объят тоской бессилья.

ИЗ ЦИКЛА «ТАРАКАНЬЕЙ ПОБЕЖКОЙ»

Тяжелые времена. Элегия

Куда ж он пропал?.. Не поймешь — радоваться или нет... Точнее — поймешь, да не сразу. Потому что радоваться нечему... Добились, называется, освобождения... Все-таки счастье — это не свобода, а привычка. Есть Федор Зуев — есть смысл в этой жизни. Кубок, так сказать, пьешь. Выйдешь ночью и чувствуешь прилив самосознания — хозяином себя ощущаешь!.. А потом — тихо-тихо — в шкап — пировать. А нету Федора Зуева — пиши пропало. Дрянь сплошная. Хоть днем вылезай — все равно жрать нечего... До сих пор была цель — борьба. До конца борьба. За свободу. Теперь нет цели. Теперь два выхода: или — иди на серединку стола, ложись и мри, или — убирайся к соседям. Больше некуда. На дворе мороз, сразу в снег встынешь... А раньше-то как жили... Тогда к Федору Зуеву другие федоры зуевы приходили... Мы из блюд питались... А когда наешься до отвала — а жрать еще полно: весь стол в недоеденном, бывало, на ночь оставался — наешься, значит, до отвала — и куражиться идешь. Выйдешь, бывало, в комнату и начнешь край обоев шелушить над ухом Федора Зуева. Шелушишь-шелушишь — слышишь: просыпается... Встает. Тапочек ищет... К выключателю идет... А ты из щели на него смотришь. А он думает, что ты в кухню ушел. Туда идет... Там свет жжет... Походит-походит, опять ляжет. Ты опять шелушишь. Он опять встает. Опять тапочек ищет... Визжал, помнится, пронзительно. Ногами топал... И говорил громко... Но под утро валился от усталости. Тут уж знаешь: все! — больше реагировать не будет. Тогда возвращаешься опять к столу, лужицу какую-нибудь допиваешь — и в нору. Там — тепло, хорошо, темно. Кто усы, кто лапки чистит, кто над приплодом трудится... Ох ты, Господи... Тяжело, однако... Мерещится всякий вздор — будто умер Федор Зуев или раздавил его кто, не дай Бог, конечно. Тьфу, тьфу, тьфу... Какой смысл тогда, что мы сидим тут и ждем его... Видно, к соседям надо проситься... Противно, конечно. Сейчас щепетиться начнут. Куда?! Зачем?! Самим тесно! Все равно жрать нечего!.. Знаю я их... Да за что ж наказание такое?.. Пойти — посмотреть, может, чего где завалилось?..

Молитва

Господи! Чем я виноват перед ними? Чем?! Я ведь не клоп, не комар — я не пью крови ни у кого; я не муха — я не разношу бактерий; я не блоха — я не причинил боли ни одному человеку... Я никогда в жизни не заползал ни к кому в уши... Если бы я был мышь, то я знал бы, за что страдаю,— за крупу и за то, что мыши приносят чуму. Кроме того, у мышей зверинный аппетит, потому что они хищники. А у меня никогда не было аппетита — я ел только, чтобы не погибнуть голодной смертью... Господи! За что? Если бы я мешал им жить, или я бы был очень страшным, и у меня были бы метровые лапки и двухметровые усы!.. Но у меня ничего этого нет... Господи! Они, наверное, думают, что я приношу им в кухню инфекцию. Но даже крысам известно, что единственное животное, не имеющее иммунитета к болезням,— это таракан: мы сами можем заболеть... А я всегда был подвержен горячечным ударам, а они поставили меня в этом стакане на самое солнце... Господи! Ну, почему именно я? У меня нет еще никакого счастья, которое приходит к старым тараканам, у которых появляется вместо голода аппетит... Я еще не успел разобраться, чем на самом деле отличаются настоящие крошки от каменных... Господи! Помоги мне! Честное слово, я ничего не знаю... Я знаю только, где две мухи отложили свои яички... Одна вон там, сразу за краем стола, у стены, а другая в большой комнате, в ковре... Господи! Честное слово!.. Я знаю еще, где живет Моль... Это третья вешалка с левой стороны в маленьком шкафу. А в большом шкафу, в нижнем ящике, она отложила в этом месяце всех Молят... Она звала к себе позавчера двух Молей из соседней квартиры, но они были заняты и не пришли... Но они придут на днях, честное слово... Я покажу... А еще два раза к нам заходила незнакомая мышь со второго этажа, но она сказала, что здесь очень высоко и ей не нравится... Господи! Помоги мне! Я не буду брать лишнего, я не буду никогда ничего брать у Федора Зуева и у всех них... Я уйду из этой кухни... Я научусь летать и буду, как летучий муравей... Я улечу в лес и буду там питаться остатками брошенных консервов... Я научусь пить пыльцу... Я буду носить птицам жучков... Помоги мне!.. Господи!

Вид степей из-под города Козлова

Когда-нибудь, во время оно,
Здесь будет пустошь или зона.
Пока здесь солнце, небо, поле,
Трава блестит и дышит воля.

Рейхсвер и Советы — тайный союз

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТСКИХ АРХИВОВ

«...Где бы вы ни увидели людей, коими правит тайна, в этой тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что нечто слишком ужасно для глаза,— взгляните. Если он говорит, что нечто слишком страшно для слуха,— выслушайте. И если вам померещится, что некая истина невыносима — вынесите ее...»

Г. ЧЕСТЕРТОН.

Сейчас мы иными глазами смотрим на многие события и этапы нашей истории, стремимся переосмыслить истоки и тенденции своего исторического развития. До недавнего времени сделать это было куда как сложно, ведь важнейшие факты нашей истории были заключены в ГУЛАГ архивов и спецхранов. Из библиотек изымались неугодные издания, уничтожались храмы, иконы и другие материальные носители памяти. Тем самым они выключались из сознания народа. Прошлое для него умирало, переставало существовать.

Но и сегодня серьезным препятствием на пути историка к правде является архивное табу. В архивном деле продолжает царить запрет на публикацию самых ценных для постижения истины документов. Внедрявшаяся в течение долгих десятилетий, пропитавшая все поры нашего общества система секретности подорвала в том числе и источниковую базу исторической науки, выработала устойчивый рефлекс в сознании исследователей. Особенно сильно синдром запретности проявил себя в области изучения внешнеполитических проблем, где историки едва ли не по сей день руководствуются только официальными документами для открытого пользования.

Нам необходимо прорвать запреты в архивном деле. Архивы КГБ, КПСС, МИД, МВД, хранящие историю судеб миллионов обманутых системой людей, должны стать открытыми. И одним из таких маленьких прорывов в запретительном железобетоне является данная работа.

Мало кто знает, что германский рейхсвер в обход версальских запретов с 1920-го по 1933 год набирал силу на советской земле. В СССР в тайне от всего мира создавались совместные военные производства и объекты ведения химической войны, полигоны и школы. Здесь обучался цвет фашистской армии.

Возрождение германских вооруженных сил в Советской России остается одной из самых поразительных глав современной истории. Именно в СССР были в значительной степени заложены основы будущих наступательных вооруженных сил Германии, ставших в 1939 г. ужасом для Европы, а в 1941-м обрушившихся на нашу страну.

У истоков союза с рейхсвером в 20-е годы с советской стороны стояли высшие партийные и государственные деятели, известные военачальники: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, К. Б. Радек, М. В. Фрунзе, Н. Н. Крестинский, Л. Б. Красин, Э. М. Склянский, В. В. Куйбышев, Ф. Э. Дзержинский, И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, И. С. Уншлихт, Я. К. Берзин, Я. М. Фишман и многие другие.

С немецкой стороны — представители руководства страны и генералитета: Г. фон Сект, И. Вирт, У. Брокдорф-Ранцау, В. Ратенау, П. фон Хассе, В. фон Бломберг, фон Боккельберг, фон Гаммерштейн-Экворд и другие.

Именно эти фамилии наиболее часто фигурируют в ходе переговоров, в разного рода соглашениях, документах о связях РККА и рейхсвера. Поначалу встречи военных и политических руководителей двух государств предусматривали возможность установления контактов в случае конфликта одной из стран с Польшей, служившей опорой Версальской системы на востоке Европы. Далее сотрудничество России и Германии обрастало новыми идеями.

Одним из наиболее активных сторонников дружественных отношений с Красной Армией был генерал фон Сект. Он-то и начал практическую реализацию программы сближения с РККА. Русские, по мнению фон Секта, могли бы при необходимости обеспечивать поставки боеприпасов для рейхсвера и в то же время сохранить нейтралитет, если возникнут международные осложнения. Он видел в этом союзе возможности обойти наложенные Версальским договором военно-технические ограничения. К тому же Россия по меньшей мере теоретически

была в состоянии в случае войны на Западном фронте поставлять Германии нужные объемы марганца, молибдена, никеля, хрома, вольфрама и другого сырья.

В марте 1921 г. начался обмен мнениями о том, при каких условиях запрещенная Версалем немецкая военная промышленность может перебазироваться в Россию. И, как следует из доклада представителя РСФСР в Берлине меньшевика Виктора Коппа Троцкому, одновременно уже шли секретные переговоры о строительстве самолетов, подводных лодок, заводов боеприпасов.

Пасхальным воскресеньем 1922 г. как ударом грома Европу потрясло слово «Рапалло». Важнейшим результатом заключенного здесь между СССР и Германией договора стало советско-германское секретное сотрудничество. «Величайшая опасность в данный момент,— писал премьер-министр Великобритании Д. Ллойд-Джордж,— заключается, по моему мнению, в том, что Германия может связать свою судьбу с большевиками и поставить все свои материальные и интеллектуальные ресурсы, весь свой огромный организаторский талант на службу революционным фанатикам, чьей мечтой является завоевание мира для большевизма силой оружия. Такая опасность — не химера».

Рейхсвер получил право создавать на советской территории военные объекты для проведения испытаний техники, накопления тактического опыта и обучения личного состава тех родов войск, которые Германии запретил Версаль. Советская сторона получала ежегодное материальное вознаграждение за использование этих объектов немцами и право участия в военно-промышленных испытаниях и разработках.

Сотрудничество обеих сторон принимает разнообразные формы: взаимное ознакомление с состоянием и методами подготовки обеих армий путем направления командного состава на маневры, полевые учения, академические курсы; совместные химические опыты; организация танковой и авиационной школ; командирование в Германию представителей советских учреждений для изучения отдельных вопросов и ознакомления с организацией ряда секретных работ. Особо следует сказать о взаимодействии РККА и рейхсвера в трех центрах с кодовыми названиями: «Липецк», «Кама» и «Томка». В СССР проходили обучение Модель, Гудериан, Браухич, Горн, Крузе, Файге, Кейтель, Манштейн, Кречмер и многие другие.

24 января 1931 г., выступая в Обществе мирового хозяйства в старой Мюнстерской ратуше, фон Сект сказал: «Наши отношения с Советской Россией стоят в тесной связи с нашими надеждами на будущее».

13 мая 1933 года, уже после прихода фашистов к власти, на приеме у германского посла о стремлении и дальше поддерживать связи между «дружественными» армиями говорил Ворошилов. Во время беседы с немцами Тухачевский подчеркнул: «Не забывайте, что нас разделяет наша политика, а не наши чувства, чувства дружбы Красной Армии к рейхсверу. И всегда думайте вот о чем: вы и мы, Германия и СССР, можем диктовать свои условия всему миру, если мы будем вместе».

Однако история распорядилась иначе...

Т. С. БУШУЕВА,
кандидат исторических наук;
Ю. Л. ДЬЯКОВ,
доктор исторических наук

«В то время, когда невозможно было в самой Германии производить опыты с новыми видами оружия, а также осуществить подготовку офицерских кадров, Россия представляла большую ценность, как удобное место для опытов и учебы».

Генерал КЮЛЛЕНТАЛЬ

«Происходил парадокс за парадоксом: русские пустили немцев в свою страну для того, чтобы те развивали свое оружие и учились овладевать им, затем с его помощью едва не овладели этой страной, а в той обстановке сами немцы оказались учителями своих будущих победителей».

С. ХАФФНЕР, историк

РАЗВЕДСВОДКА. ИСТОЧНИК: ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО, 2-Е БЮРО[1]

6 апреля 1920 г. Варшава

Германо-советские отношения

По имеющимся сведениям, между Германией и Советским правительством в марте 1920 г. был заключен следующий договор:

I. Германия обязуется:

1. Оснастить русскую армию и промышленность, чтобы они могли противостоять англичанам в Азии и Польше.

2. Всемерно поддерживать Россию в ее мирных переговорах с западными державами.

II. Советское правительство обязуется:

1. Предоставить немцам в эксплоатацию шахты, железные дороги, каналы и крупные предприятия.

2. Поддержать Германию в случае конфликта.

Подлинный текст был подписан Лениным, Троцким и Чичериным, с одной стороны, и Носке, Эрцбергером, Бауэром — с другой.

Копия этого документа была куплена за 18 000 ливров одним английским агентом, прислана в Варшаву и переправлена со специальным курьером в Английское Министерство иностранных дел. Из того же источника число немецких инструкторов в России достигает 20 000; они приезжают обычным морским путем из Штеттина.

Внимание! Военное министерство Польши указывает, что они получили эти

---

[1] Военное министерство, 2-е бюро — разведывательный орган польского военного министерства.

сведения от одной английской личности, и передает их «под вопросом» и просит сообщить, если возможно, насколько это является достоверным.

Госархив. Осн. ф. 1703. ОП. 1. Д. 441. Л. 80.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, ТОВАРИЩУ ЛЕЖАВЕ [2]

20 августа 1920 г.
Почто-телеграмма № 791

Политбюро решило немедленно заключить сделку на оружие, предлагаемую т. Уншлихтом [3]. Вам необходимо сейчас же, не теряя ни одного часа, сговориться с т. Оболенским [4], чтобы под его ответственностью была переведена необходимая сумма (двадцать семь миллионов марок) через Гуковского или Коппа [5]. Дело в высшей степени важное и срочное. Практическое проведение его возложено Политбюро на Вас и т. Уншлихта, отправка денег на т. Оболенского.

Предреввоенсовета Троцкий

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3 Д. 52. Л. 383.

ИЗ ПРОЕКТА ПЛАНА ПОСТАНОВКИ АГЕНТУРЫ В ГЕРМАНИИ [6]

1920 г.
Совершенно секретно

Германия требует всестороннего обследования не только в дипломатическом и политическом, но и в военном и в экономическом отношениях. <...>

3) В военной сфере необходимо выяснить действительные силы Германии, как предусмотренные Версальским договором, так и созданные или создаваемые в обход его, в виде различного рода обществ и организаций внутренней охраны, стрелковых, гимнастических и т. д. Количество лишь номинально числящихся в запасе офицеров и унтер-офицеров. Далее необходимо выяснение вооружения частей и различных организаций военного характера, степени обученности и дисциплинированности последних, запасы оружия и снаряжения всякого рода, имеющегося налицо в Германии, место расположения складов, а также и степень производительности фабрик. Важно также выяснение настроения частей, возможности их использования для внутренних целей и для внешней борьбы, секретные мобилизационные планы на случай войны, фактическое положение обучения молодежи военному делу (в связи с Версальским договором), настроение офицерства и влиятельных военных сфер, то или иное воздействие на них политических кругов (монархических) и значение этого в качестве политического фактора. <...>

Необходимо выяснение точного количества военнопленных из России, их состав, место расположения лагерей, состояние, настроение, агитация реакционных русских кругов и степень поддержки последней современным Германским правительством, правительственными агентами, влиятельными монархическими кругами и представителями Антанты. <...>

6) Провоз через территорию Германии тех или иных грузов для Польши, Чехословакии или Украины, переброска формируемых русских или украинских частей в этих направлениях.

7) Возможность изготовления военных заказов в Германии для нужд ее соседних государств. <...>

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 25. Л. 93—95. Копия

СПРАВКА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБМЕНА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ *

(с мая 1925 г. по январь 1926 г.)

I. Из наиболее ценных материалов **нами получены:**

1. Варианты развертывания польской армии (по данным рейхсверминистериума к весне 1925 г.) Материал ценен; в основном подтверждает наши соображения.

2. Организация артиллерии польской и румынской армий. Наличие запасов материальной части артиллерии румынской армии.

3. Численность польской армии военного времени (число дивизий) и сроки мобилизационной готовности (по данным рейхсвера).

[2] Лежава А. М.— зам. наркома внешней торговли.

[3] Уншлихт И. С — член РВС Западного фронта, член Временного польского ревкома. С 1921 г.— заместитель Председателя ВЧК (ГПУ). 20 августа 1920 г. Троцкий по прямому проводу шифром сообщал ему: «Сделка одобряется, то есть Лежаве дано поручение немедленно перевести деньги. Спешите закончить операцию». Наряду с этой телеграммой имеется и такой документ: «Золото Вам будет доставлено в германских марках, частью в английских фунтах стерлингов». В этот же день Уншлихту направлена еще одна телеграмма: «Совершенно секретно. По прямому проводу (шифром). Вызвать Уншлихта. В дополнение к моей телеграмме № 790 сообщаю: присылка золота указанными Вами путями крайне затруднительна. Имеете ли Вы сами возможность непосредственно передать золото в слитках поставщику? Имеете ли также возможность с надежными людьми отправить другую партию к Коппу? Троцкий».

[4] Оболенский Л. Л.—представитель РСФСР в Польше.

[5] Гуковский И. З. и Копп В. Л.— меньшевики: последний — представитель РСФСР в Германии, позднее работал в НКИД с М. М. Литвиновым. Речь идет о поставках золота и денег из России (через Польшу) в Германию соответствующим ведомствам.

[6] Документ разработан Регистрационным управлением полевого штаба Реввоенсовета республики. По сообщению его начальника В. Х. Аусема, с декабря 1918 г. по январь 1920 г. на разведывательную работу израсходовано около 6000000 руб. Число агентов составляет 285 человек (ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 25. Л. 98).

* Между РККА и рейхсвером.

4. Состав румынской армии военного времени (по данным рейхсвера).

5. Военные и политические сведения по Турции.

6. Штаты частей рейхсвера.

7. Две секретные инструкции польской армии (по технике мобилизации и по части снабжения).

Кроме того, был передан целый ряд малоценных материалов. II. Нами переданы следующие важнейшие материалы:

1. Развертывание польской армии по данным Разведупра (вариант: война Польши против Германии при нейтралитете СССР).

2. Организация чехословацкой армии мирного времени.

3. Мобилизационные указания польской армии на 1924/25 г. (о технике проведения мобилизации).

4. Две инструкции польского Генштаба о призыве резервистов на повторное обучение.

5. Сведения о Красной Армии по данным тов. Стигги (численность, организация, территориальные дивизии, организация разных родов войск).

6. 27 фотоснимков маневров Красной Армии в Ленинградском Округе.

III. Общие впечатления.

Примерно до XI месяца немцы не давали нам более или менее ценных материалов (за исключением вариантов развертывания польской армии, переданных в мае).

После Локарно следует отметить, что передаваемые материалы стали более доброкачественными.

Однако осязаемых реальных результатов обмен разведматериалами не дал ни нам, ни немцам.

Начальник Разведывательного Управления Берзин,
Начальник Информационно-статистического отдела Никонов.

ЦГАСА. Ф. 33988. ОП. 3. Д. 78. Л. 31, 32. Подлинник.

БЕРЗИН. ДОКЛАД «О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РККА И РЕЙХСВЕРА»

24 декабря 1928 г.
Москва
Совершенно секретно

Переговоры о сотрудничестве между РККА и рейхсвером, насколько мне известно, начались еще в 1922 г. (точных данных в IV управлении не имеется). Переговоры в то время велись членом РВС Союза тов. Розенгольцем и после длительного обмена мнениями осенью 1923 г. приняли конкретную форму договоров:

а) с фирмой Юнкерс о поставке самолетов и постройке на территории СССР авиазавода;

б) с командованием рейхсвера о совместной постройке завода по выделке иприта (акционерные общества «ВИКО», «Метахим», «Берсоль»). Далее в 1924 г. через фирму «Метахим» был принят нашей промышленностью от рейхсвера заказ на 400 000 снарядов для полевых 3'' орудий [7].

Вышеуказанные договоры (с фирмой Юнкерс и договор по постройке ипритного завода) не дали для нас положительных результатов. Фирма Юнкерс не исполнила взятые на себя обязательства по поставке нам металлических самолетов и завода не построила. Договор поэтому был расторгнут в 1926—1927 гг. Договор о совместной постройке ипритного завода также пришлось в 1927 г. расторгнуть потому, что фирма Штольценберг, которой рейхсвер со своей стороны перепоручил техническое исполнение взятых по договору обязательств (поставка оборудования и организация производства), получив от рейхсвера около 20 милл. марок, фактически надула и рейхсвер, и нас. Поставленное Штольценбергом оборудование не соответствовало условиям договора, и методы изготовления иприта нашими специалистами, а впоследствии и немецкими, были признаны устаревшими и негодными.

Материального ущерба в этом деле не понесли, но потеряли почти три года времени, так как в надежде на строящиеся не предприняли меры к самостоятельной организации производства иприта.

Заказ рейхсвера на 3'' снаряды нами был исполнен, и снаряды в 1926 г. переданы немцам. Однако расчеты по этому делу (правда, по вине нашей промышленности) были закончены лишь в конце текущего года. Дело с этими снарядами, как известно, принесло нам большой политический ущерб, так как факт изготовления нами снарядов для Германии по вине самих немцев известен немецким социал-демократам, которые (насколько нам известно) с благословения Штреземана подняли против нас большую кампанию в прессе.

Таким образом, первый период нашего сотрудничества с рейхсвером нам никаких положительных результатов (я не говорю о чисто политической стороне дела) нам * не дал.

Начиная с 1925 г., когда уже ясно определились неуспехи с Юнкерсом и ипритным заводом, сотрудничество постепенно переводится на другие рельсы.

Если договорами 1923 года немцы, как видно из секретного письма командования рейхсвера от 7/I-1927 г. на имя представителя в Москве — Лита, немцы стремились стать поставщиками для нас в области авиации и химии и обеспечить за собой влияние на соответствующие отрасли нашей промышленности, то с этого времени они «более всего заинтересованы в том, чтобы вскоре приобрести еще большее влияние на русскую армию, воздушный флот и флот». Речь, как видно, идет о влиянии на организацию и тактическую подготовку нашей армии.

[7] Трехдюймовых.

* Так в тексте. Стиль и орфография документов сохранены.

В связи с этим немцы еще в 1925 г. соглашаются допустить 5 наших (на взаимных началах) командиров на свои тактические учения в поле и маневры, а в 1926 г. уже ставят вопрос о совещании по оперативным вопросам, с целью выработки единства оперативных взглядов.

В 1926 г. впервые допускаются наши командиры (тт. Свечников и Красильников) в качестве слушателей на последнем курсе Германской военной академии (академические курсы).

В том же году немцы заключают с нами договор об организации танковой школы в Казани и совместных газовых опытов в Подосинках («Томка»).

В настоящее время наши взаимоотношения с рейхсвером имеют конкретное выражение:

а) взаимного ознакомления с составлением и методами подготовки обеих армий путем командировки лиц командного состава на маневры, полевые поездки и на академические курсы;

б) в совместных химических опытах (предприятие «Томка»);

в) в совместной организации танковой школы в Казани («Кама»);

г) в авиационной школе в Липецке («Липецк»);

д) в командировании в Германию для изучения отдельных вопросов и ознакомления с организацией работ ряда представителей отдельных управлений (УВВС, НТК, Артуправление, Главсанупра и др.).

1. Переходя к оценке отдельных видов сотрудничества, необходимо сказать, что наиболее ощутимые результаты нам дают поездки нашего комсостава на маневры, полевые поездки и академические курсы в Германии. Путем изучения организации отдельных родов войск и постановки штабной работы, методов обучения и подготовки, а также течения военной мысли, наши командиры не только приобретают ряд полезных знаний, расширяют свой кругозор, но и получают известный толчок к изучению отдельных вопросов и самостоятельного решения их применительно к нашим условиям. Короче говоря, наши командиры, углубляя свои познания, приобретают так называемую «военную культуру». Пока для нас недоступны другие западно-европейские армии, эту возможность усовершенствования ряда наших командиров целесообразно и необходимо сохранить.

2. Существующие предприятия пока что нам реального дали немного. Наиболее старое предприятие — авиационная школа в Липецке до 1928 г. нами использовалась слабо. Эта школа организована немцами в 1923—1924 гг., имеет целью не только подготовку летного состава (летчиков и летных наблюдателей), но и опытно-исследовательские цели. Школа первые два года была материально слабо обеспечена, имела старые самолеты, и работа для нас особого интереса не имела. Начиная с 1927 г. школа стала работать, и наш интерес к ней возрос. Все расходы по организации, оборудованию и содержанию школы несут немцы.

3. Химические опыты в Подосинках, а затем в «Томке» дали положительные результаты, и продолжение этих опытов в течение ближайшего года Химуправлением признается целесообразным. Цель этих опытов — испытание новых приборов и новых методов применения ОВ (артилл., авиац., спецгазометы и т. д.), а также новые способы и средства дегазации зараженной местности. Расходы по опытам оплачиваются поровну.

4. Танковая школа в Казани до сих пор еще не начала функционировать; занятия в ней начнутся, по заявлению немцев, лишь с весны 1929 г., когда будут из Германии доставлены необходимые для школы танки. Пока что немцы в течение двух лет отстроились и оборудовали школьные помещения, мастерские и учебное поле. Из этого предприятия мы сможем извлечь пользу лишь с начала занятий, так как имеем право на паритетных началах иметь равное количество учеников. Оборудование школы и содержание, за исключением предполагаемых наших учеников, оплачивается немцами.

На организацию и содержание вышеуказанных предприятий немцы тратят крупные суммы денег, нам неизвестна точная цифра расходов (кроме прямых расходов на нашей территории по строительным работам и содержанию личного состава, нужно учесть еще расходы по оборудованию, которое полностью прибывает из Германии), но расходы по «Томке» (химические опыты) уже достигают миллиона марок, расходы по организации и содержанию танковой школы выше 500 000 марок, а расходы по Липецкой школе, считая оборудование, свыше миллиона марок. Если учесть прежние расходы рейхсвера в виде дотации Юнкерсу по линии сотрудничества с нами и потерю рейхсвером около 20 000 000 марок на деле Штольценберга (ипритный завод), то нужно сказать, что материальные затраты рейхсвера на «предприятия» в СССР весьма крупны и до сих пор не оправдывались теми конкретными результатами, которые дают эти предприятия.

Нет сомнения, что все немецкие предприятия, кроме прямой своей задачи, имеют также и задачу экономической, политической и военной информации (шпионажа). За что говорит хотя бы то, что наблюдающим за всеми предприятиями состоит такой махровый разведчик германского штаба, как Нидермайер. С этой стороны предприятия нам приносят определенный вред.

Но этот шпионаж, по всем данным, не направлен по линии добычи и собирания секретных документов, а ведется путем личного наблюдения, разговоров и устных информаций. Такой шпионаж менее опасен, чем тайный, ибо не дает конкретных документальных данных, а ограничивается лишь фиксированием виденного. Немцы имеют на территории нашего

Союза более чем достаточно людей, при помощи которых они могут организовать прекрасную тайную разведку, вследствие чего удаление с нашей территории номерных предприятий в смысле уничтожения немецкого шпионажа дает чрезвычайно мало.

До начала 1928 г. (приезд полковника Миттельбергера) отношение немцев к сотрудничеству было выжидательное и довольно прозрачно отражало все те колебания между востоком и западом, которые наблюдались в германской внешней политике. «Военное сотрудничество» с Советским Союзом для германской дипломатии было лишь козырем в переговорах с Францией и Англией. Однако с началом нового сближения между Англией и Францией (начало 1928 г.) и крахом немецких надежд на благоприятное для Германии решение репарационного вопроса и «рейнской проблемы» (очищение от французских и бельгийских войск рейнской зоны) отношение руководящих кругов рейхсвера к вопросу сотрудничества с РККА постепенно меняется. В СССР для ознакомления с РККА и изучения возможностей сотрудничества командируются такие ответственные лица, как зам. начальника Генерального штаба Миттельбергер, а затем и начальник Генерального штаба генерал Бломберг, во взаимоотношениях отмечается более дружественный тон, чем это было раньше. Конечно, сейчас еще рано говорить о серьезном длительном курсе на восточную ориентацию, но неудачи немцев в попытках договориться по репарационным вопросам и по вопросу освобождения от оккупационных войск рейнской зоны, очевидно, будут «восточную ориентацию» укреплять. Этим и объясняются новые предложения командования рейхсвера об «урегулировании и расширении» сотрудничества обеих армий, предложенные через Нидермайера и тов. Корка.

Конкретно эти предложения сводятся к следующему:

1. Замена личного состава предприятий, состоящего из офицеров запаса, квалифицированными офицерами активной службы в рейхсвере.

2. Открытие весной 1929 года танковой школы в Казани и доставка туда новых тяжелых и средних немецких танков последней конструкции.

3. Заключение договора о газовых опытах и расширение этих опытов. Доставка из Германии химических снарядов и 4-х полевых гаубиц для опытной стрельбы.

4. Присылка радиостанций для увязки работы танковой школы в Казани и Липецкой школы, воздушная связь между школами и проверка действия радиостанций на самолетах, на более далекие расстояния, чем позволяет липецкий аэродром.

5. Постепенное сближение морских штабов обоих государств путем поездки представителя наших морских сил в Германию или представителя германского флота в Москву, установление личного знакомства между ответственными руководителями обоих флотов, обсуждение некоторых общих проблем и т. д.

6. Контактирование разведывательной деятельности обеих армий против Польши, обмен разведывательными данными о Польше и встреча руководителей обеих разведок для совместного рассмотрения данных о мобилизации к развертыванию польской армии.

7. Совместная работа конструкторских сил в области артиллерии и пулеметного дела с использованием достижений в этой области как германской, так и нашей промышленности, при условии равноправного использования результатов этой конструкторской работы (предложение, переданное через проф. Шмица).

8. Продолжение взаимных командировок на маневры, полевые поездки, допущение наших командиров на последний курс военной академии рейхсвера, приезд нескольких германских офицеров для стажировки в наших частях.

Кроме того, фирма Юнкерс в частном порядке подняла перед нашим военным атташе в Берлине вопрос относительно возобновления своей работы в СССР; в частности, о постройке авиазавода на концессионных началах, свои предложения фирма Юнкерс согласна конкретизировать, если будет дан принципиальный ответ о нашем согласии на переговоры.

Резюмируя вышеизложенное, полагаю целесообразным:

1. Сотрудничество с рейхсвером в существующих формах продолжать.

2. В максимальной степени использовать возможность обучения и усовершенствования нашего командного состава путем посылки на последний курс немецкой академии, для участия в полевых поездках, маневрах и т. д. Равным образом практиковать отдельные специалистов для изучения способов и методов работы в отдельных отраслях военной промышленности.

3. Настаивать перед немцами на скорейшем открытии танковой школы и в максимальной степени использовать таковую для подготовки нашего комсостава танковых войск.

4. Впредь возможно широко использовать результаты опытных работ немцев в Липецкой школе, путем введения туда разрешенного договором количества наших учеников.

5. Продолжать химопыты, обусловив в договоре возможность отказа от дальнейших опытов тогда, когда мы сочтем это необходимым.

6. Предложение об установлении контакта между руководителями обоих флотов принять, ограничив этот контакт личным знакомством руководителей и обсуждением вопросов общего характера.

7. Предложение об обмене разведывательными данными по Польше и совме-

стном обсуждении вопросов мобилизации и развертывания польской армии принять. Попытки установить организационные контакты между разведками — отклонить.

8. Вопрос о совместной конструкторской работе решить в зависимости от более конкретных предложений со стороны рейхсвера.

Изложенное докладываю на усмотрение.

Начальник IV Управления штаба РККА Берзин

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 295. Л. 71—78. Подлинник

ИЗ БЕСЕДЫ ВОРОШИЛОВА С ДЕЯТЕЛЯМИ РЕЙХСВЕРА ГЕНЕРАЛОМ ГАММЕРШТЕЙНОМ И ПОЛКОВНИКОМ КЮЛЛЕНТАЛЕМ

5 сентября 1929 г.
Совершенно секретно

Ворошилов. <...> В прошлом году я имел с генералом Бломбергом беседу по всем конкретным вопросам, и, кажется, эта беседа разрешилась в сторону обоюдной выгоды. Я не скрываю, что в наших взаимоотношениях были некоторые шероховатости, но в основном мы имели положительные результаты. <...> Я рассматриваю господина генерала Гаммерштейна как представителя дружественного нам государства и человека, который хорошо расположен к Красной Армии, о чем я неоднократно слышал от товарищей, учившихся в Германии. Поэтому речь может идти не о доверии и недоверии, а о том, сможем ли мы найти новые дополнительные пути, которые улучшили бы и конкретизировали наши взаимоотношения на общую пользу Германии и СССР. <...>

Гаммерштейн. Мы хотели бы увеличить число курсантов с 10 до 20, чтобы лучше использовать затраченный капитал. Мы предполагаем весною сделать опыты с более новыми танками. Мы предполагаем 10 курсантов обучать еще технически на германских заводах, поставляющих нам танки, и тактически — по теоретическому курсу в аудитории. <...>

По соседству со школой в Казани находится артиллерийская часть. Было бы полезно, если бы туда поместить танковый взвод, так как целью являются не только технические работы, но и тактическое применение, и поэтому было бы приятно, если здесь участвовали бы и русские части. К тому времени в Казани будут, кроме 3 тяжелых, еще 3 легких танка. <...>

Ворошилов. Наши взаимоотношения построены на своеобразных началах. Мы заинтересованы по-разному в совместной работе. Рейхсвер желает иметь базу для опытов вновь сконструированных танков, обучения танкистов-специалистов, изучения тактики и свойств танков. Мы же заинтересованы кроме указанного еще и в том, чтобы получить техническую помощь. Конкретно: я хотел бы, чтобы господин генерал Гаммерштейн и господин полковник Кюленталь откровенно мне сказали, до каких пределов могут простираться наши взаимоотношения в смысле получения нами помощи со стороны рейхсвера. <...>

Гаммерштейн. <...> В общем и целом я скажу, что в принципе пожелания русских совершенно отвечают взглядам немцев, но необходимо, чтобы закончить период технических испытаний. <...> Еще одно дополнение: я тем более разделяю мнение г-на Ворошилова, так как у нас, благодаря Версальскому договору, невозможно осуществить массовое производство танков. <...>

Ворошилов. Для нас чрезвычайно важно работу по лабораторным опытам, ведущуюся в Казани немцами, увязать с нашими мероприятиями по танкостроению. Если немцы сейчас считают несвоевременным создание у нас КБ, то, может быть, наши инженеры могли бы быть включены в состав КБ, работающих по танкам. <...> Я знаю, что вследствие Версальского договора Германия не может производить танки. СССР не связан никакими договорами и может строить танки не только для себя, но и для других. Кроме того, при известных условиях возможно построить у нас несколько специальных предприятий... Мы хотели бы с помощью господ генералов Гаммерштейна, Бломберга, Хойе и др. высших чинов рейхсвера, с которыми у нас хорошие взаимоотношения, установить также взаимоотношения с немецкой промышленностью, чтобы в ближайшее время мы смогли получить техническую помощь для нашей армии.

Гаммерштейн. В отношении работы я, к величайшему сожалению, должен внести некоторые ограничения. Для нас будет очень приятно, если русские и немецкие инженеры совместно будут все изучать в Казани. Но что касается Германии, то следует учесть, что немецкие фирмы работают вопреки Версальскому договору, так что, например, Крупп озабочен тем, чтобы ему это не повредило. <...>

Ворошилов. <...> Рейхсвер не оказал нам содействия, на которое мы, в порядке взаимности, имеем право рассчитывать.

Гаммерштейн. Я предлагаю для укрепления отношений во всех промышленных вопросах генерала Людвига, во всех тактико-оперативных вопросах — полковника Хальма <...> и в отношении всех общих предприятий господина Нидермайера. <...> У вас коммунистический строй является государственным строем, у нас коммунизм враждебен государственному строю. <...> Основами дружественных отношений двух стран являются три фактора: дружба армий, возможно дружественная внешняя политика и взаимное признавание внутренней политики каждой страны. <...>

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3.Д. 375. Л. 1—13.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) «О СУЩЕСТВУЮЩИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С РЕЙХСВЕРОМ»[8]

1929 г.
Совершенно секретно

Слушали:

1. О существующих взаимоотношениях с рейхсвером.

Постановили:

1. а) Потребовать от немцев усиления конспирации в сотрудничестве обеих армий, а также гарантии недопущения разглашения в печати каких бы то ни было сведений, касающихся этого сотрудничества.

б) Потребовать от немцев компенсации за пользуемые ими наши здания и земельные площади в Липецке, Казани и Томке в виде арендной платы.

в) Дальнейшее существование указанных предприятий обусловить необходимостью улучшения оборудования их новейшей техникой (новейшего типа танки, самолеты, ОВ и т. д.) и создания научно-исследовательских отделов с мастерскими и лабораториями, обеспечив участие в них наших научно-технических работников.

г) В максимальной степени использовать возможность усовершенствования нашего начсостава путем посылки командиров в немецкую военную академию, для участия в маневрах, полевых поездках, играх и стрельбах и т. д., на началах взаимности допускать посещение немцами РККА.

2. О новых предложениях немцев.

а) О совместном сотрудничестве конструкторских сил Германии и СССР в области артиллерии и пулеметного дела; об использовании новейших достижений в этой области рейхсвера и германской промышленности с одной стороны и советской промышленности — с другой.

б) Об установлении контакта между РККФ и германским морским флотом (первоначально — приезд руководителя РККФ в Берлин и руководителя германского флота в Москву).

в) О контакте разведывательной деятельности РККА и РВ рейхсвера против Польши с целью обмена разведывательными данными о Польше и совместной разработки данных мобилизации и развертывания польской армии.

<...>

3. Предложения фирмы Юнкерс.

Начать переговоры о постройке завода в СССР.

2. Ответы советской стороны.

а) С целью использования германского опыта в области конструкторских достижений военной техники допустить сотрудничество конструкторских сил обеих стран в области артиллерийского и пулеметного дела и в отношении военной химии. Признать возможным привлечь крупных немецких специалистов для конструкторской и производственной работы в СССР.

б) К предложению об установлении контакта между обоими флотами отнестись сдержанно, допустив контакт в единичных и выгодных для РККФ (конструкторские достижения в области подводных лодок и т. п.) случаях. Проникновение немцев в РККФ не допускать.

в) Обмен разведывательными данными о Польше и совместное обсуждение вопросов мобилизации и развертывания польской армии признать целесообразным. Предложение об установлении совместной организационной работы обеих разведок отклонить.

3. Начать предварительные переговоры с фирмой Юнкерс в целях выяснения конкретных предложений фирмы, после чего обсудить вопрос дополнительно.

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 329. Л. 146—147; Д. 295. Л. 69—70.

ИНФОРМАЦИЯ О ВСТРЕЧЕ ТУХАЧЕВСКОГО С АДАМОМ, КЕСТРИНГОМ, ГОФМЕЙСТЕРОМ И МАНШТЕЙНОМ

Москва
10 ноября 1931 г.
Секретно

Генерал Адам заявил, что он очень рад лично познакомиться с виднейшим руководителем РККА т. Тухачевским, и изъявил желание поговорить с ним по целому ряду вопросов, относящихся к предприятиям.

Т. Тухачевский указал, что, несмотря на некоторые достижения и успехи, темпы работы совместных предприятий все же чрезвычайно медленны, а техническая база их настолько узка, что эффект от совместного сотрудничества крайне неудовлетворительный и не оправдывается ни со стороны материальных затрат, ни с политической. Необходимо усилить темпы и извлечь максимальную пользу.

В частности, по Липецку,— желатель-

---

[8] В одном из обнаруженных экземпляров этого документа рукою Берзина написано: «Постановление Комиссии В.<оенной> П.<ромышленности>».

но в будущем году произвести опыты на самолетах новейших конструкций с мощными моторами на тяжелом топливе. Кроме того, необходимо испытать самолет Юнкерса с герметически закрытой кабиной в зимних условиях и в полетах на больших высотах, произвести бомбометание с этих высот и стрельбу из тяжелых пулеметов по конусам.

Адам подчеркнул, что ему то же самое говорил вчера Народный Комиссар и что он по возвращении в Берлин обратит самое серьезное внимание на работу предприятий.

Далее тов. Тухачевский указал на необходимость усиления техники как в Томке, так и в Казани. Адам, не будучи детально в курсе дел предприятий, попросил Тухачевского принять Гофмейстера и переговорить с ним по всем интересующим нас вопросам, на что дано было согласие.

Тов. Тухачевский поинтересовался мнением Адама относительно унификации артиллерии, который свел их к 6 образцам. В ответе Адама чувствовалась некоторая неуверенность, в то время как пояснения т. Тухачевского выказали глубокое знание современной техники артиллерийских образцов и это не могло не произвести соответствующего впечатления на Адама. Адам в свою очередь интересовался опытом механической тяги артиллерии из периода советско-польской кампании 1920 г. Тов. Тухачевский ответил, что в тот период механизация пребывала в первоначальной стадии и использование ее ограничивалось первыми днями наступления.

Начальник отдела внешних сношений
Сухоруков

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 375.
Л. 162—163. Подлинник

ВОРОШИЛОВ — СТАЛИНУ

11 ноября 1931 г.

Дорогой Коба!

Направляю запись разговора с Адамом. Все сказанное Адамом застенографировано. Свои слова записал с возможной потребностью. Личные впечатления сообщу при встрече[9].

Привет Ворошилов

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 375.
Л. 21. Копия

ФОН ДИРКСЕН О СВОЕЙ ВСТРЕЧЕ С ВОРОШИЛОВЫМ[10]

12 декабря 1931 г.
Москва
Совершенно секретно

<...> Ворошилов снова подтвердил, что даже в случае подписания договора с Польшей ни в коем случае не последует какого-либо ухудшения или изменения в дружественных отношениях Советского Союза с Германией. Ворошилов сказал, что ни при каких обстоятельствах, разумеется, не может быть и речи о какой-либо гарантии польской западной границы; советское правительство — принципиальный противник Версальского договора, оно никогда не предпримет чего-либо такого, что могло бы каким-либо образом укрепить Данцигский коридор или Мемельскую границу. Что касается польской восточной границы, то ведь Советский Союз заключил мирный договор с Польшей и таким образом до известной степени признал границу. В процессе беседы я имел случай спросить г-на Ворошилова о том, что он думает о настоящем положении германо-советских отношений, на что он мне ответил, что взаимоотношения в настоящее время как с точки зрения политической, так и экономической — удовлетворительные.

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Ф. 70.
Л. 253—258

Особой страницей стало сотрудничество РККА и рейхсвера в трех военных центрах — «Липецк», «Кама», «Томка»,— через которые прошли многочисленные военнослужащие рейхсвера, позднее образовавшие кадровый костяк военной политики Германии.

«ЛИПЕЦК»

Школа Воздушного флота под кодовым названием «Липецк» существовала в Тамбовской области в течение 11 лет. Деятельность рейхсвера, несшего все расходы по организации, оборудованию и содержанию школы, тщательно скрывалась и ничем не проявлялась. Чтобы обеспечить полную секретность, рейхсвер увольнял из действительной службы командируемых в Липецк офицеров и механиков на срок их пребывания в СССР и переводил их в статус «служащих частных предприятий». Летчики во время своей службы в СССР оставались в гражданской одежде. Им запрещалось рассказывать, что они делали и где были. Заключения о смерти — в результате несчастных случаев во время полетов — фальсифицировались. Гробы с телами упаковывали в ящики и заносили в декларации для возвращения в Германию как детали самолетов; их отправляли на родину морским путем из Ленинграда в Штеттин. Можно предположить, что многие, если не большинство, из ставших позднее известными немецких летчиков, учились именно здесь. Известно, что к ним относятся: Блюмендаат, Гейни, Макрацки, Фосс, Теецманн, Блюме, Рессинг и другие.

[9] В 1937 г. на заседании Военного Совета Сталин обвинил в шпионаже в пользу Германии многих военачальников Красной Армии. Создавалось впечатление, что сам он ничего **не** знал о контактах РККА и рейхсвера. Эта небольшая записка свидетельствует о том, что Сталин **все знал** о связях РККА и рейхсвера. Более того, вполне очевидно, что без ведома и согласия Сталина ничего не решалось.

[10] Документ получен агентурным путем и доложен Ворошилову начальником Особого отдела ОГПУ Лепяевским 21.XII.1931 г.

ПРОТОКОЛ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ АВИАЦИОННОЙ ШКОЛЕ В ЛИПЕЦКЕ

15 апреля 1925 г. Москва

Протокол соглашения между Управлением Военных Воздушных Сил РККА (именуемый ниже Р. Л.)[11] и представителями Особой группы (именуемой ниже С. Г. М.)[12] об устройстве авиационной школы и складов авиационных материалов в Липецке.

I. Общая часть

а) Р. Л. изъявляет свое согласие при содействии С. Г. М. устроить авиационную школу на аэродроме в Липецке. Авиационная школа должна непосредственно прилегать к находящимся там сооружениям Р. Л.

б) Р. Л. передает С. Г. М., находящейся в Липецке, свой бывший завод для использования его в качестве помещения для хранения самолетов и авиационных принадлежностей и в качестве жилого помещения для предполагаемого персонала авиационной школы и управления складами. Пользование аэродромом и заводом для вышеуказанных целей представляется С. Г. М. бесплатно.

II. Содержание и устройство

а) Необходимое для авиационной школы сооружение в Липецке состоит из 1 ангара, 1 мастерской, 1 домика для Управления, по одному складу для хранения бензина и боеприпасов. Расположения, измерения и устройство сооружений согласуется на месте с представителями Р. Л. (подробности в приложении I).

б) Необходимые для складов и квартир помещения в здании завода строятся или ремонтируются согласно данным, указанным в приложении II, таким образом, что размещение на складе самолетов и имущества, а также персонала происходит в полном порядке и с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Работу по постройке помещений для авиационной школы, перестройке или восстановлению складов и квартир (согласно приложениям I и II), берет на себя Р. Л.

Расходы по этим постройкам, перестройкам или восстановительным работам берет на себя С. Г. М. Выше указанные работы должны быть закончены не позже 3 месяцев, т. е. не позже 30-го июня с. г.

III. Личный состав

а) Личный состав С. Г. М.

С. Г. М. представляет следующий персонал для авиационной школы: 1 руководитель авиационной школы, 1 летчик-инструктор, 1 пом. ему (условно), 2 мастера, 1 оружейный мастер, 1 пом. мастера. Для заведывания заводскими складами и находящимися материалами: 1 зав. складом.

Для школьного курса авиации: 6—7 летчиков на каждом курсе.

б) Личный состав Р. Л.

1 пом. руководителя авиационной школы для поддержки руководителя школы во всех вопросах, возникающих в связи с работой школы. 20 мастеров для обслуживания аэродрома, из которых: 14 техников-механиков, 2 столяра, 1 седельщик, 1 маляр, 1 кузнец, 1 сварщик. Некоторая часть из них должна уметь объясняться по-немецки. Расходы по содержанию 20 указанных мастеров С. Г. М. берет на себя, согласно обычных ставок Р. Л. и соответствующих профсоюзов. <...>

IV. Перевозка и прибытие материала

Самолеты, авиационные принадлежности, а также и другой, необходимый для устройства аэродрома и складов материал прибывают по адресу Р. Л. через Ленинградский порт. Прибытие первых транспортов ожидается предположительно в начале июня в Ленинграде. Дальнейшую отправку от Ленинграда до аэродрома (до склада) берет на себя Р. Л. Расходы, связанные с этим, берет на себя С. Г. М. С. Г. М. своевременно извещает Р. Л. о прибытии транспорта в Ленинград, а также сообщает данные, касающиеся объема прибывающего груза. Р. Л. принимает меры к получению разрешения на беспошлинный ввоз этого груза.

V. Обучение

Отдельные школьные курсы будут предположительно длиться 4 недели. Таким образом, первый курс, если предполагать начало 15 июля, будет закончен в середине августа. Между отдельными курсами перерыв будет в одну неделю, что даст возможность, при благоприятных условиях, провести в 1925 г. 4 курса. Вопросы, связанные с помещением и временем использования аэродрома, совместно с находящимся там отрядом Р. Л., регулируется путем непосредственных сношений Командира этого отряда с руководителями авиационной школы, учитывая обоюдные, практические нужды.

Находящийся при аэродроме врач Р. Л. обслуживает также авиационную школу при несчастных случаях.

С. Г. М. оплачивает эти услуги, размер которых будет определен в дальнейшем. Авиационная школа привозит с собой обычное санитарное оборудование (носилки, перевязочный материал и т. п.). Необходимый горючий материал для работы школы (бензин, масло) Р. Л. предоставляет школе по себестоимости. Р. Л. передает школе специальный участок для обучения стрельбе боевыми

[11] Р. Л.— советская сторона.
[12] С. Г. М.— германская сторона.

патронами по земным целям. Вооружение и боевые припасы привозит с собой школа.

VI. В случае, если бы школа через некоторое время подлежала ликвидации, Р. Л. согласно принять нужные ему заново выстроенные на аэродроме постройки авиационной школы, согласно расценке, установленной смешанной Комиссией из представителей Р. Л. и С. Г. М.

VII. **Примечание:** указанные в §§ I—VI приложения охватывают собой наиболее важные и принципиальные пункты о постройке, устройстве и работах авиационной школы в Липецке и склада для авиационных материалов. Эти пункты фиксируют обоюдные права и обязательства Р. Л и С. Г. М. Все дальнейшие пожелания и потребности, вытекающие при проведении в жизнь вышеуказанного соглашения, дружески улаживаются Р. Л. и С. Г. М.

Р. Л.— Баранов,
С. Г. М.— Лит.[13]
ЦГСАСА. Ф. 33987. ОПЗ.
Д. 295. Л. 4—11

ПРОТОКОЛ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВОПРОСАМ АВИАЦИИ

24 марта 1926 г.
Берлин.

Вопрос о Липецке.

Оберстлейтенант Вильберг. В Липецке в прошлом году, при благосклонной поддержке Красного Воздушного Флота, были предоставлены помещения и произведены постройки для школы истребителей. Летом были впервые проведены курсы. При любезном содействии Красного Воздушного Флота (КВФ) были устроены сравнительные состязательные полеты, которые дали весьма ценный опыт. Надеюсь, что этот опыт был ценным и для Вас. То обстоятельство, что наши самолеты оказались сильнее, объясняется тем, что у нас были моторы в 480 сил, а у русских—лишь в 300 сил. Полеты эти дали также ценный тактический опыт. Хорошие начальные успехи прошлого года в области школы истребителей побудили продолжить и развить подготовку личного состава и расширить Липецк совместно с КВФ в этом году. <...> Мы хотим далее наладить в Липецке, наряду со школой истребителей и наблюдателей, испытание таких материалов и предметов, которые мы сочтем созревшими для введения в войсках. Первое, что можно будет испытать и сообщить Вам,— это моторное ружье. Ждем для этого лишь наступления соответствующей погоды. Затем, по прибытии самолетов летом, мы предполагаем испытать ряд принадлежностей — беспроволочный телефон для связи между самолетом и землей и новую конструкцию киносъемок с самолета. Когда новые самолеты, строящиеся за границей германскими фирмами, будут готовы, они также прибудут для практических испытаний. <...>

Особый интерес для нас имеют опыты с бомбометанием. У нас нет никаких материалов о вероятности попаданий. В этой области хотелось бы произвести опыты, но это будет возможно лишь в будущем году, ибо у нас нет ни материалов, ни чертежей — все это разрушено после войны и все надо сделать заново. Не знаю, есть ли у Вас опыт в этой области. У нас также нет приспособлений прицеливания и бомбометания. Мы знаем лишь, что за границей имеются современные аппараты, гарантирующие гораздо большую верность попаданий, чем это имело место в конце войны. В заключение еще два замечания: 1) Мы этим летом хотим попытаться организовать в Липецке фотографическое отделение и небольшую верфь, снабдив ее машинами, необходимыми для производства опытов; 2) Мы стремимся при будущих опытах развить у фирмы Юнкерс новый тип военного самолета. Для нас неясно еще, каков будет этот тип — истребитель, бомбовоз или разведчик. Но во всяком случае в будущем году совместно с фирмой Юнкерс нами будет создан новый тип современного военного самолета.

Тов. Муклевич. С нашей стороны Вы можете рассчитывать на самое полное содействие и поддержку. Мы уже предупреждены обо всем господином Литом. Все необходимое в Липецке будет сделано. По-видимому, придется расширить аэродром. Нашу эскадрилью, которая Вас, вероятно, стесняет, вывести нельзя, но аэродром можно расширить. На это, вероятно, потребуются некоторые расходы, но этот вопрос можно будет уточнить впоследствии с господином Литом. Со своей стороны, мы примем все меры для обеспечения бесперебойной и правильной работы школ.

Вильберг. Имеются ли со стороны КВФ какие-либо пожелания относительно школ и опытов?

Тов. Муклевич. Мы бы хотели связать тем или иным путем Вашу подготовку с нашей, но об этом разговор будет впереди. Если это совпадает с желаниями германской стороны, то с нашей стороны будет сделано все возможное для того, чтобы принять участие в работе. Если с германской стороны будет выражено соответствующее желание, то мы могли бы, например, устроить тактическое учение с другими родами войск, в котором могут принять участие германские летчики.

Вильберг. Мы весьма благодарны за предложение связать нашу и Вашу подготовку личного состава. Этот вопрос нужно подробно рассмотреть на месте. Мы также очень благодарны за предложение относительно тактического учения. Предполагаете ли Вы это в форме маневров?

[13] Фон-дер Лит Томсен — представитель Общества поощрения промышленных предприятий ГЕФУ.

Тов. Муклевич. У нас ежегодно определенные части завершают свою подготовку маневрами в большем или меньшем масштабе. Если это совпадет с желаниями германской стороны, то можно будет использовать те маневры, которые будут происходить в данном районе, не устраивая никаких специальных маневров для наших целей.

Вильберг. Уже вчера в других переговорах была речь с таких маневрах. Мы приветствуем участие наших летчиков в той или иной форме в маневрах. Конкретно этот вопрос нужно разработать впоследствии. Можно было бы, например, распределить наших наблюдателей по Вашим летным отрядам или послать наших офицеров в Ваши авиационные штабы для обмена мнениями. Наконец, есть возможность, что тот или другой самолет школы сможет участвовать в составе Вашего отряда. Но сейчас еще трудно сказать, будет ли школа готова к этому. Во всяком случае, мы эту мысль приветствуем и благодарим за нее.

Генерал Ветцелль. Мы чрезвычайно приветствуем установившееся сотрудничество в этом деле.

Тов. Муклевич. Здесь особенно мало трений, ибо тут нет коммерческих моментов. Все основано на идейном сотрудничестве.

ЦГАСА. Ф. 33988. ОП. 3. Д. 78.
Л. 93—96.

ДОКЛАД ВРИД ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА IV УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА РККА ДАВЫДОВА ВОРОШИЛОВУ[14]

4 июля 1933 г.
Совершенно секретно

Докладываю: 2 сего июля во время учебных полетов Липецкой станции столкнулись в воздухе два немецких самолета Фокер Д-13, причем один летчик с высоты 700 метров спустился на парашюте благополучно, второй же летчик г. Поль выпрыгнул из самолета с высоты 50 метров и разбился насмерть. Два самолета Фокер Д-13 приведены в негодность. Труп погибшего летчика «друзья» отправляют в Германию.

Давыдов
ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 504. Л. 3.
Подлинник

КЕСТРИНГ — ЕГОРОВУ

22 июля 1933 г.
Москва

11-го января с. г. полковник Кестринг сообщил начальнику штаба РККА Егорову, что командующий рейхсвером предполагал осенью 1933 г. прекратить обучение летчиков-истребителей в Липецке[15]. Основания, которые побудили командующего рейхсвером к этим мероприятиям, Красной Армии известны. Однако еще раз подтверждается, что, к сожалению, необходимость железной экономии вынуждает нас к этому мероприятию. При теперешнем финансовом положении государства дальнейшая затрата крупных сумм для работы этой станции себя не оправдывает. Это усугубляется еще тем, что пользуемая до сих пор в Липецке материальная часть изношена; дальнейшая работа со станцией в Липецке в 1933 г. вызвала бы новые крупные капитальные затраты, которые рейхсвер не мог бы произвести без ущерба своих остальных интересов.

Исходя из этих соображений, Командующий рейхсвером пришел к окончательному заключению прекратить обучение в Липецке. Искреннее желание рейхсвера, несмотря на прекращение учебной деятельности, использовать пути и возможности для продолжения совместной деятельности обеих армий, существующей в области авиации в течение ряда лет. Поэтому командующий рейхсвером особенно приветствовал бы: 1) Обоюдный обмен офицерами и специалистами для посещения технических сооружений, фабрик и летных школ; 2) Обоюдный обмен сообщениями и опытом в области тактики и техники.

Командующий рейхсвером убежден в целесообразности и необходимости совместной деятельности в области авиации и приветствовал всякое предложение Красной Армии и Красного Воздушного Флота, имеющее дальнейшее углубление совместной деятельности в рамках наших возможностей. Что касается построек и сооружений в Липецке, то предлагается следующее. Постройки и все остающееся в Липецке оборудование, поскольку возвращение их в Германию не предстоит, передать в полное распоряжение и управление Красного Воздушного Флота. Красному Воздушному Флоту принадлежит полное и безграничное право пользоваться этим заведением. Передача всего имущества будет произведена руководителем Липецкой станции русскому представителю.

Командующий рейхсвером от имени

[14] Резолюция Ворошилова на документе: «Копию — т. С<талину>. В. <орошилов>».

[15] 26 июля 1933 г. начальник IV разведуправления Штаба РККА Берзин совершенно секретно сообщал Ворошилову о том, что германский военный атташе полковник Гартман передал начальнику Отдела внешних сношений адресованное на имя Ворошилова объяснение командующего рейхсвером по вопросу о ликвидации предприятия «друзей» в Липецке. Ворошилов поставил резолюцию: «Копию. т. Сталину. В.»

4 августа 1933 г. секретарь Наркомвоенмора и Председателя РВСС Антонов совершенно секретно сообщал в Политбюро ЦК ВКП(б) Сталину: «По приказанию тов. Ворошилова посылаю копию материала, представленного Начальником IV Управления штаба РККА по вопросу о ликвидации предприятия «друзей» в Липецке». (ЦГАСА, Ф. 33987. ОП. 3. Д. 504. Л. 49—51).

рейхсвера выражает особую благодарность Красной Армии и Красному Воздушному Флоту за многолетнее гостеприимство в Липецке.

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 304. Л. 52—53. Подлинник [16]

«КАМА»

По Версальскому договору Германии было запрещено иметь танки, рейхсвер должен был обходиться без них. Но дальновидный первый начальник управления сухопутных войск фон Сект уже в 1927 г. заявил: «Танки вырастут в особый род войск наряду с пехотой, кавалерией и артиллерией...»

С 1926 г. немцы приступили к организации танковой школы «Кама» в Казани. Они отстроили школьные помещения, мастерскую и учебное поле, израсходовав около 2 млн. марок. Учебные танки были доставлены сюда в марте 1929 г. В распоряжение немцев был предоставлен полигон, обучение проходило на русских танках. Как считают германские историки, подготовленная в «Каме» плеяда танкистов, среди которых было 30 офицеров, облегчила позднее быстрое создание танковых войск. Эти специалисты были полностью «подкованы» как в теоретическом отношении, так и технически.

ОСНОВНОЙ ДОГОВОР МЕЖДУ ВИКО-МОСКВА [17] И КА-МОСКВА [18] ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТАНКОВОЙ ШКОЛЫ

Вико-Москва и Ка-Москва в последующем будут называться «ВИКО» и «КА» [9].

2 октября 1926 г.
Москва
Совершенно секретно

Между «КА» и «ВИКО» заключается следующий договор об организации ВИКО в бывших каргопольских казармах в Казани танковой школы:

1) КА передает ВИКО в пользование три конюшни и жилые помещения <...> из состава казарм для размещения материалов и жилья персонала школы. Три конюшни передаются сейчас же, остальные, поскольку они не могут быть переданы раньше,— не позднее 15 мая 1927 г.

2) ВИКО получает право совместно с частями КА пользоваться прилегающей местностью, как учебным полем и стрельбищем, в непосредственной близости к казармам... а также полигоном, находящимся в 7 км юго-восточнее казармы, и путями сообщения между обоими полями. Порядок, очереди и сроки пользования полигоном устанавливаются начальником гарнизона.

3) ВИКО несет расходы в сумме 125000 рублей по перемещению частей и военно-учебных заведений, расположенных в освобождаемой для школы части помещений, бывших каргопольских казарм. <...>

9) Руководство школой находится в руках ВИКО. Руководитель вырабатывает программу занятий, принимая во внимание пожелания КА. В помощь руководителю школы КА назначает помощника руководителя школы, который вместе с тем является представителем КА.

10) КА представляет в распоряжение ВИКО соответствующий технический личный состав для мастерской, состав для охраны, а также рабочих. <...> ВИКО несет расходы по содержанию всего указанного состава, по ставкам профсоюзов, а также расходы по содержанию помощника руководителя школы в соответствии со ставками, принятыми КА. Тарификация сотрудников производится на основе дополнительного соглашения.

11) ВИКО несет все расходы по устройству и содержанию танковой школы, расходы по содержанию личного состава ВИКО, как постоянного, так и переменного, включая расходы на коммуникационные услуги и электроэнергию, расходы по приобретению металла, учебных пособий, горючего и сырья. КА оказывает содействие ВИКО к приобретению последнего на наиболее благоприятных условиях.

12) ВИКО обязано соблюдать рабочее законодательство СССР, а также все санитарные, противопожарные и другие правила, согласно действующим в СССР законам. ВИКО несет ответственность за исполнение таковых в процессе ее деятельности.

13) Сроком открытия танковой школы назначается июль 1927 г., имея в виду, что к этому сроку будут закончены все строительные работы и будет доставлено имущество для практических занятий.

14) В первом году существования школы ВИКО предоставляет переменному составу КА возможно большее количество мест. Начиная со второго года существования школы устанавливается точное соотношение мест, предоставленных переменному составу обеих сторон. Расходы по содержанию и расквартированию переменного состава КА, равно как и расходы на горючее и огнеприпасы, а также расходы за большие повреждения, по вине КА, несет КА. Если состав КА находится на довольствии ВИКО, то расходы оплачиваются КА по нормам, принятым КА.

15) Настоящий договор заключается на 3 года со дня подписания договора. В случае, если ни одна сторона не подает заявления о расторжении договора за 6 месяцев до его истечения, действие договора продолжается еще на один год. По истечении договора танки, запасы имущества, вооружение, оборудование мастерских и инвентарь школы возвращается ВИКО. Здания передаются КА. Предметы технического оборудования, приобретенные за счет ВИКО, в случае, если КА изъявит желание перенять их, оцениваются паритетной комиссией, а их стоимость возмещается ВИКО.

Представитель «КА» — Берзин,
Представитель «ВИКО» — Лит

[16] Имеется идентичный текст документа на немецком языке.
[17] ВИКО — германская сторона.
[18] КА — советская сторона.
[19] Это уточнение есть в тексте документа.

О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТ СТРОЙКОМ «КАМА»

1928 [20]
Совершенно секретно

I. О прекращении работ Стройком «Кама»

а) Ввиду окончания подготовительных строительных работ строительная комиссия «Кама» расформировывается.

б) На ее территории с 1 августа 1928 г. формируются «Технические курсы ОСОАВИАХИМА».

в) Курсы существуют на основании особого Положения, подписанного 2 декабря 1926 г.

Курсы находятся в ведении «ОГЕРС».*

<...>

II. О конспирации

а) жизнь и работа курсов приспосабливается под общий тип военных организаций, имея целью скрыть настоящего хозяина курсов. Поэтому личный персонал должен фигурировать как технический и преподавательский состав Курсов Осоавиахима.

б) постоянный и переменный персонал «ОГЕРС» носит в часы занятий вне казарм, а также при официальных приемах и т. п. форму РККА, но без петлиц. Вне занятий весь персонал может носить штатское платье.

в) корреспонденция, идущая на немецком языке, перевозится особым нарочным.

Телеграммы идут только на русском языке.

III. О взаимоотношениях между Начальником Курсов и представителем РККА.

1) Руководство административно-хозяйственной, учебно-строевой жизнью курсов лежит на обязанности Начальника Курсов, назначаемого «ОГЕРС», работающего по его директивам и непосредственно ему подчиненного.

2) Наблюдение за жизнью и работой курсов в части, касающейся РА, а также внесение различных пожеланий учебного характера осуществляется через представителя РА (помощника), непосредственно подчиненного РА.

Примечание. Наименование «помощника» вводится, главным образом, для конспирации.

В круг его обязанностей входит:

а) оказывать всякую возможную помощь курсам, как иностранной организации, во всех ее начинаниях, устраняя все трудности на пути, разрешая вопросы с наибольшей пользой для курсов.

б) осуществить связь с советскими промышленными и профсоюзными учреждениями регулировать спорные вопросы с местными властями, ведать перепиской, выдачей документов и различных справок от имени помощника Начальника Курсов.

в) принимать необходимые меры к предоставлению по ценам РА необходимых учебных пособий и средств, различного рода материалов и предметов для бесперебойной работы курсантов.

г) содействовать скорейшему получению транспортов на условиях возможного благоприятствования курсов в отношении фрахта, пошлин и прочих преимуществ.

д) содействовать получению паспортов, удостоверений, справок и прочих необходимых документов.

е) наем и увольнение состоящего на немецкой службе персонала (обслуживающий персонал, как-то: домашняя прислуга, шоферы, дворники, кучеры, охрана, рабочие в мастерских и т. д.) производится представителями РА. Этот персонал считается персоналом «ОГЕРС» и в служебном отношении подчиняется Начальнику курсов.

Примечание: помощник (представитель РА) не имеет права дисциплинарных взысканий по отношению к персоналу «ОГЕРС».

ж) наем, увольнение и перемещение персонала РА производится только помощником (представителем РА) по заявке Начальника Курсов, причем последним, в случае несоответствия выдвигаемой представителем РА кандидатуры, может быть сделан мотивированный отвод.

В случае увольнения кого-либо из служащих представителем РА последний об этом немедленно ставит в известность Начальника Курсов, указав причины увольнения.

з) комплектование курсов переменным составом РА производится помощником (представителем РА). Переменный состав РА подчинен помощнику Начальника Курсов, в отношении же учебном — Начальнику Курсов.

Состав охраны курсов и входящих в их состав учреждений (склады и пр.) назначается помощником (представителем РА) и подчинен во всех отношениях последнему.

Примечание: Начальник Курсов не

[20] Документ зашифрован. Можно лишь догадываться, что под крышей Осоавиахима (Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству) действовала танковая школа, где обучались советские и немецкие танкисты.

* «ОГЕРС» — германская сторона. И далее РА — советская сторона.

имеет права дисциплинарных взысканий по отношению к персоналу РА.

и) в распорядок административно-хозяйственной жизни курсов помощник (представитель) не вмешивается, за исключением случаев, явно противоречащих интересам РА, или существующим законам и положениям СССР.

к) наблюдение за выполнением администрацией курсов законов СССР лежит на помощнике (представителе РА).

л) печать, штампы курсов находятся у помощника (представителя РА) или его заместителя.

м) в связи с переходом к новым функциям, благодаря чему работа осложняется и при курсах требуется ежедневное присутствие ответственного лица со стороны РА, помощнику, за счет «ОГЕРС», из состава РА назначается одно лицо для поручений (секретарь).

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 295. Л. 66.

«ТОМКА»

Наиболее засекреченным объектом рейхсвера в СССР являлась «Томка». Это была так называемая школа химической войны. Руководил ею Людвиг фон Зихерер. Предприятие располагалось в Самарской области, недалеко от г. Вольска. Проект осуществлялся для Германии вопреки Версальскому договору, по которому местонахождение и создание подобных военных предприятий должно было быть согласовано и одобрено правительствами Главных Союзных и Объединившихся держав. Однако германское командование, игнорируя «Версаль», пошло на развертывание в «Томке» научно-исследовательских работ на условиях, что советской стороне будут передаваться новые средства химической борьбы (боевые отравляющие вещества, приборы, маски).

В «Томке» испытывались методы применения отравляющих веществ в артиллерии, авиации, а также средства и способы дегазации зараженной местности. Научно-исследовательский отдел при школе снабжался новейшими конструкциями танков для испытания ОВ, приборами, полученными из Германии, оборудовался мастерскими и лабораториями.

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ В ТОМКЕ

1929 г.

Проект условий между русским Акционерным Обществом по борьбе с вредителями и применению искусственных удобрений (в дальнейшем именуемым «М») и германским Акционерным Обществом по использованию сырья (в дальнейшем именуемым «В»), касающихся продолжения начатых в 1928 г. совместных испытаний. <...>

А. **Подготовительные работы.** Подготовительные работы хозяйственного и технического характера 1929 г. (приложение 2 а и б) производятся подготовительным персоналом, направляемым обеими сторонами.

Б. **Проведение испытаний.**

Составленная в 1928 г. программа испытаний на 2 года проверяется обеими сторонами и, в случае необходимости, дополняется.

Настоящая программа должна быть утверждена обеими сторонами в срок не позднее 2-х месяцев с момента утверждения настоящего договора.

В. выставляет для опытов 1929 г. такой же по количеству персонал, что и в 1928 г. Однако лишь одного фотографа и сверх того, по возможности, 1 автомеханика, 1 слесаря по наземным приборам, 1 уборщика вивария, 1 писаря.

М. выставляет тот же состав, что и в 1928 г., и кроме того 2-х шоферов, 1 автослесаря и 1 рабочего в виварий (по возможности знакомого с обдиранием шкур). Кроме того М. представляет за счет В. одного опытного столяра. Изменений в личном составе в течение опытного периода надлежит обеим сторонам по возможности избегать. Опытный период продолжается непрерывно с 10 июня до начала декабря 1929 г.

Условия проведения испытаний с метательными приборами

1. В течение лета 29 года проводятся немецкие испытания с метательными приборами. Продолжительность опытов примерно 4 недели.

2. Опыты проводятся исключительно с Л. метательными мячами [21].

Цель опытов:

а) определение характера действия одного Л. метательного мяча;

б) проведение опытного метания в больших размерах на определенные площади;

в) разрешение метательно-технических вопросов.

3. В качестве опытного персонала на время опытов В. командирует: 1 специалиста по метанию, 1 специалиста-техника.

Прочие необходимые лица будут взяты из опытного персонала Томки. Отъезд Д.[22] персонала последует после того, как мячи будут наполнены и готовы для метания. М. по запросу предоставляет рядовой личный состав, необходимый для обслуживания трех приборов.

4. Для проведения опытов в Томку будут доставлены к 1/VI—29 г.

а) 4 метательных прибора (один в качестве запасного).

В. имеет право по окончании опытов в любое время отправить приборы обратно в Д.

б) 1000 метательных мячей в готовом виде (кроме наполнения).

---

[21] Речь идет о метательных приборах с отравляющими веществами.

[22] Т. е. немецкого персонала.

5. Наполнение метательных мячей производится:

0,75 количества стороной М. и 0,25 количества стороной В. в маленькой установке.

М. заботится о предоставлении необходимого материала для наполнения в количестве 1900 килограммов по меньшей мере 90% Л. В. своевременно направляет необходимые для получения 1900 килограммов Л. — три тонны одоля.

6. М. обеспечивает перевозку метательных приборов и мячей туда и обратно по наиболее низкому тарифу.

7. Расходы по оплате Д. специального персонала несет В.

Выплату нормального жалованья, выставляемому М. рядовому персоналу, производит М.; расходы по их перевозке (по соответствующему тарифу) и дополнительные расходы по содержанию и т. п. их в Томке несет В.

Предоставление необходимого Л. материала и наполнение им исчисляется: М. по себестоимости, примерный расчет должен быть передан стороной М. стороне В. до конца февраля 1929 года. Расходы по транспортировке метательных приборов и мячей несет В.

Приложение № 1. Административная инструкция.

1) Административное руководство находится в руках М. руководителя. В. руководитель, однако, должен предварительно оповещаться о распоряжениях, отдаваемых в исполнение «административной инструкции», причем все распоряжения, касающиеся В. персонала и занятого у М.-персонала, а также затрагивающие технические вопросы, идут через него.

2) Всем В. участникам воспрещается заводить знакомства с населением, гарнизоном и иностранными подданными. Случайные разговоры, вызываемые необходимостью, не подпадают под это запрещение.

3) Все участники обязаны проживать в пределах опытного участка.

4) В. и М. руководители ответственны за то, чтобы В. и М. персонал покидал границы опытного участка лишь в необходимых случаях. <...>

5) Внеслужебное фотографирование может производиться М. и В. персоналом, испрашивая каждый раз согласие М. руководителя. Внеслужебное фотографирование опытов, опытных построек и оборудования, М. участников в форме красноармейцев воспрещается. М. руководитель имеет право просматривать все негативы и в случае обнаружения противоречащих настоящему запрещению уничтожать их вместе с имеющимися позитивами.

6) Часы работы в бараках, палатках и лабораториях должны заблаговременно сообщаться М. руководителю.

7) Воспрещается без разрешения М. или В. руководителя выносить приборы и материалы с мест постоянной работы в другие места (в особенности в жилые помещения).

8) Служебные распоряжения караулу даются через караульного начальника. Внеслужебные разговоры с составом охраны воспрещаются.

9) Программа каждого «опытного» дня составляется за день вперед путем совместного обсуждения М. и В. руководителями. Последующие изменения вносятся также по согласованию М. и В. руководителей.

10) Все опыты производятся в присутствии М. руководителя или его заместителя. В остальном определяет М. руководитель, кто из его состава должен принимать участие в испытаниях.

11) В. — руководитель. М. — руководитель.

12) Настоящая инструкция выдается обоим руководителям на русском и немецком языках. Оба они ответственны за ознакомление с ней их персонала.

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 295. Л. 25—27. Копия

БЕРЗИН — ВОРОШИЛОВУ

14 октября 1933 г.
Совершенно секретно.

Докладываю: в соответствии с Вашим приказанием о принятии всех мер к быстрому, но безболезненному свертыванию всех предприятий «друзей» на всех станциях (Томка, Липецк, Казань) деятельность «друзей» полностью прекращена, имущество «друзей» вывезено в Германию и личный состав их предприятий покинул пределы СССР.

Контора предприятий прекращает свое существование 12-го с. м.

В начальный период переговоров «друзья» пытались затянуть ликвидацию предприятий, полагая, очевидно, что в процессе переговоров последует изменение и что их пребывание в СССР будет продлено на неопределенное время.

Однако, убедившись в бесплодности этой попытки, «друзья» в целях «сохранения лица» сами сравнительно быстро свернули предприятия, заявляя, что это вполне совпадает с их желаниями и что нынешняя обстановка требует новых форм сотрудничества, которое должно остаться и на будущее время после ликвидации предприятий. Об этом также официально заявил бывший в Москве Начальник Моторизации рейхсвера генерал Лютц...

На всех станциях, несмотря на введенный в процессе ликвидации особый режим, работа прошла вполне организованно, отношение к «друзьям» с нашей стороны было вполне корректным. Это отмечалось на заключительных банкетах и беседах, устроенных «друзьями» на местах.

На заключительном банкете, который был дан германским военным атташе полковником Гартманом, и ответном

банкете с нашей стороны с участием представителей от Отдела Внешних Сношений, Управления Механизации и Моторизации РККА, Военно-химического управления и Управления Военно-Воздушных Сил, «друзья» подчеркивали важное значение продолжения дружественных отношений между рейхсвером и РККА в какой-либо новой форме.

Берзин

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 504. Л. 160—165. Подлинник

Важным фактором сотрудничества Красной Армии и рейхсвера стали поездки советского комсостава в Германию для учебы в Военной Академии, участия в маневрах, стрельбах и т. д. На началах взаимности допускалось посещение немцами РККА.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РККА ИМ. ФРУНЗЕ КРАСИЛЬНИКОВ И СВЕЧНИКОВ — НАЧАЛЬНИКУ АКАДЕМИИ ЭЙДЕМАНУ

Берлин, февраль 1927 г.
Совершенно секретно,
в собственные руки

...Германский Генштаб, по нашим наблюдениям, видит единственную реальную силу, могущую дать прирост его военной мощи, это — дружественные отношения к Советской Республикой. Наличие общего противника — Польши, опасного для Германии вследствие географических условий, еще более толкает германский Генштаб по пути тесного сближения с Советской Россией. Средние круги офицеров Генштаба, состоящие в рейхсвере Министерства на службе, не скрывают своего враждебного отношения к Франции и Польше и своей искренней симпатии к Красной Армии. Последнее выразилось со стороны представителей рейхсвера к нам во время нашей командировки...

В заключение необходимо отметить, что если во внешней политике германского правительства возможны резкие колебания, то среди рейхсвера, особенно Генштаба, дружественные чувства, обусловленные надеждой на военную поддержку с нашей стороны, могут сохраниться еще на длительный период времени и руководящие его круги могут быть использованы в целях давления на свое правительство в пользу Советской России.

Свечников
Красильников

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 148. Л. 76—78. Заверенная копия

ВОРОШИЛОВ — СТАЛИНУ

28 декабря 1928 г.
Совершенно секретно

Прошу поставить на ближайшем заседании Политбюро следующие вопросы:

1. О приезде в СССР полковника Миттельбергера, ближайшего сотрудника начальника рейхсвера генерала Хайе по русским вопросам;

2. О взаимной командировке командиров РККА и рейхсвера в Германию и СССР на военные занятия и маневры в 1928 г.

По существу этих вопросов сообщаю:

Рейхсвер желает командировать полковника Миттельбергера в СССР для ознакомления с имеющимися у нас немецкими учреждениями в Липецке и Казани и некоторыми учебными заведениями РККА.

Полагаю, что поскольку немцы дали возможность прибыть в Германию на учебу соответствующим работникам РККА — тт. Уборевичу, Эйдеману, Аппоге,— мы не имеем формального повода не удовлетворить просьбу немцев.

Вопрос о взаимном обмене командирами для участия на полевых занятиях и маневрах РККА и рейхсвера поднят одновременно немцами и нами. Опыт прошлого года (на наших маневрах и тактических занятиях участвовало 7 офицеров рейхсвера и нами было командировано в Германию для этой же цели 11 командиров РККА) — дал для РККА весьма ценные результаты.

Полагал бы целесообразным и в этом году организовать взаимную поездку командиров в размере 1927 года.

С коммунистическим приветом
Ворошилов.

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 87. Л. 123. Подлинник.

В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) ТОВ. СТАЛИНУ

Март 1929 г.
Совершенно секретно

Прошу поставить на обсуждение Политбюро следующие вопросы, выдвинутые командованием германского рейхсвера:

1. Немцы в этом году приглашают на летние занятия и маневры рейхсвера 8 наших командиров плюс трех товарищей из числа находящихся в Германии сейчас.

Одновременно немцы просят разрешения командировать на маневры РККА такое же количество (8 человек) своих офицеров и кроме того — 4 офицеров, в том числе инспектора инженерных войск РВ, для присутствия на полевых занятиях РККА в течение одного месяца.

Командировки работников РККА в Германию в предыдущие годы дали нам весьма положительные результаты. Ввиду этого со своей стороны считаю целесообразным предложения немцев принять.

Для командировки в Германию в этом году выдвигаются следующие товарищи:

1. Тов. ЯКИР — Комвойск УВО.

2. Тов. ЗОМБЕРГ — комкор VI.

Находятся
в Германии

3. СТЕПАНОВ — Начальник Отдела Штаба РККА.

4. Тов. ЕГОРОВ А. И.— Комвойск БВО.

5. Тов. ДАНЕНБЕРГ — Комдив 24.

6. Тов. КАТКОВ — комполка 40.

7. ВЕНЦОВ С. И.— комполка 15.

8. Тов. КАЛМЫКОВ — комкор 1-й стр.

9. Тов. МЕЖЕНИНОВ С. А.— Пом. Нач. УВВС.

10. Тов. ФЕДОТОВ — начальник 1-й Ленинградской Артшколы.

11. Тов. РОЗЫНКО — Начарт МВО.

Все перечисленные товарищи, за исключением тов. Розынко, члены ВКП(б)...

Ворошилов.

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 295. Л. 50. Подлинник

ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ВООРУЖЕНИЙ РЕЙХСВЕРА ГЕНЕРАЛА БОККЕЛЬБЕРГА О ПОЕЗДКЕ ПО СССР

май 1933 г.

<...> Цель поездки: а) ознакомление с советской военной промышленностью; б) ответный визит на посещение Германии замнаркомом Тухачевским.

Общие впечатления: <...> Нарком тов. Ворошилов и Начальник штаба Егоров подчеркивали, что совместная работа мыслима лишь тогда, когда большая политика обоих правительств преследует одни цели. Известное выступление Розенберга советскими органами оценивается как мешающее совместной работе.

Тов. Тухачевский на завтраке в узком кругу неоднократно подчеркивал, что для того, чтобы Германии выйти из затруднительной политической ситуации, он желает ей как можно скорее иметь воздушный флот в составе 2 000 бомбовозов.

<...> Осмотренные предприятия на делегацию оставили хорошее впечатление и подтвердили большие достижения в результате проведения плана первой пятилетки. <...> Прекрасное впечатление оставили школа летчиков в Каче и ее командир Орловский.

Обратное впечатление вызвал вид красноармейцев на улице, одежда в большинстве случаев поношенная и грязная, выправка невоенная.

Промышленные объекты: ЦАГИ оставил очень хорошее впечатление. Радиозавод в Москве, 350 инженеров, 1 600 рабочих. Переход на военное положение не подготовлен.

ГАЗ № 1 (б.(ывший) Дукс) 4 500 рабочих. Прекрасно оборудованный завод. <...>

Голутвинские ремонтные мастерские 3 000 рабочих. Обращает внимание модернизация совершенно устарелой артиллерийской материальной части.

Химкомбинат Бобрики архисовременное предприятие.

Тульский оружейный завод 20 000 рабочих. Производительность в месяц винтовок и пулеметов Максима и авиационных — 1500, охотничьих ружей — 1000 и мелкокалиберных винтовок 6000. Военная нагрузка составляет 60—70% производственной мощности.

Тракторный завод — Харьков 13 000 рабочих. Производительность — 140 тракторов в день.

Авиазавод — Александровск — 5000 рабочих. Производительность в месяц — 50 моторов Юпитер 450 л. с. и 200 М-11 100 л. с. Построен новый мотор М-58 — 700 л. с. Современный завод, хорошее руководство, полностью нагружен.

Оружейный завод, г. Калинин. 3 000 рабочих готовит 4,5 см танковые орудия и 7,62 см зенитные орудия.

Особые наблюдения: В вопросах вооружения т. Тухачевский высказал следующие мысли: наилучшим средством против танка является танк. Следует иметь в виду три вида танков: легкий и быстроходный разведывательный танк, средний и тяжелый боевые танки. Главное вооружение — 4,5 см танковая пушка, 3,7 см орудие малопригодно. В отношении авиавооружения тов. Тухачевский стоит на точке зрения, что большие боевые и бомбовые самолеты должны иметь 3,7 см пушки, а не 2 см, которые малодейственны для стрельбы по самолетам металлических конструкций. На заводе Дукс замечен истребитель с 2 моторами и с 4 спаренными пулеметами. В ЦАГИ испытывается цельнометаллический самолет весом в 17,5 т, грузоподъемностью в 5 тонн, 5-моторный, скорость 236 км.

Общее заключение. 1) Не отмечены признаки, что в связи с несомненным голодом в России могла бы быть свергнута советская власть. 2) Вновь построенные промышленные предприятия всюду оставляют исключительно хорошее впечатление. Советский Союз в ближайшие 10 лет достигнет цели — полного освобождения от иностранной зависимости. 3) Совместная работа с Красной Армией и советской военной промышленностью, учитывая грандиозность советских планов, крайне желательна не только по военно-политическим соображениям, но и по военно-техническим. <...>

ЦГАСА Ф. 33987. ОП. 3. Д. 505. Л. 132, 135.

ФОН БЛОМБЕРГ — ВОРОШИЛОВУ

29 сентября 1933 г.
Берлин

Многоуважаемый господин
Народный Комиссар!

Ликвидация трех опытных станций 15 сентября 1933 г. закончена. С тем дол-

голетний период тесной и дружественной совместной работы пришел к заключению, который, наверное, не останется без постоянной пользы для армий обоих государств. По этому поводу для меня искренняя надобность Вас, многоуважаемый господин Народный Комиссар, благодарить за ценную помощь, которую Вы и Штаб Красной Армии нам оказали при исполнении работ ликвидации. Эта помощь одна позволила закончить ликвидацию удовлетаорительно для обеих сторон.

Я прошу Вас, многоуважаемый господин Народный Комиссар, передать мою благодариость всем при ликвидации участвовавшим господам и остаюсь с выражением превосходного почтения.

Уважающий Вас фон Бломберг

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 505. Л. 171. Подлииник на немецком языке

В ноябре 1933 г. в Москву был назначен новый германский посол А. Надольный. На встрече с Крестинским 16 и 17 ноября 1933 г. он заявил следующее: «Интересно начать работать в трудное время и добиться того, чтобы отношения приняли прежний дружественный и искренний характер. Вы знаете меня давно, я держусь того мнения, что меняются правительственные системы, возникают и исчезают небольшие недоразумения, но основная линия, требующая крепкой связи между Советским Союзом и Германией, остается непоколебимой и должна победить».

ИЗ КНИГИ ГАНСА ФОН СЕКТА[23] «ГЕРМАНИЯ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ»

1933 г.

<...> Эта страна (Россия), столь разнообразная в своей форме, климате и почве, столь различная по составу своего населения, образует, однако, одну могучую массу, которая давит одновременно на Маньчжурию, Китай, Индию и Персию, как и на север и запад Европы. Эта страна может уступить земли на Дальнем Востоке Японии, она может потерять Польшу на Западе, Финляндию на Севере и продолжает все же оставаться великой Россией; передвигаются лишь точки давления на окружающий мир. Она может в условиях величайших потрясений радикально менять свою государственную форму, но она остается Россией, которая не даст себя исключить из мировой политики. <...>

Монгольская жестокость, кавказская храбрость, магометанская набожность, немецкое чувство порядка, французский дух — все это воспринималось великой русской душой, которая все перерабатывала и русифицировала. <...> В настоящее время тем крепким обручем, который обтягивает союз Объединенных Советских Республик, является большевизм. <...>

Мы придерживаемся того взгляда, что против большевистских влияний надо бороться с куда большей суровостью, чем это происходит теперь. <...> Россия опасается, что Германия в один прекрасный день предаст свои дружественные отношения с Востоком в обмен на подарок на Западе. <...>

Связанная отечественной почвой, связанная судьбой, Германия лежит между Западом и Востоком. Она не должна слиться ни с тем, ни с другим. Она должна остаться свободной, она должна остаться хозяином своей судьбы. Предпосылками саободы и господства являются: здоровье, единство, мощь. Поэтому основой всякой нашей внешней политики является стремление, чтобы мы вновь стали здоровыми, едиными, мощными. <...>

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 505. Л. 79—128. Перевод с немецкого.

ВОРОШИЛОВУ, ЕЖОВУ

1937 г.

Соаершенно секретно

VII отделом ГУГБ НКВД получено от агента, связанного с германскими правительственными кругами, следующее агентурное сообщение: политическое и военное завещание генерала фон Секта было передано Гитлеру Бломбергом, причем в день похорон Секта. По условию Гитлер передал один экземпляр завещания Фричу [доверенному лицу фон Секта].

Завещание Секта держится якобы приблизительно в рамках его брошюры 1933 г. «Германия между Востоком и Западом». Сект заклинает в своем завещании Гитлера не относиться с предубеждением к русским вопросам и русским политическим и военным деятелям, тогда, по твердому убеждению Секта, можно будет легко придти к соглашению с Советским Союзом. Свою уаеренность Сект обосновыаает, между прочим, следующими тезисами:

1) У Германии нет общей границы с СССР;

2) СССР не имел ничего общего с Версальским мирным договором;

3) СССР не возражал против вооружения Германии, т. к. в течение нескольких лет СССР активно поддержиаал германское вооружение;

4) СССР не требует от Германии никаких репараций;

5) СССР не является противником Германии в колон. <далее в документе пропуск>;

6) Германия с внутриполитической точки зрения в данный момент меньше чем когда-либо опасается большевизма;

7) И Германия, и СССР автаркичны, поэтому у них больше общего друг с другом, чем с демократией;

8) Взаимоотношения Турции с СССР доказывают возможность самых интимных и наилучших отношений между Германией и СССР;

9) В течение долгих лет СССР находится в дружественных отношениях с Италией.

Сект требует, чтобы немцы как можно скорее улучшили отношения с СССР, с тем чтобы освободить Германию не только от опасности войны на два фронта, но и от опасности многофронтовой войны. Эта опасность для Германии в данный момент неизмеримо актуальнее, чем во время Бисмарка и Шлиффена. Сект настойчиво предостерегает против союза с Японией, учитывая ее ненадежность, а также потому, что это повредит соглашению с Англией и Америкой и не даст возможности завязать интимные отношения с Китаем.

В кругах военного министерства содержание этого завещания встречено якобы почти с неограниченным одобрением.

Заместитель начальника VII отдела
ГУГБ НКВД СССР
майор ГБ Шпигельглаз.

ЦГАСА. Ф. 33987. ОП. 3. Д. 1036. Л. 126—128.

На документе Ворошиловым сделана следующая пометка:

«Очень интересный и почти правдивый документ. Умные немцы, даже фашисты, иначе и не могут рассуждать. КВ».

* * *

Оборвалось ли советско-германское сотрудничество в 1933 году?

Документы и реальная практика свидетельствуют об обратном. Просто связи приняли иные формы.

Все более осторожными становятся контакты по военной линии в условиях приближения рокового рубежа начала второй мировой войны. После ликвидации военных объектов рейхсвера на территории СССР изыскивались новые приемлемые для обеих тоталитарных стран формы сближения, что и произошло в 1939 году после подписания пакта Молотова — Риббентропа.

Для этого стороны оказывали друг другу знаки тайного внимания: закупали образцы военной техники, обменивались делегациями военных специалистов и проч.

Главным архитектором особой линии в отношении Германии был прежде всего Сталин. С германским правительством существовали налаженные связи, неплохое взаимопонимание при том, что в Германии была сильная компартия, ориентировавшаяся на ВКП(б) в своих политических и теоретических установках. Политически традиции взаимоотношений Германии с СССР были тесно связаны с авторитарными формами правления, и в этом смысле Германия была гораздо более привлекательна для Сталина, чем «прогнившие демократии» Англии и Франции. Вероятно, Сталин был в значительной степени искренен, когда в декабре 1931 г. говорил немецкому писателю Эмилю Людвигу: «Если уже говорить о наших симпатиях к какой-либо нации... то, конечно, надо говорить о наших симпатиях к немцам. С этими симпатиями не сравнить наших чувств к американцам»[24].

Ведя по своему обыкновению двойную игру, Сталин обвинил Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и Путну в военно-политическом заговоре в пользу рейхсвера: «Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Я думаю, что эти люди являются марионетками и куклами в руках рейхсвера. Рейхсвер хочет, чтобы у нас был заговор, и эти господа взялись за заговор. Рейхсвер хочет, чтобы эти господа систематически доставляли им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны все было готово, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне, этого хотел рейхсвер, и они это дело готовили...»[25]. Расплата за сотрудничество с Германией выразилась в уничтожении с бессмысленной свирепостью десятков тысяч человеческих жизней. Однако главные действующие лица происходивших событий останутся в стороне.

Впереди была война, которая стоила уже десятков миллионов жизней. А военно-политическое сотрудничество, начавшееся в 1920 г., развивалось практически до самого ее кануна.

В этой публикации мы привели лишь часть фактов по очерченной проблеме. Работа историков над этой темой будет продолжена, в том числе и на страницах журнала.

Вступление, заключение, подготовка текста
Т. С. БУШУЕВОЙ и Ю. Л. ДЬЯКОВА

---

[23] Фон Сект — генерал рейхсвера, идеолог тайного военного союза Германии с СССР.

[24] Сталин И. В. Собр. соч., М., 1957, т. 13. с. 115.

[25] Цит. по: «Известия ЦК КПСС», 1989, № 4, с. 54, 64.

Содержание журнала «Октябрь» за 1991 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ СЛОВО

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

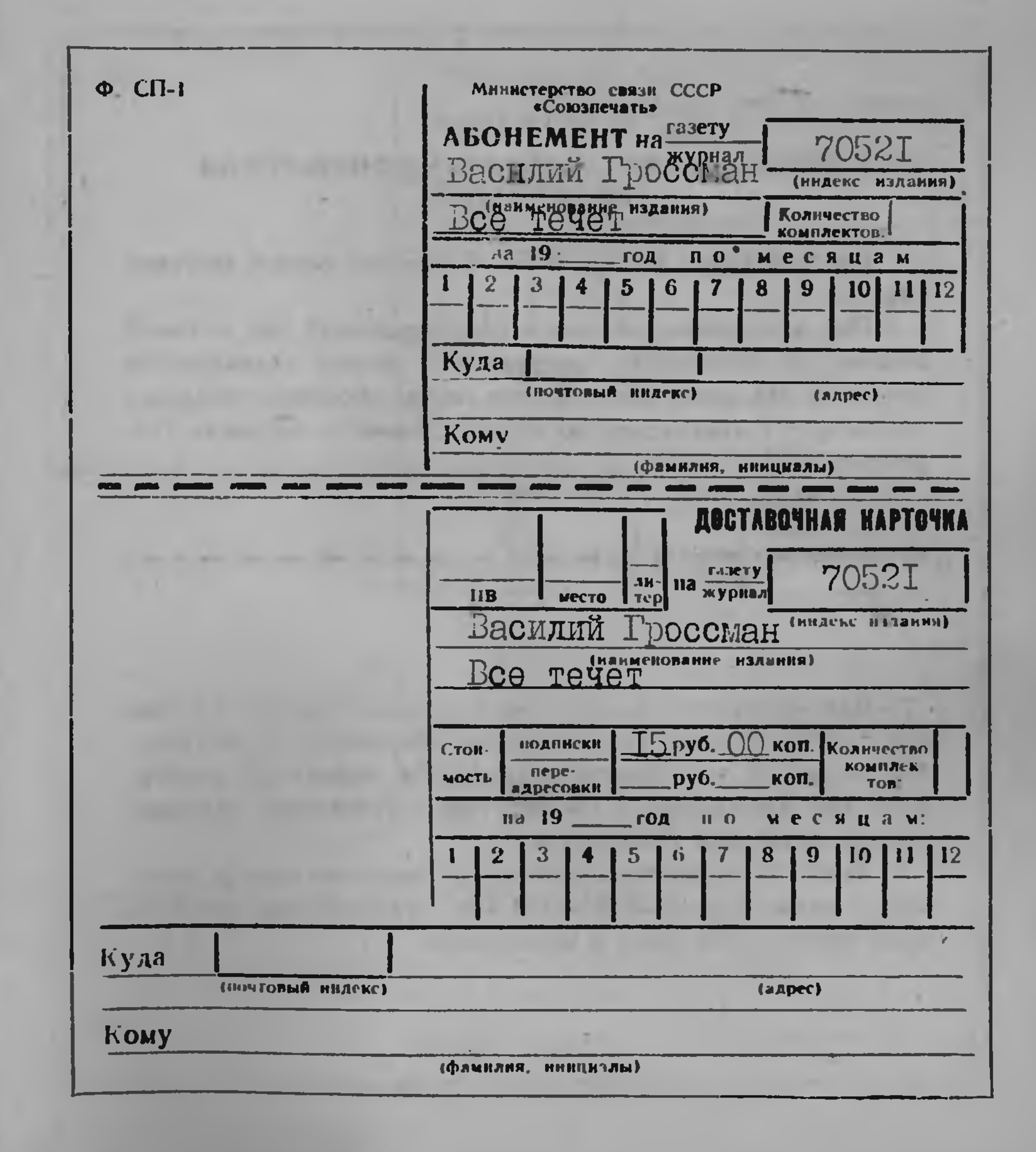
ИЗ АРХИВОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

СВЕЖИМИ ОЧАМИ

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

ОТКЛИК



Ф. СП-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на газету / журнал 70521 (индекс издания)

Василий Гроссман
Все течет
(наименование издания) Количество комплектов.

на 19___ год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ место литер на газету / журнал 70521 (индекс издания)

Василий Гроссман
Все течет
(наименование издания)

Стоимость: подписки 15 руб. 00 коп.; переадресовки ___ руб. ___ коп. Количество комплектов

на 19___ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

Как вы помните, в 4-м номере «Октября» за этот год был помещен список книг и предлагалось выбрать из них две, которые вы хотели бы приобрести как приложение к журналу. Всего редакция получила около семи тысяч заявок. Жаль, что откликнулись далеко не все: ваша активность, вероятно, дала бы возможность точнее учесть мнение большинства.

Некоторые читатели считают, что в приложение должны войти произведения, которые не публиковались в журнале, другие, напротив, хотели бы видеть в нем лучшие журнальные публикации. Редакция вняла тем и другим пожеланиям. ***Поэтому том В. Гроссмана дополнен малоизвестными рассказами и дневниками, а книга С. Довлатова — повестью «Филиал».***

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки)

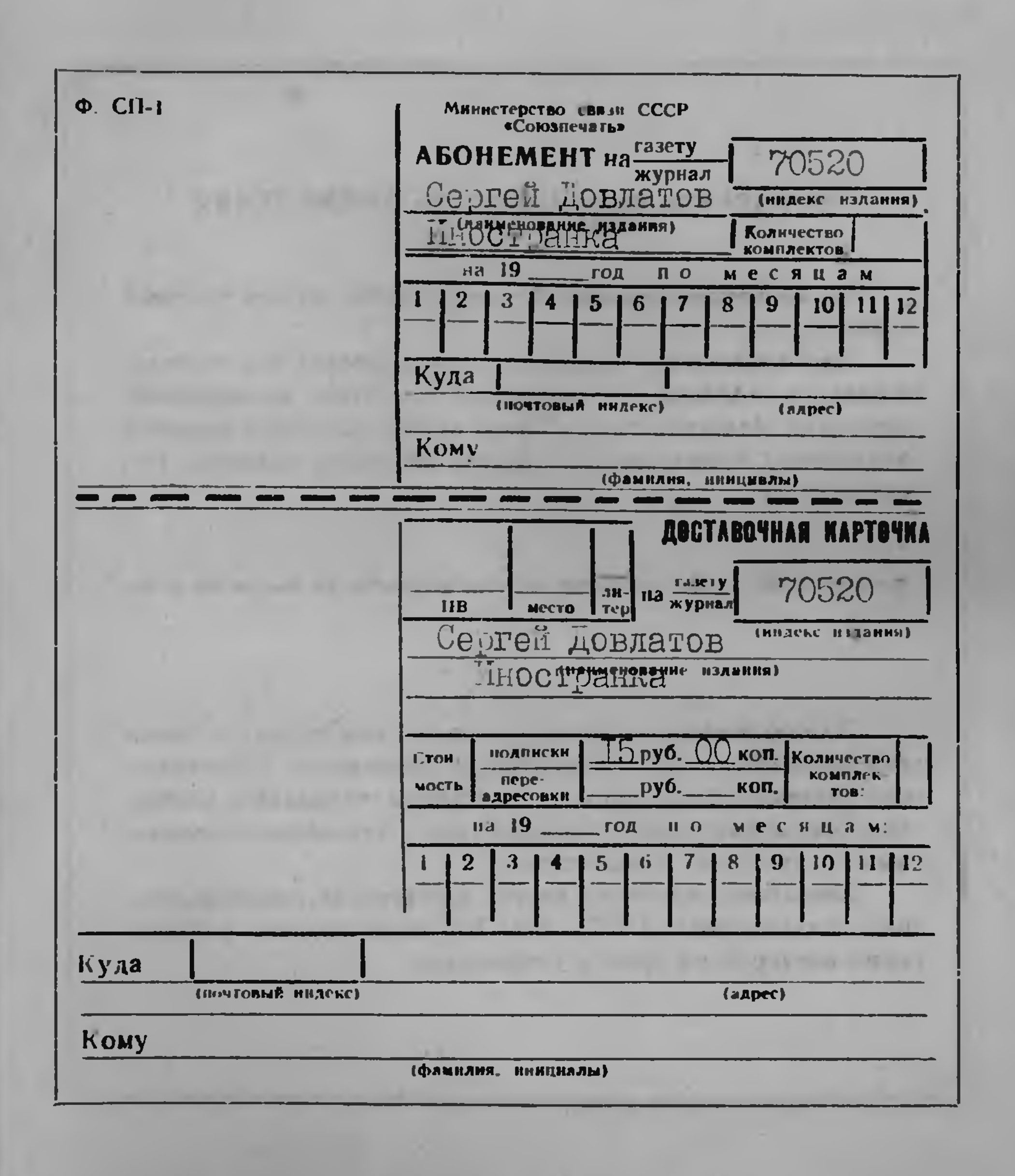
Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ—МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Союзпечати.

Подписка на приложение принимается всеми отделениями связи и органами «Союзпечати» по предъявлении годовой или полугодовой квитанции на «Октябрь» за 1991 год. Для удобства оформления подписки вы можете воспользоваться помещенными в журнале бланками абонемента.

Подписка проводится с 1 января по 15 февраля 1992 года.

ВНИМАНИЕ: в одном из ближайших номеров «Октября» будет помещена информация о приложении для подписчиков 1992 года.



Ф. СП-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на газету / журнал 70520
(индекс издания)

Сергей Довлатов
(наименование издания)
Иностранка

Количество комплектов

на 19 ____ год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ | место | литер

на газету / журнал 70520
(индекс издания)

Сергей Довлатов
(наименование издания)
Иностранка

Стоимость	подписки	15 руб. 00 коп.	Количество комплектов:
	переадресовки	____ руб. ____ коп.	

на 19 ____ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)